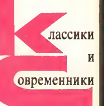
В.В.Вересаев

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



В.В.Вересаев

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная литература»
1987

ББК 84Р7
В31

Классики и современники

Советская литература



Тексты печатаются по изданию:
Вересаев В. В. Сочинения в двух томах.
М., Художественная литература, 1982

Составление и послесловие
Ю. ФОХТ-БАБУШКИНА

Художник
Б. ТРЖЕМЕЦКИЙ

Вересаев В. В.
В31 Повести и рассказы/Сост. и послесл. Ю. Фохт-Бабушкина. — М.: Худож. лит., 1987. — 384 с. (Классики и современники. Сов. лит.).

В книгу вошли избранные повести и рассказы, созданные В. В. Вересаевым (1867—1945) в разные периоды почти шестидесятилетнего творческого пути: «Загадка», «Товарищи», «Без дороги», «Два конца» и другие, а также новеллы из цикла «Невыдуманные рассказы о прошлом».

В $\frac{4702010200-130}{028(01)-87}$ 59-87

ББК 84Р7

ЗАГАДКА

Я ушел далеко за город. В широкой котловине тускло светились огни города, оттуда доносился смутный шум, грохот дрожек и обрывки музыки; был праздник, над окутанным пылью городом взвивались ракеты и римские свечи. А кругом была тишина. По краям дороги, за развесистыми ветлами, волновалась рожь, и тихо трещали перепела; звезды теплились в голубом небе.

Ровная, накатанная дорога, мягко серея в муравке, бежала вдаль. Я шел в эту темную даль, и меня все полнее охватывала тишина. Теплый ветер слабо дул навстречу и шуршал в волосах; в нем слышался запах зреющей ржи и еще чего-то, что трудно было определить, но что всем существом своим говорило о ночи, о лете, о беспредельном просторе полей.

Все больше мною овладевало странное, но уже давно мне знакомое чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности. Эта ночь была удивительно хороша. Мне хотелось насладиться, упиться ею досыта. Но по опыту я знал, что она только измучит меня, что я могу пробродить здесь до самого утра и все-таки ворочусь домой недовольный и печальный.

Почему? Я сам не понимаю... Я не могу иначе, как с улыбкою, относиться к одухотворению природы поэтами и старыми философами, для меня природа как целое мертва.

В ней нет души, в ней нет свободы...

Но в такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая; что за изменяющимися звуками и красками стоит какая-то вечная, не-

изменная и до отчаяния непонятная красота. Я чувствую,— эта красота недоступна мне, я не способен воспринимать ее во всей целости; и то немногое, что она мне дает, заставляет только мучиться по остальному.

Никогда еще это настроение не овладевало мною так сильно, как теперь.

Огни города давно скрылись. Кругом лежали поля. Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барской усадьбы. Ночная тишина была полна жизнью и неясными звуками. Над рожью слышалось как будто чье-то широкое сдержанное дыхание; в темной дали чудились то песня, то всплеск воды, то слабый стон; крикнула ли это в небе спугнутая с гнезда цапля, пискнула ли жаба в соседнем болоте,— бог весть... Теплый воздух тихо струился, звезды мигали, как живые. Все дышало глубоким спокойствием и самоудовлетворением, каждый колебавшийся колос, каждый звук как будто чувствовал себя на месте, и только я один стоял перед этой ночью, одинокий и чуждый всему.

Она жила для себя. Мне было обидно, что ни одной живой души, кроме меня, нет здесь. Но я чувствовал, что ей самой, этой ночи, глубоко безразлично, смотрит ли на нее кто или нет и как к ней относится. Не будь и меня здесь, вымри весь земной шар,— и она продолжала бы сиять все тою же красотою, и не было бы ей дела до того, что красота эта пропадает даром, никого не радуя, никого не утешая.

Слабый ветер пронесся с запада, ласково пригнул головки полевых цветов, погнал волны по ржи и зашумел в густых липах сада. Меня потянуло в темную чащу лип и берез. Из людей я там никого не встречу: это усадьба старухи помещицы Ярцевой, и с нею живет только ее сын-студент; он застенчив и молчалив, но ему редко приходится сидеть дома; его наперерыв приглашают соседние помещицы и городские дамы. Говорят, он замечательно играет на скрипке и его московский учитель-профессор сулит ему великую будущность.

Я прошел по меже к саду, перебрался через заросшую крапивою канаву и покосившийся плетень. Под деревьями было темно и тихо, пахло влажною лесною травою. Небо здесь казалось темнее, а звезды ярче и больше, чем в поле. Вокруг меня с чуть слышным

звоном мелькали летучие мыши, и казалось, будто слабо натянутые струны звенят в воздухе. С деревьев что-то тихо сыпалось. В траве, за стволами лип, слышался смутный шорох и движение. И тут везде была какая-то тайная и своя, особая жизнь...

На востоке начинало светлеть, но звезды над ивами плотины блестели по-прежнему ярко; внизу, под горою, по широкой глади пруда шел пар; открытая дверь купальни странно поскрипывала в тишине. Однообразно кричал дергач. «Ччи-чи! Ччи-чи!» — спокойно и уверенно звучало в воздухе. Спокойно мерцали звезды, спокойно молчала ночь, и все вокруг дышало тою же уверенною в себе, нетревожною и до страдания загадочною красотою.

Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я присел на скамейку. Вдруг где-то недалеко за мною раздались звуки настраиваемой скрипки. Я с удивлением оглянулся: за кустами акаций белел зад небольшого флигеля, и звуки неслись из его раскрытых настежь, неосвещенных окон. Значит, молодой Ярцев дома... Музыкант стал играть. Я поднялся, чтобы уйти: грубым оскорблением окружающему казались мне эти искусственные человеческие звуки.

Я медленно подвигался вперед, осторожно ступая по траве, чтоб не хрустнул сучок, а Ярцев играл...

Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. Но что это была за импровизация! Прошло пять минут, десять, а я стоял не шевелясь и жадно слушал.

Звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-то, словно силились выразить что-то, что выразить были не в силах. Не самою мелодией приковывали они к себе внимание — ее, в строгом смысле, даже и не было,— а именно этим исканием, томлением по чем-то другом, что невольно ждалось впереди. «Сейчас уж будет *настоящее*»,— думалось мне. А звуки лились все так же неуверенно и сдержанно. Изредка мелькнет в них что-то — не мелодия, лишь обрывок, намек на мелодию,— но до того чудную, что сердце замирало. Вот-вот, казалось, схвачена будет тема,— и робкие нищущие звуки разольются божественно спокойною торжественною неземною песнью. Но проходила минута, и струны начинали звенеть сдерживаемыми рыданиями: намек остался непонят-

ным, великая мысль, мелькнувшая на мгновенье, исчезла безвозвратно.

Что это? Неужели нашелся кто-то, кто переживал теперь то же самое, что я? Сомнения быть не могло: перед *ним* эта ночь стояла такою же мучительною и неразрешимою загадкой, как передо мною.

Вдруг раздался резкий, нетерпеливый аккорд, за ним другой, третий,— и бешеные звуки, перебивая друг друга, бурно полились из-под смычка. Как будто кто-то скованный яростно рванулся, стараясь разорвать цепи.

Это было что-то совсем новое и неожиданное. Однако чувствовалось, что именно нечто подобное и было нужно, что при прежнем нельзя было оставаться, потому что оно слишком измучило своею бесплодностью и безнадежностью... Теперь не слышно было тихих слез, не слышно было отчаяния; силою и дерзким вызовом звучала каждая нота. И что-то продолжало отчаянно бороться, и невозможное начинало казаться возможным; казалось, еще одно усилие — и крепкие цепи разлетятся вдребезги и начнется какая-то великая, неравная борьба. Такою повеяло молодостью, такою верою в себя и отвагою, что за исход борьбы не было страшно. «Пускай нет надежды, мы и самую надежду отвоюем!» — казалось, говорили эти могучие звуки.

Я задерживал дыхание и в восторге слушал. Ночь молчала и тоже прислушивалась,—чутко, удивленно прислушивалась к этому вихрю чуждых ей, страстных, негодующих звуков. Побледневшие звезды мигали реже и неувереннее; густой туман над прудом стоял неподвижно; березы замерли, поникнув плакучими ветвями, и все кругом замерло и притихло. Над всем властно царили несшиеся из флигеля звуки маленького, слабого инструмента, и эти звуки, казалось, гремели над землею, как раскаты грома.

С новым и странным чувством я огляделся вокруг. Та же ночь стояла передо мною в своей прежней загадочной красоте. Но я смотрел на нее уже другими глазами: все окружавшее было для меня теперь лишь прекрасным беззвучным аккомпанементом к тем боровшимся, страдавшим звукам.

Теперь все было осмысленно, все было полно глубокой, дух захватывающей, но родной, понятной серд-

цу красоты. И эта человеческая красота затмила, заслонила собою, не уничтожая *ту* красоту, по-прежнему далекую, по-прежнему непонятную и недоступную.

В первый раз я воротился в такую ночь домой счастливым и удовлетворенным.

1887—1895

ПОРЫВ

I

В тот вечер мы засиделись. По крыше барабанил дождь, сад шумел, где-то наверху, за стеною, быстро и мерно капало. Все снаружи сливалось в смутный шум, и рядом с ним в зале казалось особенно тихо. Самовар потух.

Шура тесно прижималась к маме. Мама гладила ее по голове и грустно говорила:

— Солнцевка наша с каждым годом все меньше дает доходу, земля заложена-перезаложена, нечем даже заплатить проценты в банк. Только и оставалось папе, что поступить на должность. А ехать приходится в Пожарск за двести верст. Отпуск бог весть когда дадут, живи там один-одинешенек... И как ему самому не хочется ехать! Вчера он говорил мне: «Уеду я в Пожарск, — когда я опять увижу мою Шурку, ее глазки и ласки?» И в рифму так: «глазки — ласки»...— слабо улыбнулась она.

— Мамочка, да зачем же ехать папе? — быстро и умоляюще возразила Лиза. — Ну, ты говоришь, что мало денег. Так мы можем есть черный хлеб, а не белый. Потом: зачем у нас пирожное? Ведь можно и без пирожного очень хорошо... Все эти деньги и можно копить, и тогда папе совсем не нужно ехать.

— Все это мало поможет... Вот теперь ты в гимназию поступаешь, Мите через три года уж ехать в университет. А там Шура подрастет. На все нужны деньги, деньги... С пирожного тут немного выгадаешь.

Мама задумалась. Старшая сестра Катя шила на машине. Мерный стук колеса одиноко раздавался в

зале, не мешаясь с шумом дождя и ветра за окном.

— Да что это он, право, все у себя в кабинете сидит?.. Василий Алексеевич, иди, голубчик, к нам! — позвала мама. — Что это в самом деле! И так всего неделька осталась, а ты все у себя сидишь за бумагами. Успеешь еще.

Папа кашлянул, поднялся и, разминаясь, вошел в зал... Сухощавое лицо его было устало, глаза, как всегда, смотрели сумрачно и озабоченно.

— Ей-богу, ведь так и не увидишь тебя совсем. Посиди с нами хоть немножко.

— Нужно было там счеты свести за июнь... А дождь-то, слышишь? — все идет и идет!.. Это уже пятый день без перерыва. Совсем сопреет хлеб в поле.

— А что барометр говорит?

— Э, что барометр! — Папа безнадежно махнул рукою, сел на диван и стал закуривать папиросу. — Ну, а ты что, козявка, смотришь? — ласково обратился он к Шуре, тихо щекоча ее.

Шура поежилась и, удерживая его руку, переглянулась с Лизой.

— Папа, а что я тебе скажу!

— Ну, что ж ты мне скажешь?

— Я сказку знаю.

— Сказку? Расскажи, расскажи!

Шура с значительной улыбкою снова взглянула на Лизу. Лиза слабо вспыхнула.

— Меня Лиза научила.

— Вот как? Ну, садись ко мне, рассказывай!

Шура взобралась к папе на колени, глубоко вздохнула, еще раз переглянулась с Лизой и, улыбаясь, поправила на себе передник.

— Ну, раз были три девочки... маленькие. У двух девочек была мама, а еще одна девочка была... Как это? Знаешь, у ней не было мамы. Это называется, когда без мамы девочка... это...

— Ну, сиротка называется.

— Да, сиротка. Ну, хорошо. Две девочки были нехорошие, а мама их любила...

Шура рассказывала не торопясь, с чуть заметною улыбкою на губах. Зато Лиза сильно волновалась; она не спускала с Шуры пристального взгляда и каждую минуту была готова прийти на помощь. Но у Шуры дело шло хорошо.

Папа с тихою улыбкою слушал и играл ключиком от часов.

— Ну, она танцевала, танцевала и нечаянно потеряла туфельку. Царь посмотрел, — чья это туфелька? А Машечка взяла и поскорее уехала домой...

— Шура! Сандрильона! — быстро подсказала Лиза.

— Санди... лё...

Шура помолчала.

— Лиза, можно, я лучше «Машечка» буду говорить? А то так трудно, — «Сирдилё».

— Говори, душечка, как хочешь, это все равно, — поддержал ее папа. — Ну?

— Ну, царь взял туфельку, посмотрел... А туфелька была та-а-ка-я хорошая! Царь взял и говорит: ту девочку, которой как раз... эта девочка моя мама будет.

— Жена то есть? — улыбнулся папа.

— Да, да, жена!.. Ну, тогда солдаты по-шли, пошли... Взяли одну девочку, — знаешь, ту, злую? — а ей пальчик не как раз. Мама ей тихонько сказала: отрежь себе пальчик! Ну, хорошо. Царь приехал, посмотрел, — туфелька как раз. Вдру-уг...

Лицо Шуры озарилось торжествующей улыбкой, глаза насмешливо сузились.

— Вдруг голубчики летят! Летят, летят, крыльями махают... Все испугались: что такое? А они летят и поют:

Царь, царь, посмотри:
Кровь течет на пальчике!

Царь посмотрел, — да!.. А-а, вот как! Ну, пшел вон!..

Мы расхохотались. Шура замолчала и удивленно оглядела нас: она этого смеха совсем не ждала. Папа схватил ее и стал осыпать поцелуями.

— Ах ты Шурка, Шурка! — хохотал он. — «Пшел вон!» — великолепно... Ха-ха-ха!

Вдруг в окно передней раздался снаружи резкий, сильный удар; стекла задребезжали в рамах. Все замолчали и переглянулись. Еще раз ударили, и еще, — все чаще и сильнее.

Папа в недоумении встал.

— Что там такое?

Мы поспешно вышли в переднюю, я раскрыл окно.

Влажный, холодный ветер рванулся мне в лицо; в черном мраке не было ничего видно.

— Кто там?! — испуганно крикнул я.

Задыхающийся голос ответил из темноты:

— Я, барин, Алешка с мельницы! Впусти поскорей, позови старого барина!

Мы отперли дверь. Алешка вошел — бледный, растрепанный; он был бос и без шапки, намокшая рубашка липла к телу.

— Помоги, барин! Тонем!

— Как «тонем»?! В чем дело?!

— Хлещет вода через плотину, удержу нет. Городище все залило, под самую мельницу подходит, гляди сейчас избу снесет... Хозяин к тебе послал, нельзя ли ребят ваших на подмогу... Что только делается!

— Господи ты мой боже! — Мама в ужасе перекрестилась.

Папа кашлянул и нахмурился, что всегда бывало, когда он волновался.

— Да с чего все это? — спросил он. — Щиты-то вы на плотине подняли?

— То-то, что нет! Да кто ж их знал? Полегоньку прибывала вода, — думали, спустить всегда поспеем: что ее понапрасну перед помолом спускать? А тут вдруг как нахлынула,— сразу на три четверти... И не подступишься к щитам, через них бьет... Говорят, верхнюю мельницу прорвало, богучаровскую.

— Ступай же, Митя, разбуди скорее работников,— обратилась ко мне мама. — Боже ты мой, боже. Вот несчастье-то!

— Да скажи, чтоб багров захватили и веревок, — добавил папа.

Алешка стоял, расставив ноги, и поводил лопатками под мокрою рубахою.

— Ты им, барин, на лошадях прикажи ехать, — сказал он. — Пешком теперь не пройдешь, весь луг залило.

Я выбежал на двор. Ночь была черная-черная. Сад глухо ревел, дождь бешено сек железную крышу дома, ветер шумно проносился в воздухе. Все кругом было необычно и страшно: в бушевавшем холодном мраке крылись стоны, гибель, смерть...

Я вбежал в сарай, где спали работники, ощупью нашел койку моего приятеля Герасима и стал его бу-

дить. Он спал как убитый, я еле растолкал его, долго он не мог ничего понять.

— Да вставай же, Герасим! Наводнение на мельнице, — поскорей!

— На-во-дне-нье?

Герасим, зевая, сел и обеими горстями стал скрести голову.

— Поскорей, Герасим! А то там все потонут, пока вы соберетесь.

— Небось не потонут... Эй, ребята! Вставай! Семеныч!

В углах заворочались.

— Чего там? — глухо отозвался Влас, рабочий староста.

— На мельницу ехать! Вставай, эй!..

— На мельницу? — сонно пролепетал Влас.

— Да ну, вставайте! Черти! Завалились!

Герасим прыгнул на́ пол. В углах заворочались сильней. Кто-то угрюмо спросил из темноты:

— На каку-таку мельницу?

Я с отчаянием воскликнул:

— Да вставайте же наконец! Наводнение на мельнице... Поскорей! Богучаровскую мельницу уже снесло, все Городище залило.

Работники стали подниматься.

Я сказал Власу о баграх и телегах и побежал домой к себе наверх. В темноте я отыскал и надел большие сапоги, пальто, но фуражки не было. Я вспомнил: она лежит в зале на окне.

— Куда это ты, Митя? — спросила мама, когда я вбежал в залу и схватил фуражку.

Я торопливо ответил:

— На мельницу с работниками!

— Это еще что тебе вздумалось! Утонуть, что ли, тебе хочется, или простудиться? Нет, голубчик, вздор! И не думай!

Я остановился.

— Ну, мамочка, позволь ехать! — сказал я упавшим голосом. — Ведь вот работников же ты посылаешь!

— Нет, нет, нет, и не думай! Работники — совсем другое дело.

— Я лучше всех их плаваю, а с Герасимом мы вчера, когда боролись...

— Ну, нет, уж оставь это, пожалуйста. Нельзя — и нельзя. Об этом нечего и говорить.

Из кабинета вышел папа.

— О чем это? В чем дело? — спросил он.

— Да пустяки: Митя хочет ехать на мельницу.

Папа нахмурился.

— Что тебе там понадобилось? Оставь, брат, это, сделай милость! И без тебя все прекрасно обойдется. Ступай-ка лучше спать: уж первый час... Спать, спать, детки! Пора! — обратился он к сестрам. — И ты, клопенок, еще не спишь? Ах ты козявка! Сию минуту всем в постель! Марш!.. Раз, два, три!

Сестры простились и ушли. Папа с мамою отправились в кабинет. Я постоял в опустевшей зале и побрел к себе.

В полутемной передней, у окна, слабо рисовалась небольшая тень. Я вгляделся: это была Лиза. Она грызла на дрожащих пальцах ногти и следила за мною нахмуренными, блестящими глазами. Я встретился с нею взглядом и почему-то остановился.

— Ми-тя!

— Что?

— Митя, ты... поедешь туда?

Я угрюмо ответил:

— Ведь ты слышала, папа не позволил.

— Я не знаю... Я бы... — Лиза испуганно оглянулась.

Меня вдруг охватила злоба.

— Что бы ты?! — закричал я, задыхаясь. — Чего ты тут стоишь? Скоро час, давно пора спать! Вот я папе скажу, что ты тут... по ночам...

И я быстро вышел.

II

Когда я поднялся к себе наверх, сердце стучало, колени дрожали и подгибались. Я постоял среди комнаты, подошел к окну и раскрыл его. Ветер обдал меня мелкими брызгами; небо было так черно, что на нем даже не видно было очертаний шумевших перед окном деревьев. Я высунулся из окна и стал смотреть влево, на двор.

В темноте двигались тусклые огни фонарей; летучий свет падал то на морду лошади, то на задок телеги, то на сумрачную фигуру работника. С воем ветра мешались грубые, заспанные голоса людей и напряженное лошадиное ржание. В душе у меня росло смутное, волнующее чувство, я жадно следил за сборами и дрожал все сильнее.

Работники снарядились. Огни фонарей замелькали быстрее, раздались понукания, шум колес, и все исчезло в темноте. Сердце мое упало, я вдруг перестал дрожать, волнение прошло; с скверным, в чем-то оправдывающимся перед собою чувством я отошел от окна.

Вяло раскрыл Лермонтова, попробовал читать. Это был мой любимый поэт.

Час разлуки, час свиданья
Им не радость, не печаль,
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.

Господи, как бесцветно, как плоско и ненужно!.. Я с отвращением закрыл книгу и снова высунулся в окно.

Дождь все лил и лил; деревья бились под ветром и глухо стонали. В шуме непогоды мне чудились далекие, отчаянные вопли, треск и гул.

На дворе послышался быстрый, хляпающий по грязи топот скачущей лошади. Торопливый голос прокричал:

— Микола-ай! Поди у Степана Степаныча весла возьми: лодку спрашивают!

У меня радостно екнуло сердце: это кричал Герасим. Он был оттуда, где теперь в бушующей тьме кипела борьба и работа. И опять что-то всколыхнулось в душе, и прежняя дрожь побежала по спине и плечам.

На дворе снова замелькал фонарь. Послышался говор: Герасим спорил с дворником Николаем.

— А, ч-черт косоногий! — донесся озлобленный голос Герасима. — Да один с нею не справишься! В этакую-то пору!.. Я и весел в руки никогда не брал!

То, что нерешительно дрожало в глубине души, вдруг вольною, сильною волною взмыло вверх и радостно охватило душу. Я быстро надел пальто, фуражку

и полез из окна. Руки и ноги скользили по намокшим, склизким планкам, перед глазами мелькнуло окно нижнего этажа, и я обрушился в кусты сирени под окном.

Отирая мокрые, исцарапанные руки о пальто, я подошел к спорившим.

— О чем это вы? — спросил я Герасима.

Герасим взглянул на меня и, не отвечая, снова обратился к Николаю:

— Черт косоногий, сволочь! Слышь, пойдем, что ли! Боисси!.. Нешто один с нею справишься?

— Сказано тебе: не приказала барыня отлучаться от двора, — огрызался Николай.

— «Барыня не приказала»!.. Леший этакий, боисси, в конуру запрятался!

— Э, плюнь ты на него! — с презрением крикнул я. — Гараська, идем со мной!

— О-о? — радостно отозвался Герасим. — Вот так барин!.. Пойдем!

Он взвалил весла на плечи. Мы побежали в сад.

Шлепая по лужам, мы пересекли липовую аллею, перелезли через плетень и по крутому скользкому откосу сбежали к реке.

Вода сажени на две выступила за обычную линию берега. Далеко в темноте уродливо чернела над водою накренившаяся, полузатопленная купальня.

— Эге!.. Мостки-то снесло! — протянул Герасим и остановился. — Вот и доберись до лодки!

Он сбросил весла на землю и почесал в затылке.

Я был как пьяный, все легко и смутно проносилось перед глазами, все делалось просто и скоро, как думалось. Тускло сверкала широкая полоса воды, отделявшая нас от лодки, руки сами собою сорвали с тела одежду, и я с разбега бросился в реку. Под водою у меня стеснилось в груди от холода. Потом вдруг все тело загорелось, как от кипятка. Я отвязал лодку от купальни и подплыл с нею к берегу.

Стуча зубами от холода и волнения, я торопливо одевался. Деревья уже не бились под ветром, сквозь разорванные тучи слабо мигали звезды. Мы сели в лодку, я налег на весла и вывел ее на середину реки. Река подхватила нас и помчала.

Плавно отошел назад темный сад, с тихим ропотом отряхивавшийся от дождевых капель; огонек

мелькнул сквозь ветви и исчез. Глубокая тьма налегла на лодку. Над водяною гладью чуть темнели верхушки затопленных прибрежных кустов. Вокруг нас, шипя и сшибаясь струями, бежала черная вода.

Герасим неподвижно сидел на корме, понурив голову, и держался обеими руками за борта лодки. А мне было безумно весело; как будто вихрь какой-то подхватил меня, и я упоенно несся в нем; и такими маленькими, пустыми казались мне оставленные назади запреты и мои колебания. Вода шипела вокруг носа лодки, весла гнулись и трещали под моими руками, лодка неслась, как ласточка.

Герасим заговорил:

— А Городище как залило, страсть!.. Подъехали мы, лошади нейдут, назад ворочаются. Ребята по тайдаковской дороге в объезд поехали на березовую рощу...

Из темной дали все явственнее доносился гул бежавшей через плотину воды. Герасим встрепенулся и тряхнул головою.

— Ишь хлещет как! — с улыбкой сказал он, прислушиваясь. — Вот погоди, нанесет нас на плотину, тогда держись: так прямо в бучило и хахнет!

Я усмехнулся. Герасим продолжал меня пугать:

— А в бучиле-то шут сидит, дожидается... Как схва-атит за ноги — ге-ге!.. Тогда, брат, посмеешься!

Мне было странно, — неужели Герасим думает, что мне хоть немножко страшно! Я, напротив, жалел, что кругом так мало опасности; мне хотелось бешено разогнать лодку и пустить ее прямо на плотину.

Река круто поворачивала вправо. Мы обогнули мыс. Неожиданно шум падающей воды раздался почти под самым носом лодки, хотя до плотины было еще четверть версты. Далеко в темноте, на склоне рощи, мелькали блестящие точки фонарей. Сквозь гул воды доносился заунывный женский вой.

— Вон они, и ребята подошли! — сказал Герасим, вглядываясь в темноту. — Эге! Избу-то уж снесло!.. Держи к берегу!

Мы перерезали течение, выплыли на берег, глубоко залитый водою. У плотины, где раньше была изба, теперь вольно бурлила река. Черная вода стояла под дворовыми навесами и извилистыми волнами плескалась у окна уцелевшей людской.

III

Работники только что подъехали и, тихо переговариваясь, слезали с телег. К ним навстречу бросился мельник.

— Гляньте-ка, братцы, гляньте! — плакал он, и мокрые космы волос тряслись над бледным, жирным лицом. — Все как есть залило, — ничего не осталось!.. Изба-то, глядите вон,— нет ее! Все снесло... Голубчики вы мои! Помирать пора пришла!

Босой и распоясанный, он суетился вокруг работников и дрожащими руками указывал на мельницу.

— Ребяток-то спасли ли? — сурово спросил Влас, снимая сермяжный халат.

— Слава те, господи, повытаскали ребят! А добро все там осталось... И скотина вся там и сундук! — семьдесят, братцы, целковых в нем!.. Хряк вот в сенцах остался, слышь, визжит!

Работники нерешительно толклись вокруг телег и распутывали веревки.

— Ба-а-атюшка ты мой ро-о-одненький!.. — скорчившись на узлах, глухо выла мельничиха, и казалось, что воет в трубе осенний ветер.

Один из работников, Афиноген, — высокий мужик с рябым, надменным лицом,— вдруг встрепенулся и бросил в телегу распутанную веревку.

— Ну, ну, ребята, пошевеливайся!—крикнул он.— Берись за багры, чего стоишь?.. Да вон никак и Гараська с лодкой!..

Мы въехали в круг света и подплыли к работникам.

— Эге, и барин тоже тут, — молодчага! — небрежно кинул Афиноген.

Я улыбнулся гордою, радостною улыбкою, но от его пренебрежительного взгляда улыбка закончилась неловким смешком. Афиноген прыгнул в лодку и крикнул мельнику:

— Иваныч, садись с нами! Показывай, где сундук.

— Ну, барин, везите к избе! — скомандовал Афиноген.

Я взялся за весла.

— Смотри, ребята, трещит плотина-то, — робко

сказал один из оставшихся работников. — Прорвет — и лодку унесет, и вас всех.

Я покосился на Афиногена и засмеялся.

— Ты-то чего боишься? Не тебя ведь унесет.

— Прихвати на случай веревкой за кольцо да придержи конец, — сказал Афиноген.

Веревку привязали к носу. Я налег на весла и подъехал к избе. Афиноген с Иванычем и Герасимом бросились в сени. Я остался ждать в лодке.

Огни фонарей ложились на воду тусклыми, дробящимися полосами. Черная группа работников по ту сторону заводи стояла неподвижно и молча. Небо очистилось от туч, на востоке светлело. Из-за угла избы несся непрерывный гул бившей через плотину воды. Лодка подо мною мерно качалась и изредка стукалась о стену избы.

Вдруг где-то — я не успел сообразить где — что-то глухо затрещало и потом тяжело, раскатисто охнуло; я почувствовал, что меня с лодкою куда-то потянуло.

— Хо-о-оо! Держи, держи!!!

Лодка странно запрыгала и вдруг сильно тряхнула меня. Я инстинктивно впился руками в перекладину, перед глазами мелькнуло серое небо, — и все вокруг завертелось с оглушительным ревом. Огромный поток, мне казалось, подхватил меня и помчал куда-то в бездну. Я захлебывался...

Вдруг я почувствовал, что лежу на чем-то мягком и склизком. Земля дрожала от страшного гула. Я вскочил на ноги. Кругом воды уже не было. Ко мне подбегали работники, рядом в грязи валялась лодка. Звучали радостные голоса:

— И-ишь! Удержали! Не унесло!

Я молча взглянул на реку. Напор воды опрокинул половину плотины, сорвал по пути мельничные колеса и сильно покачнул свайный амбар. Далеко за плотиною, крутясь в огромных клубах желтой пены, выплывали обломки бревен, хвороста и колес. Вода бешено неслась через пробитое отверстие.

Маленький, пухлый Федосей любовно глядел на меня и изумленно говорил:

— И как это барин наш в бучило не уплыл! Вижу я, братцы мои, прорвало плотину, — ну, думаю, погибай наш барин! Место глыбкое, и не найдешь потом. Держу конец, а сам думаю: лодку, дескать, спасем, а

барина нашего не донщемся. Ан вот он — он. Целехонек!

— Долго ли до греха! — вздохнул Влас. — Так бы и пропал паренек!.. О господи батюшка!

Я тряхнул головой и засмеялся.

— Ну, что об этом разговаривать! Не унесло, цел, — чего еще? Что так стоять? Пора и за работу.

В это время мне бросилось в глаза лицо Афиногена. Он смотрел на меня с легкой, едва заметною улыбкой под редкими усами; с такой улыбкой смотрел бы человек на своего спасенного младшего брата. Афиноген подошел ко мне.

— Ну, барин, вы теперь домой ступайте. Ишь промокли как: сухой нитки нет. Холодно. Да и папаша рассердится; небось не спросясь ушли?

Я радостно улыбнулся.

— Пускай рассердится!.. Да мне и не холодно вовсе.

Но это была неправда: я дрожал, как в ознобе; промокшее пальто коробом сидело на плечах, рубашка неприятно липла к телу.

Афиноген, Влас и Иваныч обсуждали, что теперь делать. Одни работники слушали их и вставляли свои замечания, другие смотрели, как мутно-желтая вода с ревом неслась сквозь пробоину в плотине. Кондратьевна, жена Иваныча, молча сидела на узлах и апатично следила за мужем красными, опухшими от слез глазами.

Было уже совсем светло. Заря разгоралась все ярче, с востока дул холодный утренний ветерок. Я постоял на месте, окинул всех взглядом и побрел домой.

В окольном пути теперь не было надобности. Схлынувшая вода очистила Городище — луг, лежавший между мельницей и нашей усадьбой. Я прошел его и стал подниматься по дороге в гору. На полпути я оглянулся. Косые лучи утреннего солнца весело играли по лужам и по мокрой, блестящей отаве луга. В березовой роще, за лугом, протяжно стонали иволги; жаворонки заливались в небе.

Вокруг мельницы кипела дружная, горячая работа. Афиноген и Герасим каким-то непостижимым образом пробрались в свайный амбар, в который всей своею силой бил прорвавшийся поток. Уже несколько

раз, как показалось мне, заметно дрогнуло крепкое бревенчатое здание, а в слуховое окно все еще вылетали мучные кули и, описав дугу над потоком, ударялись в берег, испуская клубы белой пыли. Остальные работники перебрались на ту сторону реки и старались поднять щиты, чтобы спасти уцелевшую часть плотины.

Мне стало грустно и стыдно, что я ухожу. Потянуло назад. Но было уже поздно, дома могли меня хватиться. Я пошел дальше.

С горы навстречу мне бежала низенькая, толстая фигура человека в темной одежде. Я с беспокойством приглядывался к ее неуклюже-быстрым движениям. Кто бы это мог быть?

Она все приближалась. Я вздрогнул: это была мама.

Редкие волосы ее выбились из-под платка и мокрыми прядями стлались по лицу; пальто было мокро и забрызгано грязью, лицо измучено долгою тревогою. Я в смущении остановился. А она бежала, скользя по грязи, через лужи и промоины, устремив на меня сиявшие счастьем глаза.

В два прыжка я очутился перед мамою и подхватил ее на руки. Она порывисто прижала меня к груди и осыпала поцелуями.

— Ну, слава, слава богу! — проговорила она наконец и начала креститься, в глубоком экстазе подняв глаза к небу; по лицу бежали крупные светлые слезы.

IV

На следующий день я проснулся поздно.

В комнате стоял золотистый сумрак от лучей, пробившихся сквозь занавески; муха со звоном билась о стекло. В доме было тихо, от сарая несся мерный лязг отбиваемых кос.

Я вскочил с постели бодрый, выспавшийся и быстро стал одеваться. Первые две-три минуты я почти не вспоминал о вчерашнем; на душе было радостно и легко, воспоминания проносились в голове, почти не схватываемые сознанием. Лишь умываясь, я вдруг вспомнил о случившемся и немножко смутился. Конечно, мама никому ничего не сказала бы. Но знала

о моем ночном путешествии не она одна; ей самой сообщила о нем экономка Липатьевна. А у Липатьевны язык был очень длинный... Смущение мое, впрочем, сейчас же само собою рассеялось, и вниз я спустился в том же светлом, безотчетно радостном настроении.

Чай уже отпили. Катя ждала меня перед потухшим самоваром и вязала что-то крючком. Она встретила меня долгим, серьезным взглядом и молча опустила глаза на вязанье.

Я спросил, что теперь делается на мельнице. Она неохотно ответила и стала наливать мне чай. Вдруг из соседней комнаты, где была мамина спальня, раздался протяжный стон.

Я в смущении прислушался и взглянул на сестру. Она молча продолжала вязать, только губы ее страдальчески сжались. Я спросил:

— Катя, что это?

Она тихо ответила:

— У мамы ревматизм.

У меня неприятно сжалось сердце. Катя сидела, грустно и сосредоточенно склонившись над вязаньем.

— Никогда еще такого сильного не было: мама *плакала,* — прибавила она, не поднимая глаз.

Значит, страдания, правда, были невыносимы, мы знали слезы матери только о нас.

Из спальни вышел папа, — нахмуренный, расстроенный. Холодно скользнул по мне взглядом и прошел к себе. Я встал и поплелся в спальню.

Мама лежала в постели, с стыдливо страдальческою улыбкою на закушенных губах. Липатьевна, суетясь и вздыхая, оправляла ее подушки. Пахло йодом. У окна стояла Лиза и, косясь на маму, нервно грызла ногти. Мы встретились с нею глазами. Она пугливо скользнула взглядом в сторону и съежилась. Мама крепко поцеловала меня.

— Ну что, голубчик, как ты себя чувствуешь?

— Я?.. Ничего... — пролепетал я.

— Смотри, ничего ли? Может быть... О-о-о! — вдруг застонала она и крепко прикусила губу. — Липатьевна, голубушка, подай мне ту коробку с облатками! — сказала она, передохнув.

Я постоял на месте и, совершенно уничтоженный, вышел из комнаты.

У себя наверху я сел к столу и стиснул голову руками. Господи, что я наделал!

И что меня вчера понесло на мельницу? Что мне там понадобилось? Вспомнился туман радостного опьянения. Вспомнилось, как шипела река вокруг вольно мчавшейся лодки, как улыбнулся мне Афиноген. Мне тогда было весело, мне хотелось, чтобы Афиноген и все видели, какой я храбрый, а в это время... И передо мною вставало лицо матери, вчерашнее — сияющее любовью и счастием, сегодняшнее — бледное, страдающее. И ни одного упрека, ни одной жалобы, ни даже намека!

На лестнице раздались быстрые шаги и отрывистое покашливанье. Я замер: это был папа.

Он вошел. Я встал, чтобы поздороваться. Но папа, как будто не замечая, прошел к столу и сел в кресло.

— Я, брат, поговорить с тобой хотел, — сказал он, немного задыхаясь; взял со стола карандаш и стал вертеть его в руках.— Правда, что ты сегодня ночью ездил на мельницу?

Он с ожиданием устремил на меня взгляд поверх очков. Я чуть слышно ответил:

— Да.

— Так это правда?.. А я, брат, когда мне рассказали, сначала верить не хотел. Что же, самостоятельные, значит, теперь люди, а?

Я молчал.

— Значит, что отец там и мать запретили, до этого нам дела нет? Я сам себе теперь хозяин, а? так? Первый порыв, — что́ там о других думать? Пускай там мать в грязи мокнет, пускай там все... Нам-то какое дело?

Он положил карандаш и заходил по комнате.

— Ну, полюбуйся теперь, послушай поди, как мать от боли стонет... А мы зато мельникова поросенка от потопления спасли! — горько усмехнулся он.

Я все молчал. Папа тоже замолчал, продолжая ходить по комнате. Потом снова заговорил, словно рассуждая сам с собою:

— То есть, чтоб до того увлечься, чтоб до того все забыть! Хоть бы немножко, хоть немножко подумать о том, что делаешь! Первый порыв, какой-то сумасшедший, безумный порыв! Хоть бы ты о том подумал: что бы ты там помог — ты, ребенок еще! Ведь

там сильные, здоровые мужики были! Ну, а хорошо было бы, если бы ты простудился и схватил тиф? Пролежал бы три месяца, от товарищей отстал бы, и пришлось бы на второй год оставаться в том же классе. Да еще слава богу, если бы только тиф. Ну, а если бы ты утонул? Тебе наше горе, наши слезы нипочем?

Он остановился передо мною.

— Друг мой, не забывай, что ты у нас один. Мы с матерью — старики, не сегодня-завтра умрем, — на кого сестры останутся? На тебе, брат, лежат священные обязанности, и ты не имеешь права относиться к ним с легким сердцем.

Папа совсем успокоился; голос его звучал все мягче и ласковее. Но странно: чем дальше, тем быстрее улетучивалось во мне то настроение, в каком он меня застал. Что-то тяжелое и неприятное стало шевелиться у меня в душе.

Папа сделал движение; он, кажется, хотел обнять меня и поцеловать, он, кажется, ждал, что я выражу раскаяние. Я переступил с ноги на ногу, поднял глаза — и вдруг почувствовал, что непроизвольно, неожиданно для меня самого в них вспыхнул холодный, злой огонек.

Я быстро метнулся взглядом в сторону и закусил губу. Не знаю, заметил ли что папа. Он ласково положил мне руку на плечо и сказал:

— Ну, так не будем же, голубчик, ссориться с тобою; пожалуйста, только чтоб этого вперед никогда не было. Я понимаю, ты поступил так не от злого сердца; но думай же хоть немножко над тем, что ты делаешь.

— Я не виноват! — вдруг угрюмо буркнул я, не поднимая глаз.

Папа опустил руку.

— Не ви-но-ват?

Я стоял все так же насупившись и закусив губу. Изменившимся голосом папа спросил:

— Ты себя, Митя, не считаешь виноватым?

— Нет.

— Ах, тогда другое дело! Тогда, разумеется, другое дело. В таком случае и разговаривать не о чем.

Он повернулся и вышел из комнаты.

V

Я неподвижно стоял. Совершилось что-то невероятное, ужасное, чему даже нельзя подыскать имени... «Не виноват!» Неправда, я был виноват, я чувствовал себя виноватым. Какой-то бессмысленный, самому мне непонятный порыв вырвал у меня это грубое «нет!».

Я медленно спустился вниз и через сад ушел в поле.

В голове было смутно, сердце мертвым комком висело в груди. По золотистой ржи, не глядя на меня, тихо бежали волны; васильки чуждо синели над межою; и чуждо звенели в небе жаворонки. Я взглядывал на свой поступок со стороны, и мне казалось невероятным, чтоб я мог его совершить. Вдруг словно что осенило меня.

Господи, да чего же я! Идти скорей, сказать, что я сам не знаю, как это вышло, попросить прощения...

«Нет!» — раздался в душе негодующий голос.

И то же злобно-упрямое чувство, как тогда, разом охватило меня...

Я воротился домой поздно вечером, когда заря догорела и работники проехали на ночное.

В саду перед домом я остановился и заглянул в окно. В зале ужинали. Слышен был звон ножей и ложек, тихий говор. Мне видно было папу, сидевшего у самого окна, спиною ко мне. Я стал ждать. Наконец задвигались стулья, папа встал. Сестры подошли к нему прощаться. Он перекрестил их и перецеловал.

Я почувствовал, что все время упорным, злобным взглядом слежу за папою. Страшно мне стало, это к *нему* такое чувство!

В зале стихло. Я подождал и стал осторожно пробираться к себе. Но мама еще не спала. Когда я проходил по коридору, она окликнула меня. Делать было нечего, я собрался с духом и вошел, стараясь не смотреть ей в глаза.

Она лежала в постели с обложенною подушками, забинтованною рукою; мне показалось, что лицо ее за этот день похудело, а глаза стали больше.

— Слушай, Митя...— начала она. И пристально глядела на меня.

Я смотрел в сторону, но чувствовал на себе ее взгляд, печальный и долгий. Она помолчала.

— Ты, конечно, попросил у папы прощения?
Я прикусил губу и насупился.
— Нет.
Мама молча и внимательно смотрела на меня.
— Да я и не знаю, в чем мне прощения просить,— прошептал я.
— Голубчик мой, что это с тобой сделалось? — с болью спросила она.— Ведь ты его так обидел! Он пришел ко мне, — я его просто не узнала: совсем лица нет... И за что это, за что? Что он тебе ласково попенял, что ты нас не послушался? За это? Так неужели же отец не может этого даже *требовать?* Или ты себя теперь считаешь самостоятельным человеком? Голубчик мой, ведь тебе же пят-над-цать лет всего!
Я молчал. Ее глаза смотрели на меня, страдающие и кротко-укоризненные.
— Да, может быть, я еще попрошу прощения! — тихо сказал я.
Мама облегченно вздохнула.
— Ну, иди же, голубчик! Сейчас иди, не откладывай до завтра. Господь с тобой!
Я пошел.
В папином кабинете еще горел огонь. Я тихонько взялся за ручку двери...
Но через минуту я уже сидел у себя наверху, сгорбившись и угрюмо глядя в угол: дальше двери я к отцу не пошел; прежняя темная, непонятная мне сила с негодованием отшатнула меня от его порога. Теперь я окончательно чувствовал себя преступником, — закоренелым, не способным к раскаянию. Но я не ужасался; я ожесточенно закусывал губы и думал: «И пускай!»
Передо мною вставало лицо матери, кроткое, молящее; слышались слова всеобщего осуждения и негодования... «Ну, что ж, пускай!» — угрюмо и вызывающе думал я.

VI

Спустившись назавтра к утреннему чаю, я застал всех, кроме мамы, в сборе. Разговор прекратился, как только я вошел. Папа поднял голову и с холодным удивлением измерил меня взглядом, словно недоуме-

вал, что нужно здесь этому неизвестному человеку? Я насупился и, ни с кем не здороваясь, сел к столу.

Папа отвернулся, кашлянул и принялся за свой стакан.

Чай прошел в полном молчании. Катя сидела, строгая и печальная, неподвижно глядя на скатерть. Лиза уныло молчала. Видимо, обе они уже знали все. Шура и та притихла, с удивлением оглядывая нас.

Папа выпил стакан и сейчас же ушел. Молчание не прерывалось. Молча все встали из-за стола. Я подошел к Лизе.

— Хочешь, Лиза, идти на Волчьи Ямы? Там сегодня снопы возят — и работники наши, и щепотьевские мужики.

Я постарался сказать это самым обычным голосом, но вышло очень неестественно. Лиза печально и покорно взглянула на меня.

— Пойдем.

Мы отправились низом, через сад. Я шел, посвистывая и сбивая палкою головки попадавшимся татаринкам и чертополоху. Лиза молча шла рядом.

— Митя!

— Что ты?

Лиза робко и с усилием сказала:

— Митя... попроси у папы... прощения...

Я нахмурился.

— Прощения? В чем это?

Она молчала.

— Пожалуйста, не суйся, куда тебя вовсе не спрашивают!

Лиза еще ниже опустила голову. Я снова начал сбивать палкою репейные головки.

— Митя, попроси прощения! — тихо повторила она и умоляюще взглянула на меня.

Я сердито повел плечами и пошел быстрее.

Всю остальную дорогу мы не сказали ни слова.

Что-то вдруг отдалило нас друг от друга.

С этой минуты я весь ушел в себя. Теперь никого не было на моей стороне. Я остался один.

И потянулись дни... Одиночество, в котором я очутился, было полное. Не только все кругом, — собственное мое сознание было против меня. Только глубоко под сознанием, как скрученная пружина, напряженно дрожала смутная, непонятная мне сила. Она

вела меня, направляла — и молчала. А рассудок ясно и строго произносил над нею осуждающий приговор, и я ничего не мог сказать в ее защиту. Но все равно! Злая ли то была сила, добрая ли, — она стала мне дороже меня, я бесповоротно отдался ей и шел с нею против всех.

Папа держался со мною так, как будто не замечал моего присутствия. Мама, прикованная ревматизмом к постели, не выходила из спальни. На прекрасном, всегда спокойном лице Кати я читал такое беспощадное осуждение себе, что, казалось, умри я, — и то ее лицо не дрогнуло бы. Я с вызовом принимал это отношение и шел ему навстречу. Но с кем мне теперь было тяжело встречаться, это с Лизой: с ее бледного, страдающего лица смотрели на меня глаза с таким тоскливым вопросом... А я этого-то вопроса и не мог разрешить.

Иногда приходили минуты, когда как будто что-то прояснялось во мне и я взглядывал на себя со стороны; тогда мне становилось странно, — я ли это живу и действую в своем теле? В такие минуты я замечал, что папа сильно похудел, что между его бровями прорезалась складка, которой раньше не было. И во мне шевелилась жалость к нему и зарождалось желание пойти и примириться с ним, снова все поставить по-старому. Но это желание скоро исчезало, и я снова замыкался в себе.

Время шло, и никакой перемены в наших отношениях не было. Но я был убежден, что между мной и папой еще произойдет что-то необыкновенное и страшное. Если бы папе не предстояло вскорости уехать, все, может быть, вошло бы постепенно в колею; но он через несколько дней надолго уезжал; как же он отнесется ко мне при прощании? Будет и тогда совершенно не замечать меня, как теперь? Это невозможно. Еще невозможнее ждать, чтоб он ласково и горячо простился со мною. Очевидно, должно было произойти что-то особенное...

VII

И вот наконец пришел последний день.

Папе нужно было выезжать к поезду около десяти часов вечера. С раннего утра все в доме стало вверх

дном. Липатьевна переносила из прачечной в залу выглаженное белье. В спальне, под маминым наблюдением, горничные укладывали чемоданы. Афиноген смазывал на дворе тарантас. Папа отдавал последние приказания старосте.

Я просидел у себя наверху весь день. Ни к завтраку, ни к обеду я не вышел. Мне страшно было идти вниз: там все должно было решиться. И я старался оттянуть эту минуту. Внизу ходили, кричали. Я прислушивался, как вор, боящийся, чтоб его не накрыли.

Часов в восемь вечера я собрался с духом и спустился в залу. Все были заняты, и на меня никто не обратил внимания. Я молча остановился у окна. Мимо меня проходили, но никто как будто не замечал меня, словно я был вещью вроде стола или стула, на который странно оглядываться.

Я стоял уже с полчаса.

«Час, другой, — и придет минута...» — вдруг мелькнуло в голове.

И мне стало ясно, что минута эта не пройдет мимо. До тех пор я просто ждал ее, теперь я всем существом почувствовал ее неизбежность. Ведь это *вправду* будет, и не когда-нибудь, а вот сейчас, теперь... Уже к десяти часам все решится; теперь восемь... В эти два часа...

Я прошелся по зале и опять подошел к окну. Сердце замирало от ужаса, злобы и отчаянной решимости.

«Господи, скорее бы!.. Пускай будет что будет, только скорей, скорей...»

Жук влетел в раскрытое окно, за рекою засветился огонек. Сад был еще полон стрекотаньем и чириканьем, но в ясном воздухе уже разливалось что-то задумчиво-тихое, молчаливое. Не шевелились деревья, река чуть зыбилась. И меня поразило, как все кругом торжественно-спокойно. Умереть бы теперь, — именно теперь же, не дожидаясь ничего...

В передней кто-то кашлянул.

— Барин, поди сюда! — услышал я голос Власа.

Я вышел.

— Поди позови ко мне папашу. Совсем из головы вон! Позабыл его про слеги новые спросить. Скажи, что Влас, мол, пришел.

У меня в горле задрожал смех: слеги какие-то!

Будто в этих несчастных слегах теперь дело! Папа стоял перед конторкою и перебирал бумаги. При моем входе он быстро поднял голову и впился в меня глазами.

— Папа, там Влас пришел, просит тебя на минутку.

— Что? — крикнул он плачущим голосом.

Я робко повторил:

— Влас тебя спрашивает. Про слеги новые.

Папа отвернулся и стал рыться в бумагах.

— Хорошо... Сейчас...

Я ушел. В зале уж накрывали ужинать. Николай, со связкою веревок в руках, прошел в мамину комнату, бережно ступая по полу неуклюжими сапогами. Я вышел на балкон и присел на ступеньку. Теперь у меня ничего не было в душе, — была пустота без чувства, без мысли. Как будто мою голову приложили к плахе.

Подали ужинать. Молча все сошлись. Молча и ели все, ни на кого не глядя. Та холодная, тоскливая тяжесть, которая ощущалась всю эту неделю, когда нам приходилось быть вместе, теперь достигла крайней степени. Наконец отужинали. Папа снова ушел к себе.

— Финаге-е-н!.. Лошадей запрягай! — услышал я на крыльце визгливый голос Липатьевны.

Не знаю, откуда у меня взялась смелость: я пошел к маме. Николай увязывал последний чемодан. Покончив с ним, он сложил все в углу один на другой и ушел.

— Митя, — услышал я тихий, дрожащий голос.

Мама смотрела на меня долгим, пристальным взглядом, словно подзывая к себе. Я сделал к ней два шага.

— Митечка! Попроси у папы... прощения... — сказала она и вдруг, всем телом наклонившись вперед, тихо, беспомощно заплакала.

Я остолбенел. Новая, дотоле никогда мною не слыханная нота звучала в ее голосе: то безвольная рабыня плакала, вымаливая у грозного господина хоть каплю сострадания.

— Посмотри на папу... Ведь он в эту неделю... на десять лет постарел, — еле проговорила она сквозь рыдания.

Что-то до крайности напрягшееся вдруг словно оборвалось во мне.

— Мама!.. Я... пойду... — сказал я, задыхаясь, и, высвободив руку, медленно пошел из комнаты.

Как будто чужая, посторонняя душе сила вела меня, не спрашивая, хочу ли я идти, нет ли. Перед папиной дверью я на минуту остановился. Та же сила толкнула меня вперед. Я вошел в кабинет.

Папа сидел за письменным столом и писал что-то в записной книжке. Я неловко подошел и тихо сказал, глядя в землю:

— Папа, прости меня.

Папа перестал писать, как будто удивился и холодно взглянул на меня.

— Простить тебя? В чем? Я на тебя не сержусь.

И он снова взялся за карандаш. С минуту длилось молчание.

— Что же ты стоишь? Иди себе... Да вот, кстати: вели лошадей подавать, пора ехать.

— Прости меня! — повторил я и быстро взглянул на него.

— Поздно, голубчик мой! — печально сказал папа. — Теперь мне ехать пора, а не о прощении разговаривать. Как бы еще на поезд не опоздать. Да я на тебя вовсе и не сержусь. Тебе что, прощенье нужно? Изволь, я прощаю. Ведь тебе это действительно, как я вижу, крайне необходимо.

Он горько усмехнулся и замолчал. Я тоже замолчал, не двигаясь с места.

— О господи! — вдруг воскликнул папа и схватился за голову. — За что, за что мне это?! Я тут сижу, как дурак, ночей не сплю напролет... Я пятьдесят лет не плакал, теперь я узнал, что такое слезы... О-о-о!.. О-о-о!.. Если бы у меня что-нибудь такое с отцом вышло, я на шею бы ему кинулся и слезами бы... слезами... А ему и горя мало!.. Ему это только пустая формальность!..

Он откинулся на спинку кресла и зарыдал.

Я быстро поднял голову: он, *он* плакал передо мною!.. Это было невероятно и ужасно. Я кинулся к нему и остановился, беспомощно опустив руки.

— Папочка, прости меня!.. — растерянно повторял я, с испугом и стыдом глядя на него.

— Ступай себе, бог тебе судья!..

Он положил голову на руки и продолжал беззвучно рыдать.

Я смотрел на него и не замечал, что у самого у меня слезы градом лились по лицу. Все, что случилось в последнюю неделю, вылетело у меня из головы; я видел только этого сдержанного человека, теперь плакавшего передо мною, как мальчик. Мне больно и обидно было за него, что он так унизился передо мною, и жалко было его; но главное, я видел теперь, как неизмеримо я не прав перед ним и как трудно мне искупить свою вину.

— За что это, за что? — сказал папа, закрыв глаза рукою. — Ведь ты меня ненавидеть начал, я это ясно вижу... Это за то, что я вам всю жизнь отдал, только о вас и думал. Я не о твоем непослушании говорю, — за это бог тебе судья. Но я в ужас прихожу, когда подумаю о твоей безумной, ничего не разбирающей порывистости, твоей способности увлекаться до полного ослепления. Ты не знаешь, к чему это ведет, а я знаю... У меня сердце кровью обливается, как представляю себе, что ждет тебя в будущем с твоим характером... И ведь мой долг, — *долг,* понимаешь ли ты? — удерживать тебя, предостерегать тебя. И за это-то эта ненависть, эта вражда!.. Бог тебя простит! После когда-нибудь ты оценишь все, — тогда ты согласишься со мною, что я был прав...

— Папа... голубчик... прости меня!.. — проговорил я, давясь от рыданий.

— Я тебе, друг мой, правду говорю; я на тебя не сержусь. Если ты не веришь мне, если не хочешь видеть моей любви к тебе...

Я в тоске спросил:

— Могу ли я по крайней мере надеяться, что не теперь, а хоть потом, когда-нибудь, ты меня простишь?

Не помню, что происходило дальше; помню только, что это было что-то мучительное, как горячечный сон.

Папа простился со мною нежно и ласково, перекрестил и поцеловал меня; как сквозь туман, вспоминаю наше крыльцо, мерцающие во мраке фонари, папу в дорожном пальто, лица мамы и сестер, поцелуи, пожелания... Звякнул колокольчик, лошади дернули, и ночная темь поглотила тарантас.

Я поднялся к себе наверх и растерянно подошел к окну. Вдали слабою трелью заливался колокольчик. Из-за зубчатого силуэта сосны выглядывал тонкий, блестящий серп месяца. Ветер слабо шумел в липах.

«А все-таки ты не виноват!» — угрюмо прошептал голос в глубине души.

Отчаяние овладело мною, когда я услышал этот задорный голос. Я задушил его в себе и продолжал растерянно смотреть в окно.

1889

ТОВАРИЩИ

Василий Михайлович сидел за стаканом чая у открытого окна. Он спал после обеда и только что поднялся — заспанный, хмурый. Спал плохо: все время сквозь сон он напряженно и тоскливо думал о чем-то; теперь он забыл, о чем думал, но на душе щемило, а в голове неотвязно стояли два стиха, бог весть с чего пришедшие на память:

> Еще работы в жизни много,
> Работы честной и святой...

Моросил дождь, на заросшей улице чернела грязная дорога; березы противоположного сада смутно рисовались на сером, дождливом небе; где-то кричали галки.

Василий Михайлович задумчиво и неподвижно смотрел в окно. Он думал о том, что уже целых два года прожил в Слесарске; эти два года пролетели страшно быстро, как одна неделя, а между тем воспоминанию не на чем остановиться: дни вяло тянулись за днями, — скучные, бессмысленные; опротивевшая служба, бесконечные прогулки по комнате, выпивки — и тупая тоска, из которой нет выхода, которая стала его обычным состоянием... Неужели так всю жизнь прожить? А между тем впереди уж ничего нет. Не нужно бы ярких радостей, разнообразия, счастья; довольно было бы знать, что живешь для чего-нибудь, что хоть кому-нибудь нужны твое дело, твой труд...

Дождь за окном моросил. Вода с однообразным шумом лилась из желоба в кадушку. В темневшей комнате мерно тикал маятник.

С улицы кто-то окликнул Василия Михайловича. Четверо мужчин в белых фуражках, с раскрытыми зонтиками перебирались наискосок через дорогу к его квартире. Это были акцизники Зубаренко и Иванов, сослуживцы Василия Михайловича, врач Чуваев и Егоров, учитель прогимназии. Иванов, высокий и толстый человек, размахивая палкою, перепрыгивал впереди через лужи и кричал что-то Василию Михайловичу. Они шли к нему.

Василий Михайлович стоял у окна и, сморщившись, смотрел на Иванова. Теперь ему вдруг стала мила его печаль; он охотно остался бы с нею один.

Гости, стуча калошами, вошли в прихожую.

— Что это, господа, как вас редко видно? — сказал Василий Михайлович.

— Вопрос теперь не об этом, — лениво произнес доктор Чуваев, отряхивая воду с зонтика. — Вы лучше скажите: чаем нас напоите? пиво поставите?

— Ну, разумеется! — ответил Василий Михайлович, переходя в шутливо-грубоватый тон Чуваева.— Что я с вашим братом без пива делать буду?

Он пошел в кухню распорядиться. Когда он вернулся в залу, Иванов, смеясь и быстро расхаживая по комнате, рассказывал что-то; его широкое, добродушное лицо дышало весельем, но маленькие глаза смотрели, по обыкновению, жалко и растерянно.

Этот Иванов своею разговорчивостью спасал всех; Василий Михайлович не знал, что бы он без него стал делать с гостями; да, впрочем, они бы и не пришли к нему без Иванова. С тех пор как все они, товарищи по университету, неожиданно встретились в Слесарске в роли скромных чиновников, между ними легло что-то неискреннее и натянутое...

Василий Михайлович молча сел к окну. Иванов торопливо рассказывал:

— Эта дорога на Серебряные Пруды очень живописная. Налево Засека; справа, за рекой, Зыбинские горы... Один только недостаток: уже лет пять по этой дороге ни один черт не ездил. Ну вот я и счел нужным восполнить этот недостаток, — прибавил он, громко рассмеялся и оглядел всех своим растерянным взглядом. — Зайцев такая масса, просто удивительно! — обратился он к Василию Михайловичу. — И смелые какие!..

— Да вот как, — лениво вмешался Чуваев, никогда не бывавший в описываемых местах, — идешь — на краю дороги заяц; возьмешь его за уши, встряхнешь и опять пускаешь.

Иванов засмеялся.

— Да, да, почти так! Едем мы с хозяйкою верхом, на дороге два зайца. Она кричит на них, чтобы спугнуть с дороги...

— А они оборачиваются: «Убирайтесь к черту! Мы сами знаем, в какое время нам уходить!» — серьезно докончил Чуваев.

Учитель Егоров рассмеялся частым, густым смехом.

— Этакая дурища! Чего она обеспокоилась? Раздавить, что ли, боялась зайцев? «Мы сами знаем, в какое время нам уходить», — ей-богу, славно!

Он стал закуривать и продолжал смеяться про себя остроте Чуваева.

В подобных разговорах пройдет весь вечер; Василий Михайлович знал это. Не молчать же, сойдясь вместе, а больше им говорить не о чем. Взгляды у всех очень честные, симпатичные и до мелочей одинаковые; заговори кто о чем серьезно, — и его слова встретятся скрытою улыбкою: ведь все, что он скажет, давно уже прочитано всеми в таких-то и таких-то хороших книжках.

Кухарка внесла самовар и заварила чай. Переселн к столу.

Чуваев небрежно сказал:

— А бой-баба эта хозяйка ваша!.. Что она теперь, с Почекаевым, что ли, валандается?

— Да-да, кажется, — неохотно отозвался Иванов.

— Разве? — с удивлением спросил Егоров, насторожившись. — Вот тут и говори! Почекаев, — этакий, с позволения сказать, шиш!

— А вы что думаете? Он большим успехом пользуется у женщин.

— Да ведь это положительно уродец какой-то: маленький, на кривых ножках, лицо, как маска!

— Ну, там каков ни на есть, — улыбнулся Чуваев, — а его и сама Авдотья Николаевна близко знает, не то что хозяйка его.

Василий Михайлович сидел у окна и молчал. Зубаренко, приземистый хохол в темных очках, угрюмо на-

хмурившись, курил папиросу за папиросой и тоже молчал. Остальные гости пили чай, разговаривали и словно не замечали настроения хозяина. Василий Михайлович пересел к столу и принял участие в общем разговоре.

Чай отпили. Чуваев и Василий Михайлович расспрашивали Егорова о его товарищах-учителях. Зубаренко и Иванов пересматривали на конце стола альбом; им попалась карточка Глеба Успенского, и они молчали, задумчиво глядя на его страдающее, измученное лицо.

Егоров говорил:

— Да вообще без винта тут не проживешь. Придешь к кому-нибудь: «А слышали вы, вчера Петр Петрович на большом шлеме сел без шести?» Слушаешь, как остолоп, и хлопаешь ушами. Ей-богу, хорошо бы научиться: славно бы можно вечера проводить.

— Найдите учителя, я тоже поучусь, — сказал Чуваев.

— Да, поди-ка! Кого ни попросишь, — ну, говорят, это слишком скучно.

— В семье, в школе нам никто никогда не говорил о наших обязанностях, — донесся с конца стола тихий, пришептывающий голос Зубаренки. — Не воруй, не лги, не обижай других, не, не, не... Вот была мораль.

Все насторожились и стали прислушиваться.

— Мы думали спокойно прожить с этою моралью, как жили наши отцы. И вдруг приходит книга и обращается к нам с неслыханно громадным запросом: она требует, чтоб вся жизнь была одним сплошным подвигом. Но где взять для этого сил? Книга этих сил дать не могла, — она их предполагала уже существующими... И вот результат: она только искалечила нас и пустила гулять по свету «с больною совестью»...

Все молчали и слушали — внимательно, враждебно и пугливо. Как будто Зубаренко выдавал всем тайну, которую они старательно скрывали друг от друга. Чуваев с усмешкой почесал в затылке и громко спросил:

— А что, Василий Михайлович, пиво поставите вы нам сегодня?

Зубаренко покраснел и замолчал. Все вдруг неестественно оживились. Василий Михайлович, жадно

слушавший Зубаренка, уныло поднялся и пошел распорядиться.

Подали пиво. Чуваев разлил его по стаканам. Заговорили о борьбе Бисмарка с Вильгельмом, о выборах в Англии. Но разговор шел вяло, никто не смотрел друг другу в глаза.

— Что, господа, спеть бы что-нибудь!— предложил Егоров.

— Все старые, избитые песни надоели! — слабо запротестовал Иванов.

Чуваев потрепал его по плечу.

— Ничего, Петр Сергеевич! Вы в них каждый раз на новый манер врете.

— Уж лучше спойте вы нам для начала что-нибудь один.

Чуваев стал и потянулся.

— Разве что для начала!.. Что же спеть-то?

— Спойте: «Так жизнь молодая...»

Чуваев выпил стакан пива, прислонился к стене и откашлялся. Немного помолчал, потом запел:

Так жизнь молодая проходит бесследно,
А там — там уж близко конец;
И все, как посмотришь, так пусто, так бледно!..

Как будто совсем другой человек стоял теперь перед Василием Михайловичем: Чуваев выпрямился, брови его нахмурились, и в них легла скорбная складка; в мягком полусвете, бросаемом абажуром лампы, его лицо смотрело сурово и необычно.

Чем вспомнить кипучую жизнь молодую?
Любовью ль холодной, любовью ль бесстрастной?..

Все молчали. Просто, без всяких усилий, песня вдруг съютила их и сблизила; все переживали одно и то же, и переживали вместе, и хорошо всем было. А Чуваев пел, и несдерживаемою тоскою зазвучал его голос при последних словах песни:

Застынь же ты, сердце, и с жизнью ненастной!..

Егоров провел рукою по лбу.

— Славно, ей-богу, славно!

— Ну, господа, теперь общее что-нибудь! — предложил Василий Михайлович; он оживился, ему вдруг стали милы его гости. — Андрей Иванович, за ваше

здоровье! — обратился он к Чуваеву и с любовью поглядел на него.

Они чокнулись и выпили.

Пробки хлопали. Исчезла прежняя неловкость, все чувствовали себя свободно. Пиво развязало голоса. Чуваев запевал, остальные подхватывали. Пели: «Ой, во лузях», «Гой ты, Днипр», «Не осенний мелкий дождичек...»

И Василий Михайлович пел. Голова его слегка кружилась; все вокруг приняло мягкий поэтический оттенок; на душе было грустно. Опять вспомнились ему два последние года, бездеятельные, позорные: сердце спало, мысль довольствовалась готовыми ответами и ни разу не шевельнулась самостоятельно. И дальше то же будет. А между тем он учился, он когда-то думал, искал... И все это для того, чтобы здесь, где так нужны люди, только пьянствовать, сплетничать и жалеть, что не у кого научиться играть в карты.

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой...

Было время, когда и он говорил это, и они все. Тогда хорошо было жить, будущее было светло, думалось, что не на пустяки даны силы...

Знакомые песни звучали в ушах и будили воспоминания. И на остальных всех пахнуло прежним временем; лица были задумчивы и грустны.

— Эх, господа! — воскликнул Василий Михайлович прерывающимся голосом. — Давайте старую споем, хорошую:

Этих чудных ночей
Уж немного осталось,
Золотых юных дней
Половина промчалась!..

Да, господа, не половина, а *все* промчались!.. Все назади осталось, — и молодость, и вера, и идеалы...

Чуваев вдруг усмехнулся:

— Ну, оставьте, Василий Михайлович! Какие там идеалы! Пиво-то вот пейте: совсем выдохлось.

Василий Михайлович осекся и опустил голову над столом.

— Нет, что же?.. У нас... идеалы...

— О господи! Ну какие у вас «идеалы»? — спросил Чуваев с такою улыбкою, что выдержал бы ее только человек, много и крепко верящий в себя.

Василий Михайлович печально поднялся и стал ходить. Остальные тоже были недовольны. Чуваев вмешался совсем некстати: пива было выпито достаточно, и теперь прежняя недоверчивость исчезла; всем хотелось раскрыть друг перед другом души, каяться в чем-то, даже плакать, пожалуй.

— Нет, господа, что же? Неужто так-таки и не было у нас ничего за душою? — сказал Егоров и сердито покосился на Чуваева.

Чуваев злорадно усмехнулся:

— Было, Алексей Иванович, — кто спорит! Только уж давно быльем поросло... Чего же вспоминать? Всякий заранее знает, что другой скажет: «Эх, господа,— было, а теперь нет... а могло бы быть...» И все-таки не будет... Старая это история, Алексей Иванович, а наше пошехонское дело теперь — пиво пить.

Чуваев попал в точку. Он в двух словах исчерпал то, что другие собирались выразить в длинных речах, о чем готовы были плакать, хоть и пьяными, но искренними и горькими слезами. И вот теперь эти накипевшие слезы и речи уперлись в пустое место.

Все неловко молчали. Ветер ударил в окно брызгами дождя, в спальне стукнула ставня... Василий Михайлович ходил по комнате и поглядывал на своих замолкших гостей.

И вдруг он почувствовал, как все они несчастны и, главное, как *одиноко* несчастны, как тяжело им нести это одинокое горе. И что-то горячее шевельнулось у него в сердце, ему захотелось сблизить их всех, хотелось сказать: «Господа! Чуваев прав, — все это так. Но для чего нам обманывать друг друга, для чего давить в себе то, что рвется наружу? Посмотрите, какие мы все измученные, как темно и холодно на душе! Ведь искра была, — почему же она погасла, почему не разгорелась? Почему жить так тяжело?!.»

Но Василий Михайлович ничего не сказал: он видел, теперь его слова ни в ком не нашли бы отголоска. Чуваев заставил всех очнуться, и каждый поспешил снова пугливо запереться в себе. Все были несчастны, да, но никто из них не уважал своего горя, да и не стоило оно уважения... Вот это-то последнее с осо-

бенною ясностью почувствовал Василий Михайлович: да, горе их — горе дряблое, бездеятельное, ему нет оправдания; стыдиться его нужно, а не нести в люди.

И еще более чуждыми, еще более далекими стали все друг другу...

— А что, господа, ведь пива-то нет больше, — вдруг сказал Егоров.

— Как нет? — испугался Василий Михайлович. — Я велел Матрене полторы дюжины принести, а тут всего десять бутылок.

Он стал искать на окне, под столом, вышел в кухню и разбудил Матрену: оказалось, она не дослышала и принесла только десять бутылок; теперь идти было уже поздно.

— Черт знает что такое! Хоть бы дюжину, а то какие-то десять бутылок! — с досадою сказал Василий Михайлович. — Ну, что же, господа, давайте хоть так что-нибудь еще споем.

Но дело не клеилось. Все опять замолчали. Это не тихий ангел пролетел, а проползало что-то мутное, тяжелое, скверное. В окна смотрела темная ночь, дождь стучал по крыше, в кухне храпела Матрена... Молча все поднялись, молча стали расходиться.

— Пошехонцы едут, цыц! — сердито ворчал Чуваев, пробираясь через огромную лужу на дворе и отмахиваясь зонтиком от собак.

1892

БЕЗ ДОРОГИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

20 июня 1892 года. С-цо Касаткино

Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги,

лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем.

И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять...

Кругом все так близко знакомо, — и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых три года не был здесь? Я как будто видел все это вчера. А между тем как долго шло время!..

Да, мало что хорошего вспомнишь за эти прожитые три года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираться вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя — уничтожиться, уничтожиться телом, душою, всем, чтоб ничего от тебя не осталось... Можно ли с этим жить? Невесело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти три года.

«Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня». Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди! Как они верили в себя! А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю, — это именно в неодолимую силу времени. «Зачем я от времени зависеть буду!» Зачем? Оно не отвечает; оно незаметно захватывает тебя и ведет, куда хочет; хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет? Сознавай тогда, что ты идешь не по своей воле, протестуй всем своим существом, — оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое миросозерцание, на всю мою душевную жизнь... Гартман говорит, что убеждения наши — плод «бессознательного», а умом мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания; я чувствовал, что там где-то, в этом неуловимом «бессознательном», шла тайная, предательская, неведомая мне работа и что в один прекрасный день я вдруг окажусь во власти этого «бессознательного». Мысль эта наполняла

меня ужасом: я слишком ясно видел, что правда, жизнь — все в *моем* миросозерцании, что если я его потеряю, я потеряю все.

То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени — сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось, неужели *эти* — всего только младшие братья вчерашних? В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло вовсе не во имя каких-либо новых начал, — о нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство, — ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил...

Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами; обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной уродливости моего собственного положения: отчаянно стараясь стать *выше времени* (как будто это возможно!), недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно «обессмысленную щепку» когда-то «победоносного корабля». Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел наконец к результату, о котором говорил: уничтожиться, уничтожиться совершенно — единственное для меня спасение.

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать; но в этом-то нужно сознаться, — что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу, — так там холодно и темно, так гадко жалок этот бессильный страх

перед окружающим! И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты — какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем... Тяжело жить так. Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу, было много, особенно в последний год, — работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было; всем существом отдаться делу, *наркотизироваться* им, совершенно забыть себя, — вот была моя цель.

Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в земстве каким-то enfant terrible;[1] председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и в конце апреля свалился сам, а когда поправился... то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я *должен* был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо... Э, да что вспоминать! Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это!..

Большая зала старинного помещичьего дома; на столе кипит самовар; висячая лампа ярко освещает накрытый ужин, дальше, по углам комнаты, почти совсем темно; под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна раскрыты настежь, и теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом; с реки слабо доносятся женский смех и крики, плеск воды.

Мы ходим с дядей по зале. За эти три года он сильно постарел и растолстел, покрякивает после каждой фразы, но радушен и говорлив по-прежнему; он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная, румяная девка, с платочком на голове и босая, внесла шипящую на сковороде яичницу; по дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь; стаи мух под потолком всколыхнулись и загудели сильнее.

— А вот у нас одно есть, чего у вас нету, — сказал дядя, улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми близорукими глазками.

---

[1] Буквально: ужасный ребенок; здесь — человек, позволяющий себе то, на что другие не отваживаются (*фр.*).

— Что это? — спросил я, сдерживая улыбку.

— Мухи!

Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание.

Тетя Софья Алексеевна воротилась с купанья; еще за две комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.

— Палашка! возьми простыню, повесь на дверь в спальне! Да зовите мальчиков к ужину, где они?.. Котлеты подавайте, варенец, сливки с погреба... Скорей! Где Аринка? А, яичницу уже подали, — говорит она, торопливо входя и садясь к самовару. — Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, чтоб остыла яичница? Садитесь!

Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу, ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия; ее поседевшие волосы, пушистою каймою окружающие круглое лицо, выглядят как напудренные.

— А как же? Разве без барышень можно? — спросил дядя.

— Можно, можно! Пускай не опаздывают!

— Нет, это нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?

— Да ну, будет тебе! Ведь Митя голоден с дороги. Тоже — рыцарь! — сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.

— Ну, нечего делать: приказано, так надо слушаться. Что ж, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки — и за яичницу примемся.

Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.

— А как водка будет по-латыни — aqua vitae? — спросил он.

— Да.

— Гм! «Вода жизни»... — Дядя несколько времени в раздумье смотрел на наполненные рюмки. — А ведь остроумно придумано! — сказал он, вскидывая на меня глазами, и засмеялся дребезжащим смехом. — Ну, будь здоров!

Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.

— Где же, однако, барышни наши? — спросил дя-

дя, с аппетитом пережевывая яичницу. — Я беспокоюсь.

— Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались, — ответила тетя.

В саду под окнами раздались голоса, стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась.

— Ну, вот тебе и барышни наши: слава богу, за полверсты слышно.

Они шумно вошли в залу. Лица их после купанья свежи и оживленны, темные волосы Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.

— Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?

— Я ныряла, — быстро ответила она, садясь к столу.

— Так что ж такое?

— Соня, передай ветчину... Ну, так вот нужно, чтоб волосы просохли.

— Зачем это нужно? — изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови. — Нет, взрослым девицам вовсе не подобает ходить с распущенными волосами! — сказал он, качая головой.

Но поучение его пропало даром; все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив: «Спасайся, кто может!» — вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась.

— Что это вы, Лида, в большой опасности находились? — вполголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь.

Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела взглядом на отца: значит, здесь тайна, которую мне объяснят потом.

— А что же ты, Дмитрий, макарон к котлетам не взял? — спохватился дядя. — Дай я тебе положу.

Он наложил мне в тарелку макарон.

— У итальянцев макароны — самое любимое кушанье, — сообщил он мне.

Очень радушный хозяин дядя, но — признаться — скучновато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что итальянцы любят макароны.

Пришли и мальчики. Миша — пятнадцатилетний сильный парень с мрачным, насупленным лицом —

молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше; это крепыш невысокого роста, с большой головой; он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.

— Ну, Митечка, рассказывай же, что ты это время поделывал, — сказала Софья Алексеевна, кладя мне руку на локоть.

Наташа подняла было голову и в ожидании устремила на меня глаза. Но мне так не хочется рассказывать...

— Ей-богу, тетя, ничего нет интересного; служил, лечил — вот и все... А скажите, — я сейчас через Шеметово ехал, — кто это там за околицей новую мельницу поставил?

— Да это же Устин наш, разве ты не знал? Как же, как же! Уж второй год работает мельница...

И начался длинный ряд деревенских новостей. В зале уютно, старинные, засиженные мухами часы мерно тикают, в окна светит месяц... Тихо и хорошо на душе. Все эти девчурки-подростки стали теперь взрослыми девушками; какие у них славные лица! Что-то представляет собою моя прежняя «девичья команда»? Так называла их всех Софья Алексеевна, когда я студентом приезжал сюда на лето...

С конца стола донесся ярый рев, от которого все вздрогнули.

— Что такое? — грозно крикнула тетя. — Кто это там?

— Это — я! — торжественно объявил Петька.

— Ну, конечно, так и есть: кому же еще? Я тебе, дрянь мальчишка!

— Это я читать кончил, — объяснил Петька.

Дядя поднял голову и, словно только что проснулся, повел кругом глазами.

— Э... э... Что это? — спросил он, покрякивая. — Должно быть, Петька опять дикие звуки испускает, а?

Ему никто не ответил. Он крякнул и подложил себе в чай сахару. Петька сидел, развалясь на стуле, и широко ухмылялся.

— Крик могучий, крик пернатый... я в своем сердце ощутил... Крик ужасный, крик... неясный... я из себя испустил... Кхе-кхе-кхе! Как хорошо вышло!

И, совершенно довольный, Петька придвинул к себе тарелку и стал накладывать творогу. Кругом смеялись, а он старательно разминал ложкою творог с сахаром, как будто не о нем совсем шло дело.

Чай отпили.

— А что, Вера Николаевна, усладите вы сегодня наш слух своею музыкой? — спросил дядя.

Вера, племянница Софьи Алексеевны, — стройная, худощавая блондинка с матово-бледным лицом и добрыми глазами; она собирается осенью ехать в консерваторию, и, говорят, у нее действительно есть талант.

— Да, да, Вера, — сказал я. — Сыграйте-ка что-нибудь после ужина; я в Пожарске столько слышал о вашем таланте.

Вера встрепенулась.

— Ах, господи! Митя, я вам наперед говорю: если вы такие вещи говорить будете, я н-ни за что не стану играть!

— Да не беспокойтесь, пожалуйста, я вот сначала послушаю. Очень может быть, что после этого и не стану говорить.

Дядя засмеялся и встал из-за стола.

— Ну, кажется, все уже кончили. Докажите ему, Вера Николаевна, что и Пожарск может собственных Невтонов рождать!

Все перешли в гостиную. Вера села за рояль, быстро пробежала рукой по клавишам и с размаху сильно ударила пальцем в середине клавиатуры.

— Что же вам сыграть? — спросила она, повернув ко мне голову.

— Это всегда так знаменитые музыканты начинают! — почтительно произнес Петька и ткнул указательным пальцем в Верин палец, нажимавший клавишу.

— Да ну, Петя, будет! — рассмеялась она, стряхивая его руку.

Тетя отогнала Петьку от рояля.

Я попросил играть Бетховена. Наташа широко распахнула двери балкона. Из сада потянуло росой и запахом душистого тополя; в акации щелкал запоздалый соловей, и его песня покрылась громкими, дико оригинальными бетховенскими аккордами. В зале, при свете маленькой лампочки, убирали чай. Дядя сопел на диване и слушал, выкатив глаза.

Я мало понимаю в музыке; я даже не мог бы сказать, горе или радость выражены в сонате, которую играла Вера; но что-то накипает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое; многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как будто это другой кто жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня, я работал, горько смеясь в душе над самим собою... Да полно, прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и помощи; знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни... И принес я с собой оттуда лишь одно, — неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу.

Вера играла. Ее бледное лицо смотрело сосредоточенно, только в углах губ дрожала лукавая улыбка; пальцы тонких, красивых рук быстро бегали по клавишам... О да! теперь бы и я мог уверенно сказать: сколько задорного, молодого счастья в этих звуках! Они знать не хотят никакого горя: чудно-хороша жизнь, вся она дышит красотою и радостью; к чему же выдумывать себе какие-то муки?.. Вершины тополей, освещенные месяцем, каждым листиком вырисовывались в прозрачном воздухе; за рекою, на склоне горы, темнели дубовые кусты, дальше тянулись поля, окутанные серебристым сумраком. Хорошо там теперь. Дядя по-прежнему сопел, понурив голову. Дремлет ли он, или слушает?

Ко мне неслышно подошла Наташа.

— Митя, пойдем мы сегодня гулять? — шепотом спросила она, близко наклонившись и блестя глазами.

— Конечно! — тихо ответил я. — А что, вам еще и теперь не позволяют гулять по вечерам?

Наташа с улыбкой наклонила голову, указала взглядом на отца и отошла.

Пальцы Веры с невозможною быстротою бегали по клавишам; бешено-веселые звуки крутились, захватывали и шаловливо уносили куда-то. Хотелось смеяться, смеяться без конца, и дурачиться, и радоваться тому, что и ты молод... Раздались громовые заключительные аккорды. Вера опустила крышку рояля и быстро встала.

— Славно, Вера, ей-богу, славно! — воскликнул я, обеими руками крепко пожимая ее руки и любуясь ее счастливо улыбавшимся лицом.

Дядя поднялся с дивана и подошел к нам.

— Вера Николаевна своей музыкой, как Орфей в аду... укрощает камни... — любезно сказал он.

— Именно, именно, камни укрощает! — с мальчишеским чувством подхватил я. — За вашу музыку я вас сегодня гулять с собой возьму, — шутливо шепнул я ей.

— Благодарю! — ответила она, улыбаясь.

Дядя зевнул и вынул часы.

— Ого! Уже скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую. Как ты думаешь, Дмитрий? В деревне всегда надо рано ложиться и рано вставать. Покойной ночи!.. Как это?.. э... э... Leben Sie wohl, essen Sie Kohl, trinken Sie Bier, lieben Sie mir!..[1] Xxe-хе-хе-хе! — Дядя засмеялся и протянул мне руку. — Немцы без *бира* никогда не обойдутся.

Он простился и ушел. Я стал перелистывать лежавшую на столе «Ниву»; остальные тоже делали вид, что чем-то заняты. Тетя окинула всех нас взглядом и засмеялась.

— Ну, Митя, вы, я вижу, гулять собираетесь! — сказала она, лукаво грозя пальцем.

Я расхохотался и захлопнул «Ниву».

— Тетя, посмотрите, какая ночь!

— Да, Митечка, ведь ты же больше суток в дороге был! Ну. где тебе еще гулять?

— Речь тут не обо мне, тетя...

— Стал ты доктором, а, право, все такой же, как прежде...

— Ну, значит, позволяете! — заключил я. — А мальчиков можно с собой взять?

— Э, да уж идите все! — махнула она рукой. — Только, господа, потише, чтоб папка не слышал, а то буря будет... Я велю вам в зале кринку молока оставить: может быть, проголодаетесь... Прощайте! Счастливого пути!

Мы спустились в сад.

---

[1] Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня!.. (*Немецкая поговорка.*)

— Ну, что же, господа, на лодке поедем? — шепотом спросил я.

— Конечно, на лодке!.. В Грёково, — быстро сказала Наташа. — Ах, Митя, ночь какая! Прогуляем сегодня до утра?..

Все были как-то особенно оживлены, — даже полная, сонливая Соня, старшая сестра Наташи. Мы свернули в темную боковую аллею; в ней пахло сыростью, и свет месяца еле пробивался сквозь густую листву акаций.

— Вот, Митя, потеха была сегодня! — смеясь, заговорила Наташа. — Выкупались мы перед ужином и переехали в лодке на ту сторону; возвратились назад, — я весла выбросила на берег, выпрыгнула сама и нечаянно ногою оттолкнула лодку. Лида сидела на корме, — вдруг как вскочит: «Ах, господи-батюшки! Спасайся, кто может!» — и как была, одетая,—в воду!

— Я испугалась: как бы мы без весел к берегу подъехали? — краснея, стала оправдываться Лида, сестра Веры.

Странная эта Лида: молчаливая и застенчивая, она краснеет при самом незначительном обращенном к ней слове.

— И вся, вся замочилась, выше пояса! — хохотала Наташа. — Пришлось сбегать домой, принести ей сухое платье.

— «Спасайся, кто может!» Ххо-хxo-xxo! — в восторге засмеялся Петька и обеими руками крепко обнял Лиду за талию.

— Да ну, Петька, пошел прочь! — с досадой сказала Лида. — Вешается ко всем.

— Ах, Лида, Лида! За что ты меня ожесточаешь? — меланхолически произнес Петька. — Если бы ты могла знать чувства мужского сердца!

— Ну, Петька! Шут! — лениво засмеялась Соня.

Аллея кончалась калиточкой. За нею по косогору спускалась к реке узкая тропинка. Наташа неожиданно положила руки на плечи Веры и вместе с нею быстро побежала под гору.

— Ай!.. Ната-а-аша!!! — закричала Вера, испуганно смеясь и стараясь остановиться. Петька помчался следом за ними.

Когда мы сошли к реке, Вера, обессилевшая от смеха и усталости, сидела на лавочке под черемухой

и, свесив голову, громко, протяжно охала. Петька сидел рядом и тоже старательно охал.

— Да ну, Петя... Ради бога!.. Ох! — стонала она, хватаясь за грудь. — Будет!.. Ох, не могу!.. О-о-ох!

— О-о-ох! — вторил Петька.

Вера морщилась и бессильно махала руками, и все-таки смеялась.

— Ну, Верка, размякла совсем!—презрительно сказала Наташа, стоя на корме лодки.—Настоящая рыба!

— Господа! Ведь нас не только в доме, а и в Санине слышно, — запротестовал я.

— Ну, садитесь скорее в лодку, а то мы одни уедем! — крикнула Наташа.

— О-ох, Наташа, Наташа! — вздохнула Вера, поднимаясь и еле бредя к лодке. — Что ты со мною делаешь!

— Да ну же, садитесь скорей! — повторила Наташа, нетерпеливо раскачивая лодку.

Мы с Мишей сели за весла; Вера, Соня, Лида и Петька разместились в середине, Наташа — у руля. Лодка, описав полукруг, выплыла на середину неподвижной реки; купальня медленно отошла назад и скрылась за выступом. На горе темнел сад, который теперь казался еще гуще, чем днем, а по ту сторону реки, над лугом, высоко в небе стоял месяц, окруженный нежно-синею каймою.

Лодка шла быстро; вода журчала под носом; не хотелось говорить, отдавшись здоровому ощущению мускульной работы и тишине ночи. Меж деревьев всем широким фасадом выглянул дом с белыми колоннами балкона; окна везде были темны: все уже спят. Слева выдвинулись липы и снова скрыли дом. Сад исчез назади; по обе стороны тянулись луга; берег черною полосою отражался в воде, а дальше по реке играл месяц.

— Ах, какая чудная луна! — томно вздохнула Вера. Соня засмеялась.

— Вот, смотри, Митя, она всегда такая: просто не может равнодушно видеть месяца. Раз мы с нею шли в Пожарске через мост; на небе луна, — тусклая, ничего хорошего; а Вера смотрит: «Ах, великолепная луна!..» Такая сентиментальная!

— Сентиментальная! А вот Наташа только что говорила, что я — рыба. Разве рыбы бывают сентимен-

тальные? — спросила Вера с своею медленною и доброю улыбкою.

— Отчего же нет? Высунула рыба нос из воды, смотрит на луну: «Ах, ах! — великолепная луна!»

Соня сострила неожиданно для себя и залилась смехом. Я сложил весла и передохнул.

— Господа, давайте голоса ночи слушать, — предложила Наташа.— Миша, брось весла.

Лодка медленно проплыла несколько аршин, постепенно заворачивая вбок, и наконец остановилась. Все притихли. Две волны ударились о берега, и поверхность реки замерла. С луга тянуло запахом влажного сена, в Санине лаяли собаки. Где-то далеко заржала лошадь в ночном. Месяц слабо дрожал в синей воде, по поверхности реки расходились круги. Лодка повернула боком и совсем приблизилась к берегу. Дунул ветер и слабо зашелестел в осоке, где-то в траве вдруг забилась муха.

Я закурил папиросу и стал держать горящую спичку над водой. Из черной глубины быстро вынырнула рыба, оторопело уставилась на огонь выпученными, глупыми глазами и, вильнув хвостом, юркнула назад. Все рассмеялись.

— Как Вера на луну! — сказала Лида, лукаво дрогнув бровью.

Все засмеялись сильнее, а Лида покраснела.

— Ну, господа, дальше можно ехать, — сумрачно проговорил Миша, все время зевавший. Он снова взялся за весла.

Наташа перебралась с кормы на середину лодки.

— Митя, расскажи, за что тебя со службы выгнали, — сказала она, с детскою лаской заглядывая мне в глаза.

— За что выгнали? О голубушка, это история долгая...

— Ну, все-таки расскажи!..

Я стал рассказывать. Все теснее сдвинулись вокруг. Между прочим, рассказал я и о своей первой стычке с председателем, после которой я из «преданного своему делу врача» превратился в «наглого и неотесанного фрондера»; приехав в деревню, где был мой пункт, принципал прислал мне следующую *собственноручную* записку: «Председатель управы желает видеть земского врача Чеканова; обедает у князя

Серпуховского». Ну, я ему на обратной стороне его записки ответил: «Земский врач Чеканов не желает видеть председателя управы и обедает у себя дома».

Все рассмеялись.

— Что же он? — быстро спросила Наташа.

— Да ничего. Ответа моего он никому не мог показать, потому что тогда бы прочли и его письмо; ну, а так врачу не пишут.

— Я не понимаю, Митя, как можно было так ответить, — сказала Вера. — Ведь он же ваш начальник?

— Да ну, Вера! Всегда вот такая! — нетерпеливо повела Наташа плечами. — Так что ж такое?

— Как — что ж такое? Вот из-за этого Митя потерял место. Хорошо еще, что он неженатый человек.

— Голубушка, Вера, и женатые отказывались от мест, — сказал я. — Читали вы в газетах о саратовской истории? Все врачи, как один человек, отказались. А нужно знать, какие это горькие бедняки были, многие с семьями, — подумать жутко!

Мы несколько времени плыли молча.

— Свобода вероисповедания... — задумчиво произнес Петька.

— К чему ты это сказал? — с усмешкою спросила Соня.

Петька помолчал.

— К чему я это, правда, сказал? — проговорил он с недоумевающей улыбкой. — А все-таки есть смысл.

— Какой же?

— Го-го!.. Какой! Свобода вероисповедания, — из-за нее в средние века сколько войн происходило.

— Ну так что ж?

— Ну так вот.

Я снова сел за весла. Лодка пошла быстрее. Наташа лихорадочно оживилась; она вдруг охватила обеими руками Веру и, хохоча, стала душить ее поцелуями. Вера крикнула, лодка накренилась и чуть не зачерпнула воды. Все сердито напали на Наташу: она, смеясь, села на корму и взялась за руль.

— Господи, вот сумасшедшая девчонка! Я так испугалась! — говорила Вера, оправляя прическу.

— Скорей, господа, скорей гребите! — говорила Наташа, откидывая распущенные волосы за спину.

Лодка вдруг с шуршащим шумом врезалась в тростннк; нас обдало острым запахом аира, его початки закачались и раздались в стороиы.

— Сильией гребите, снльией! — смеялась Наташа, иетерпеливо топая иогами. Весла путались в упругнх кориях анра, лодка медлеино двигалась вперед, окружеииая сплошиою стеною мясистых, острых, как иглы, стеблей. — Ну вот, приехали! Вылезайте!

— Спорить трудио: действительио приехали! — засмеялся я.

Вера переглянулась с Лидой.

— Оди-нако! Довольио-таки по-суворовскн! — сказала оиа, подиимаясь.

— Ничего! Суворов был умный человек. Вылезай! Я вас в грёковской роще ужииом иакормлю.

— Да, если так, то... Ай, Наташа, осторожиее! Не качай лодку!

Мы вышли иа берег. Спуск весь зарос лозняком и тальииком. Прнходнлось прокладывать дорогу сквозь чащу. Миша н Соня иедовольио ворчалн на Наташу; Вера шла покорио и только охала, когда оступалась о пеиек нли тяиувшуюся по земле ветку. Петька зато был совершенно доволен: ои продирался сквозь кусты куда-то в стороиу, вдоль рекн, с величайшим удовольствием падал, опять подиимался н уходил все дальше.

— Не стоиите, тут сейчас тропиика должна быть, — сказала Наташа.

Оиа остаиовилась и, подобравши волосы, шнроким узлом заколола нх иа затылке.

— Ах, Митя, если бы ты зиал, как я рада, что ты приехал! — вдруг вполголоса сказала она н с быстрой, радостиой улыбкой взгляиула на меня из-под подиятой руки.

— Эй, вы... акафнсты! — доиесся из-за кустов голос Петьки. — Идите сюда: тропиика!

— Ну, слава богу! — облегчеиио вздохиула Соия, н все повериули иа голос.

Мы поднялись по тропиике вверх. Над обрывом выснлись три молодых дубка, а дальше без коица тяиулась во все стороны созревавшая рожь. Так и пахнуло в лицо теплом и простором. Вннзу слабо дымнлась иеподвнжная река.

— Ох, устала! — проговорила Вера, опускаясь на траву. — Господа, я не могу дальше идти, нужно отдохнуть... Ох! Садитесь!..

— Фу-ты, безобразие! Как старуха, охает! — сказала Наташа. — Сколько раз ты сегодня охнула?

— Старость приходит, о-ох!.. — вздохнула Вера и засмеялась.

Опершись на локоть, она закинула голову кверху и стала смотреть в небо. Мы все тоже сели. Наташа стояла на самом краю обрыва и смотрела на реку.

Ветер слабо дул с запада; кругом медленно волновалась рожь. Наташа повернулась и подставила лицо навстречу ветру.

— Господи!.. Наташа, смотри, где ты стоишь! — испуганно вскрикнула Вера.

Край обрыва надтреснул, и Наташа стояла на земляной глыбе, нависшей над берегом. Наташа медленно посмотрела под ноги, потом на Веру; задорный бесенок глянул из ее глаз. Она качнулась, и глыба под нею дрогнула.

— Наташа, да сойди же сию минуту, — волновалась Вера.

— Ну, Верка, не сентиментальничай!—засмеялась Наташа, раскачиваясь на колыхавшейся глыбе.

— Ах, господи, бешеная девчонка!.. Наташа, ну ради бо-ога!..

— Наташа; да ты и вправду с ума сошла! — воскликнул я, поднимаясь.

Но в это время глыба сорвалась, и Наташа вместе с нею рухнула вниз. Вера и Соня истерически вскрикнули. Внизу затрещали кусты. Я бросился туда.

Наташа, оправляя платье, быстро выходила из кустов на тропинку. Одна щека ее разгорелась, глаза ярко блестели.

— Ну, можно ли, Наташа, так?!. Что, ты больно ушиблась?

— Да ничего же, Митя, что ты! — ответила она, вспыхнув.

— Не может быть ничего: с этакой высоты!.. Эх, Наташа! Если ушиблась, так скажи же.

— Ах, Митя, какой ты чудак!—рассмеялась она.— Ну, что это — из-за каждого пустяка такую тревогу подымать!

Она быстро стала подниматься по тропинке вверх.

— Это бог знает что такое! — сердито встретила ее Соня. — Право, ведь всему есть мера. Этакая глупость!.. Недоставало, чтобы ты себе сломала ногу.

Наташа широко раскрыла глаза и медленно спросила:

— Кому до этого дело?

— Ах, господи! — всплеснула Вера руками. — Вот меня всегда в таких случаях возмущает Наташа!.. «Кому дело»! Папе и маме твоим дело, нам всем дело!.. Как это так всегда, постоянно и постоянно о себе одной думать!

— Всегда, постоянно и постоянно... — благоговейно повторил Петька и задумался, словно стараясь вникнуть в глубокий смысл этих слов.

— Ну, ну! *просто* — постоянно! — улыбнулась Вера.

Петька захихикал.

— Всегда, постоянно и постоянно! Как хорошо выходит: всегда, постоянно... и постоянно!

— Ну, господа, довольно сидеть! Идем дальше! — сказала Наташа. — Вот так, прямо через рожь, всего полверсты будет до рощи.

— О Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь! — вздохнула Вера, опираясь о его плечо и поднимаясь.

Мы пошли через рожь по широкой меже, заросшей полынью и полевой рябинкой.

— Вот и дома тоже: когда я рассержусь, я начинаю говорить очень неправильно, — сказала Вера. — И мальчики сейчас этим пользуются.

— Вера, неужели вы тоже умеете сердиться? — удивленно спросил я.

— О, да еще как! — улыбнулась она. — Только мальчики совсем не боятся. Я заговорюсь, скажу что-нибудь, — они сейчас подхватят, я и рассмеюсь. Особенно Саша, — он такой остроумный; и у него совсем какой-то особенный юмор.

Вера начала рассказывать о своих братьях. Знала она их удивительно: столько в ее рассказах сказалось наблюдательности, столько любви и тонкого психологического чутья, что я слушал с действительным интересом. Остальные довольно недвусмысленно выражали желание переменить разговор.

— Ну, ну, я сейчас кончу! — торопливо возражала Вера и продолжала рассказывать без конца.

Вдруг в темноте раздался звонкнй подзатыльннк, что-то охнуло, н Петька кубарем покатнлся в рожь.

— Дурак! — послышалось нзо ржи.

Мнша гневно крнкнул:

— Я тебе еще не так влеплю, дрянь!

Петька вышел на межу н стал счищать с себя пыль.

— Думает, что сильнее, старший братец, так может, что хочет, делать! — сердился он.

— Да в чем дело? Миша, за что ты его? — спросила Соня.

— Черт знает что такое! Иду, — вдруг он меня за нос хватает!.. Попробуй-ка еще раз!

— А я почем знал, что это твой иос? Ты бы сказал. А то я вижу, морква какая-то торчит, — длнниая, мокрая... Мие, коиечио, интересио.

— Глупо-с, Петенька! — ядовито заметил Мнша.

— Склизкая такая, холодная...

Кругом смеялись. Петька был отомщен. Миша презрительно процедил:

— Шут гороховый!

— О-о-о-хо-хо! — глубоко вздохнул Петька, подтянул брюкн н огляделся по сторонам. — У Наташи в глазах две курсистки сндят, — объявнл он. — В каждом глазу по курснстке: одиа в очках, другая без очков.

— Ну, оставь, Петя! — недовольно остановнла Наташа.

— А ты разве на курсы собираешься? — быстро спросил я.

— Н-нет... ие знаю, — ответила она н взгляиула вперед. — Вот оиа, грёковская роща!

Средь светлой ржн, отлого тянувшейся вниз, шнрокою, неправнльиою полосою вилась грёковская лощниа; на склоне ее, вся залитая луиным светом, темиела иебольшая осиновая роща.

Лощинка была уже выкошеиа. Ручей, густо заросшнй тростииком н резикой, сонно журчал в темноте; под обрывом близ омута что-то однообразио, чуть слышио пнщало в воде. Из глубины лощины тяиуло влажиым, пахучим холодком.

Мы перебралнсь через ручей н вошлн в рощу. В середнне ее была сажалка, вся сплошь зацветшая. Наташа спустнлась к самому ее берегу н из глубины

развесистого липового куста достала небольшой холстинковый мешочек.

— Господа, костер нужно будет разводить! Вот вам ужин,— с торжеством заявила она.

В мешочке оказалось десятка три сырых картофелин, четыре ржаных лепешки и соль. Все расхохотались.

— Откуда это у тебя тут?

— Очень просто: я часто хожу сюда читать; проголодаюсь, — разведу костер, спеку картофелю и позавтракаю.

— Г-ге-ге! это нужно вперед знать, — сказал Петька, почесав за ухом.

Все рассыпались по роще, ломая для костра нижние сухие сучья осин. Роща огласилась треском, говором и смехом. Сучья стаскивались к берегу сажалки, где Вера и Соня разводили костер. Огонь запрыгал по трещавшим сучьям, освещая кусты и нижние ветви ближайших осин, между вершинами синело темное звездное небо; с костра вместе с дымом срывались искры и гасли далеко вверху. Вера отгребла в сторону горячий уголь и положила в него картофелины.

Сначала все шутили и смеялись, потом примолкли. Костер догорал, все было съедено. Петька, положив вихрастую голову на колени Веры, задремал; она с материнскою заботливостью укутала его своим платком и сидела не шевелясь. И опять, как тогда за роялем, ее лицо стало красиво и одухотворенно.

Мы долго сидели у костра; под пеплом бегали огненные змейки, листья осин слабо шумели над головой. Я рассказывал о своей службе, о голоде и голодном тифе, о том, как жалко было при этом положение, нас, врачей: требовалось лишь одно — кормить, получше кормить здоровых, чтоб сделать их более устойчивыми против заражения; но пособий едва хватало на то, чтоб не дать им умереть с голоду. И вот одного за другим валила страшная болезнь, а мы беспомощно стояли перед нею со своими ненужными лекарствами... Вера сидела, задумчиво глядя на лицо спящего Петьки; кажется, она мало слушала: мысли ее были далеко, в Пожарске, и она думала о своих братьях.

Наконец мы собрались домой. Месяц уже давно сел, на востоке появилась светлая полоска; лощина тонула в белом тумане, и становилось холодно. Было поздно, приходилось возвращаться домой по самой короткой дороге; Наташа взялась сходить завтра утром за лодкой и пригнать ее домой. Мы поднялись на гору, прошли через рожь, потом долго шли по пару и вышли наконец на торную дорогу; круто обогнув крестьянские овсы, она мимо березовой рощи спускалась вниз к Большому лугу. Весь луг был покрыт густым туманом, и перед нами как будто медленно колыхалось огромное озеро. Мы спустились в это туманное озеро. Грудь теснило сыростью, тяжело было дышать; на траве по бокам дороги белела роса. Мы шли, рассекая туман.

— Слушай! — сказала вдруг Наташа, схватив меня за локоть.

Мы остановились. Тишина кругом была мертвая; и вдруг, близ рощи, в овсах, робко, неуверенно зазвенел жаворонок... Его трель слабо оборвалась в сыром воздухе, и опять все смолкло, и стало еще тише.

Вдали начали вырисовываться в тумане темные силуэты деревьев и крыши изб; у околицы тявкнула собака. Мы поднялись по деревенской улице и вошли во двор. Здесь тумана уже не было; крыша сарая резко чернела на светлевшем небе; от скотного двора несло теплом и запахом навоза, там слышались мычание и глухой топот. Собаки спали вокруг крыльца.

— Ну, господа, потише теперь, а то всех разбудим! — предупредил я.

В голове звенело, нервы были напряжены; у всех глаза странно блестели, и опять стало весело.

— Что ж, Митя, будем мы молоко пить? — спросила Наташа.

— Уж лучше не надо: разбудим мы всех.

— А мы вот как сделаем: мы к тебе наверх молоко принесем и там будем пить.

Мысль эту все одобрили. Мы пробрались наверх. За молоком откомандировали, конечно, Наташу. Она принесла огромную кринку молока и целый ситный хлеб.

— Господа, извольте только все молоко выпить! — объявила она.

— Почему это?

— А то мама увидит, что не все выпили, и вперед будет меньше оставлять.

— Эге! На этом основании, значит, каждый раз придется все выпивать!

Однако через четверть часа кувшин был уже пуст. Теперь, когда шуметь было нельзя, всеми овладело веселье неудержимое; каждое замечание, каждое слово приобретало необыкновенно смешное значение; все крепились, убеждали друг друга не смеяться, закусывали губы — и все-таки смеялись без конца... Мне с трудом удалось их выпроводить.

Однако засиделся же я! Солнце встало и косыми лучами скользит по кирпичной стене сарая, росистый сад полон стрекотаньем и чириканьем; старик Гаврила, с угрюмым, сонным лицом, запрягает в бочку лошадь, чтоб ехать за водою.

Спать!

21 июня

Проснулся я в начале двенадцатого и долго еще лежал в постели. В комнате полумрак, яркое полуденное солнце пробирается сквозь занавески и играет на стекле графина; тихо; снизу издалека доносятся звуки рояля... Чувствуешь себя здоровым и бодрым, на душе так хорошо, хочется улыбаться всему. Право, вовсе не трудно быть счастливым!

Миша и Петя пришли звать меня купаться. Я оделся, мы наперегонки сбежали к реке. Небо — синее и горячее, солнце жжет; тенистый сад на горе, словно изнемогши от жары, неподвижно дремлет. Но вода еще свежа, она охватывает тело мягкою, нежною прохладою; плывешь, еле двигая руками и ногами, в этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь освещенной солнцем воде. Мы купались около часа, пока не зазвонили к завтраку. Почти все уж были в сборе; на столе благодать: пирог, варенец, рубцы, редиска, ветчина, свежие огурцы. Я опять сидел возле дяди, и он любезно сообщил мне несколько очень новых и интересных сведений: что гречневая каша — национальное русское блюдо, что есть даже пословица: «Каша — мать наша», что немцы предпочитают пиво, а русские — водку, и т. п.

Вошла Наташа и села к столу.

— Что ж ты, Наташа, с Митею не здороваешься?—сказала Софья Алексеевна. — Ведь он с твоими «принципами» не знаком и может обидеться.

По губам Наташи скользнула быстрая усмешка; она протянула мне руку.

— У тебя какие же на этот счет «принципы»? — спросил я.

Наташа засмеялась.

— Я не знаю, о каких мама принципах говорит,— ответила она, садясь рядом со мною. — А только... Смотри: мы восемь часов назад виделись; если люди днем восемь часов не видятся, то ничего, а если они эти восемь часов спали, то нужно целоваться или руку пожимать. Ведь, правда, смешно?

— Ничего смешного нет, — поучающе возразила Софья Алексеевна. — Это известное условие между людьми, которое...

— Нам все смешно, нам все решительно смешно! — вдруг вскипятился дядя, враждебно глядя на Наташу. — Здороваться и прощаться — это предрассудок; вести себя, как прилично взрослой девушке,— предрассудок... А вот начитаться разных книжонок и без критики, без рассуждения поступать по ним — это не предрассудок! Это идейно и благородно.

Наташа с усмешкой наклонилась над своею чашкою и молчала. Видимо, между нею и отцом лежало что-то, не раз уже вызывавшее их на столкновения.

После завтрака я узнал от Веры о положении дела. Последние два года Наташа усердно готовилась по древним языкам к аттестату зрелости, который, как передавали газеты, будет требоваться для поступления в проектируемый женский медицинский институт. Дядя был очень недоволен занятиями Наташи: двадцатитрехлетней Соне, по-видимому, уже нечего было рассчитывать на замужество; Наташа была живее и красивее сестры, и дядя надеялся хоть от нее дождаться внучат. Между тем Наташа с головою ушла в своих классиков; она в Пожарске никуда не выезжала и даже не выходила к гостям, которые приглашались специально для нее. Чтобы совершенно избавиться от всех этих выездов и гостей, она прошлою осенью решила остаться на всю зиму в деревне. Произошла очень тяжелая сцена с дядей; под конец

он объявил Наташе, что пусть она живет, где хочет, но пусть же и от него не ждет ни в чем уступки. Наташа всю зиму прожила в деревне; по утрам она набирала в залу деревенских ребят и девок, учила их грамоте, читала им; по вечерам зубрила греческую грамматику Григоревского и переводила Гомера и Горация. Этою весною проект о женском медицинском институте был возвращен Государственным советом; решение вопроса отодвинулось на неопределенное время. Наташа решила ехать хоть на Рождественские курсы лекарских помощниц. Но для поступления туда требуется родительское разрешение. Когда Наташа заговорила с дядей о курсах, он желчно рассмеялся и сказал, что просьба Наташи его очень удивляет: как это она, «такая самостоятельная», снисходит до просьб! Наташа возразила, что просит она у него только разрешения, содержать же себя будет сама (у нее было накоплено с уроков около трехсот рублей). Дядя отказал наотрез. За Наташу вступился доктор Ликонский, отец Веры и Лиды, единственный человек, имеющий влияние на упрямого и ограниченного дядю; но и его убеждения ничего не могли поделать. Дядя решительно объявил, что боится отпустить Наташу с ее характером в Петербург.

26 июня

Может быть, это — лишь следствие того подъема жизненных сил, который обыкновенно замечается после благополучно перенесенного тифа, — что до того? Я знаю только, что я глубоко счастлив, счастлив *так*, без всякой причины... Ясные дни, теплые, душистые ночи, музыка Веры, — чего мне больше? Не замечаешь, идет ли время, или стоит. Никакие вопросы не мучают, на душе тихо и ясно. Я даже книг современных теперь не читаю: дед дяди был очень образованный человек и оставил после себя огромную библиотеку; теперь она свалена в верхней кладовой и служит пищею мышам. Я целые часы провожу там, разбираю и привожу в порядок книги и бумаги. Мне нравится с головою уходить в эту давно исчезнувшую жизнь, где Вольтер уживался с житиями святых, Руссо — с крепостным правом, «Les liaisons dangereu-

ses»[1], — с Фомою Кемпийским, — жизнь жестокую, наивную, сладострастную и сентиментальную.

Наташа навела ко мне массу больных. Все в деревне ей знакомы, и все ей приятели. Она сопутствует мне в обходах, развешивает лекарства. Странное что-то в ее отношениях ко мне: Наташа словно все время изучает меня; она как будто не то ждет от меня чего-то, не то ищет, как самой подойти ко мне. Может быть, впрочем, я ошибаюсь. Но какие славные у нее глаза!

От разговоров ее веет чем-то старым-старым, но таким хорошим; она хочет знать, как я смотрю на общину, какое значение придаю сектантству, считаю ли возможным и желательным развитие в России капитализма. И в расспросах ее сказывается предположение, что я непременно должен интересоваться всем этим. Что же? Я ведь действительно интересуюсь; однако, правду говоря, разговоры эти мне крайне неприятны. Я с величайшим удовольствием прочту книгу, где дается что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о нем; но пусть для моего собеседника, как и для меня, вопрос этот будет холодным теоретическим вопросом, вроде вопроса о правильности теории фагоцитоза или о вероятности гипотезы Альтмана. Наташа же вносит в дело слишком много страстности, и мне становится неловко. Я неохотно отвечаю ей и перевожу разговор на другое.

И еще в одном отношении я часто испытываю неловкость в разговоре с нею: Наташа знает, что я мог остаться при университете, имел возможность хорошо устроиться, — и вместо этого пошел в земские врачи. Она расспрашивает меня о моей деятельности, об отношениях к мужикам, усматривая во всем этом глубокую идейную подкладку, в разговоре ее проскальзывают слова: «долг народу», «дело», «идея». Мне же эти слова режут ухо, как визг стекла под острым шилом.

27 июня

Со станции привезли газеты. В Баку — холера. Она медленно, но непрерывно поднимается вверх по Волге.

[1] «Опасные связи» (*фр.*).

Писать, так уж все писать, хоть гадко и противно вспоминать. После завтрака мы с Верой, Соней и Наташей играли на дворе в крокет. Разговор случайно зашел о тургеневской Елене; Соня, перечитывавшая недавно «Накануне», назвала Елену «самым светлым и сильным образом русской женщины». Я напал на такую незаслуженно высокую оценку Елены. Елена — это разновидность типа очень старого: неопределенные порывания вдаль, игнорирование окружающего, искание чего-то эффектного, яркого, необычного, — в этом она вся. Инсарова она полюбила не за то, что он указал ей дело, а просто потому, что он окружен ореолом, что он — «замечательный человек»: для нее Инсаров совершенно заслоняет собою то дело, которому он служит. Конечно, выбор Елены делает ей честь, но... право, полюбить, например, героя Гарибальди — «невелика штука», как выражается Шубин; невелика штука и умереть за *Италию* из любви к *Гарибальди*. Когда Инсаров опасно заболевает, Елена может найти утешение лишь в одной мысли: «если он умрет, — и меня не станет». Вне ее любви для нее ничего не существует, и понятно, что после смерти Инсарова она должна была поехать непременно в Болгарию... Нет, Елена вовсе не «самый светлый образ русской женщины». Неужели действительно все дело женщины заключается в том, чтобы отыскивать достойного ее любви мужчину-деятеля? Где же прямая потребность настоящего дела? Пусть это дело темно и невидно, пусть оно несет с собою одни лишения без конца, пусть на служение ему уходят молодость, счастье, здоровье, — что до того? Ведь не забава и не фон для поэтического романа; это — тяжелый труд, красный лишь сознанием, что живешь не напрасно. И у нас много было и есть женщин, для которых это сознание дороже самых блестящих героев.

Уж тогда, когда я говорил, во мне шевельнулось отвращение к моему приподнятому тону; но меня подчинило себе то жадное внимание, с каким слушала Наташа. Она не спускала с меня радостно-недоумевающего взгляда, и столько в этом взгляде было страха, что я оборву себя, по обыкновению за-

мну разговор. Ну, вот,—я не остановился, не свел разговора на другое... О мерзость!

И напрасно я стараюсь убедить себя, что говорил я искренно, что есть что-то болезненное в моей боязни к «высоким словам»: на душе скверно и стыдно, как будто я, из желания пустить пыль в глаза, нарядился в богатое чужое платье.

11 час. вечера

Весь вечер я просидел наверху в кладовой, разбирая книги. Солнце опустилось в багровые тучи, и несколько раз принимался накрапывать дождь. Дядя за ужином был угрюм и молчалив: он собирался начать назавтра возку сена, а барометр неожиданно сильно упал; на Выконке сено не успели скопнить, и оно осталось на ночь в кругах. Окна были раскрыты, в темном саду тихо шумел дождь. Наташа тоже была молчалива. Я несколько раз ловил на себе ее внимательный и нерешительный, словно выжидающий взгляд. После ужина, когда я прощался с нею, она, протягивая руку, вдруг взглянула на меня и тихо проговорила:

— Митя, мне так много хочется у тебя спросить.

И я — я не спросил, что именно; я только серьезно кивнул головою и, не глядя на Наташу, ответил, что я всегда к ее услугам. Как будто я в самом деле не знаю, что она хочет спросить...

30 июня

Все время я провожу в кладовой за книгами. Небо обложено тучами, дождь моросит без конца; в мутной сырой дали тянутся черные пашни, мокрые галки кричат на крыше... Я напрасно стараюсь подавить в себе беспричинное, глухое раздражение, не оставляющее меня ни на минуту. Раздражает и надоедливый шум дождя по крыше, и эти ветхие окна, из щелей которых дует нестерпимо, и несущийся от книг противный запах мышей и прелой бумаги. Когда я вспоминаю о своем гаденьком вилянье перед Наташей, меня злость берет: уже два дня прошло; как мальчик, шалость которого открыта, я боюсь разговора с нею и стараюсь избегать ее. И Наташа сразу заметила это. Она держится в стороне, но глаза ее смотрят печально и

недоумевающе. Бог весть как объясняет она мое поведение. Сегодня утром я случайно встретился с нею в коридоре; она пугливо оглядела меня и молча прошла мимо.

Голова тяжела, в груди тупая, ноющая боль, и опять появился кашель...

1 июля

Я лег вчера спать еще до ужина. Сегодня проснулся рано. Отдернул занавески, раскрыл окно. Небо чистое и синее, солнце горячим светом заливает еще мокрый от дождя сад; на липах распустились первые цветки, и в свежем ветерке слабо чувствуется их запах; все кругом весело поет и чирикает... На душе ни следа вчерашнего. Грудь глубоко дышит, хочется напряжения, мускульной работы, чувствуешь себя бодрым и крепким.

Я пошел в конюшню и оседлал Бесенка. Он застоялся, мне с трудом удалось сесть на него. Бесенок сердито ржал и, весь дрожа от нетерпения, рвался подо мною и вперед и в стороны. Я нарочно, чтоб побороться с ним, проехал тихим шагом деревенскую улицу и весь Большой луг. От седла пахло кожею, и этот запах мешался с запахом влажной луговой травы.

Проехав плотину, я свернул на Опасовскую дорогу и пустил Бесенка вскачь. Он словно сорвался и понесся вперед как бешеный. Безумное веселье овладевает при такой езде; трава по краям дороги сливалась в одноцветные полосы, захватывало дух, а я все подгонял Бесенка, и он мчался, словно убегая от смерти.

Слева над рожью затемнел Санинский лес; я придержал Бесенка и вскоре остановился совсем. Рожь без конца тянулась во все стороны, по ней медленно бежали золотистые волны. Кругом была тишина; только в синем небе звенели жаворонки. Бесенок, подняв голову и насторожив уши, стоял и внимательно вглядывался в даль. Теплый ветер ровно дул мне в лицо, я не мог им надышаться...

Ясное небо, здоровье да воля, —
Здравствуй, раздолье широкого поля!..

Ласточка быстро пронеслась мимо иог лошади и вдруг, словно что вспомиив, взмахиула крылышками, издала мелодический звук и крутым полукругом вильиула обратно. Бесеиок опустил голову и нетерпеливо переступил ногами. Я повернул иа дорогу, вившуюся среди ржи по направлеиию к Саиинскому лесу.

«Здоровье»... Здоров я ие был,—я чувствовал, что грудь моя больна; ио мие доставляло даже удовольствие это совершеиио безболезиениое ощущение гиездящейся во мне болезии, и весело было заглядывать ей прямо в лицо: да, у меня легкие усеяны тысячами тех предательскнх желтеиьких бугорков, к которым я так пригляделся на вскрытиях, — а я вот еду и дышу полиою грудью, и все у меия в душе смеется, и я не боюсь думать, что болен я — чахоткою...

Вспомнился мие профессор N., у которого я два года работал, — хмурый старик с грозными бровями и добрейшей душой; вспомиились мне его предостережеиия, когда я сообщил ему, что поступаю в земство.

— Да вы, батеиька, знаете ли, что такое земская служба? — говорил он, сердито сверкая иа меия глазами. — Туда идти, так прежде всего здоровьем иужно запастись бычачьим: промок под дождем, попал в полынью, — выбирайся да поезжай дальше: иичего! Ветром обдует и обсушит, на постоялом дворе выпьешь водочки, — и опять здоров. А вы посмотрите иа себя, что у вас за грудь: выдуете ли вы хоть две-то тысячи в спирометр? Ваше дело — клииика, лаборатория. Поедете, — в первый же год чахотку иаживете.

Я знал, что все это правда, и тем ие меиее поехал же; я и под дождем мокиул и в полыиьи проваливался, спеша в весеннюю распутицу к рожеиице, корчащейся в эклamптических судорогах. Когда ночные поты и утреинй кашель навели меия иа подозрение и я нашел в своей мокроте коховские палочки — имеино сознаиие, что я добровольно шел иа это, и не дало мие пасть духом. И вот теперь я стыжусь... чего? — стыжусь говорить, что иужно жить не для себя одного! Передо мною встало побледиевшее личико Наташи с большими, печальными глазами... Да неужели же я ие имею права хоть иастолько-то уважать себя, чтоб ие бояться разговора с нею, ие бояться того вопроса, с которым она хочет ко мие обратиться? А как я ее мучил!

Рожь кончилась, дорога вилась среди ореховых и дубовых кустов опушки и терялась в тенистой чаще леса. Меня отовсюду охватило свежим запахом дуба и лесной травы; высоко вверх взбегали кругом серые стволы осин, сквозь их жидкую листву нежно синело небо. Дорога была заброшенная и наполовину заросшая, ветви липовых и кленовых кустов низко наклонялись над нею; в траве виднелись оранжевые шляпки подосинников, ярко зеленела костяника; запахло папоротником... Угомонившийся Бесенок шел щеголеватым шагом, изогнув красивую черную шею; вдруг он поднял голову и, взглянув вперед, громко заржал. На повороте дороги, в нескольких шагах от меня, показалась Наташа верхом на своем буланом Мальчике.

Увидев меня, она отшатнулась на седле и, нахмурившись, затянула поводья; лошадь прижала уши и, оседая на задние ноги, подалась назад.

— Наташа! ты каким образом здесь? — радостно крикнул я и поспешил ей настречу. — Здравствуй, голубушка! — Я перегнулся с седла и крепко пожал ей руку.

Наташа слабо вспыхнула и оглядела меня быстрым, робким взглядом.

— Вот хорошо, что мы с тобою встретились! Если бы я знал, я бы нарочно именно сюда поехал. Посмотри, утро какое: едешь и не надышишься... Неужели ты уже домой? Поедем дальше, хочешь?..

Я говорил, а сам не отрывал глаз от ее милого, радостно-смущенного лица. Я видел, как она рада происшедшей во мне перемене и даже не старается скрыть этого, и мне неловко и стыдно было в душе, и хотелось яснее показать ей, как она мне дорога.

— Поедем, мне все равно, — в замешательстве ответила Наташа, поворачивая Мальчика.

— Ну, вот спасибо!.. И как это мы с тобою именно здесь съехались? Как хорошо, — правда? Голубушка, поедем куда-нибудь... Хочешь в Заклятую Лощину?

Я с трудом удерживал Бесенка, он косился и грозно ржал на шедшего бок о бок Мальчика. Дорога была узкая, мокрые ветви осинок то и дело обдавали нас брызгами, и мы ехали совсем близко друг от друга.

— Я там была сейчас, — сказала Наташа, — ручей разлился и весь обратился в трясину; пробовала проехать, — нельзя.

Я взглянул на Наташу: она была там!.. Заклятая Лощина — это глухая трущоба, которая, говорят, кишит волками; ее и днем стараются обходить подальше. А эта девчурка едет туда одна ранним утром, так себе, для прогулки!.. Не знаю, настроение ли было такое, но в эту минуту меня все привлекало в Наташе: и ее свободная, красивая посадка на лошади, и сиявшее счастьем смущенное лицо, и вся, вся она, такая славная и простая.

— Ну, как хочешь, а я тебя сегодня не скоро пущу домой, — засмеялся я. — Попалась, так уж такая судьба твоя! Поедем хоть куда-нибудь.

Мы свернули на широкую дорогу, пересекавшую лес. Прямая как стрела, она бежала в зеленой, залитой солнцем просеке.

— Вот дорога, как раз для скачек, — сказал я и с улыбкой взглянул на Наташу.

Наташа встрепенулась.

— А ну, давай опять перегоняться! — предложила она, поправляясь на седле. — Теперь наши лошади одинаково устали.

Мы как-то уж перегонялись с Наташей, и обогнала она; но я перед тем проехал на Бесенке десять верст.

— Ну, ну, посмотрим!

Мы пустили лошадей вскачь. Но только что они расскакались и мой Бесенок начал наддавать, все больше опережая Мальчика, как явилось довольно неожиданное препятствие. На краю дороги бродили в кустах два больших поросенка, безмятежно взрывая рылами землю. Завидев нас, они испуганно шарахнулись из кустов, хрюкнули и пустились улепетывать по дороге. Мы ждали, конечно, что они сейчас свернут вбок, и скакали по-прежнему; но поросята неуклюже всё мчались перед нами, всхрюкивая и отчаянно махая коротенькими, тонкими хвостиками.

— Они теперь все время так бежать будут, ни за что не свернут! — крикнула Наташа, смеясь.

Мы стали задерживать разогнавшихся лошадей. Поросята побежали медленнее, взволнованно хрюкая и трясь боками друг о друга.

Мы попытались осторожно объехать их; поросята взвизгнули и опять как угорелые бросились вперед. Мы переглянулись и расхохотались.

— Вот так задача! — сказал я.

Наташа сдерживала, смеясь, рвавшегося вперед Мальчика. Теперь последняя неловкость между нами исчезла, Наташа оживилась, и было неудержимо весело.

— Ничего, все равно поедем! — сказала Наташа. — Это Дениса свиньи, лесника; их и без того следовало пригнать домой: вон куда они забрели, их еще волки съедят! Поедем к Денису, он нас молоком напоит. Его сторожка сейчас там, на полянке.

Мы поехали шагом, предшествуемые поросятами.

— Ты еще не видел этого Дениса, он всего два года здесь лесником. Такой потешный старичок, — маленький, худенький... Как-то, когда он только что поступил, мама случайно заехала сюда; увидала его: «Голубчик мой, да что же ты за сторож? Ведь тебя всякий обидит!» А он отвечает: «Ничего, барыня, меня не найдут...»

Никогда еще я не видел Наташу такою: ее лицо так и дышало детскою, беззаветною радостью... Я не мог оторвать от нее глаз.

Лесная сторожка стояла в глубине широкой, недавно выкошенной поляны. Денис, в белой холщовой рубахе и лаптях, вышел нам навстречу.

— Денис, голубчик, здравствуй! К тебе мы! — сказала Наташа, соскакивая с лошади.

— А-а, барышня касаткинская, — воскликнул Денис, щурясь. — Просим милости, пожалуйте. — Сунув шапку под мышку, он взял за повод наших лошадей.

— Голубчик, надень шапку!.. И привяжем мы сами... А уж если хочешь быть другом, напои нас молоком... Едем мы сюда, — вот он и говорит: «Не даст нам Денис молока!» Кто, я говорю, Денис-то не даст?

— Господи? Да неужто ж мы какие-нибудь? Слава богу, найдется молочко, будьте покойны. Пожалуйте в горницу. Девка-то моя на деревню побежала, так уж сам услужу вам.

Было в Денисе что-то чрезвычайно комичное: он то и дело самым степенным образом гладил свою жидкую бороденку, серьезно хмурил брови, и все-таки ни следа степенности не было в его сморщенном в кулачок личике и всей его миниатюрной фигурке; получалось впечатление, будто маленький ребенок ста-

рается изобразить из себя почтенного, рассудительного старичка.

Мы вошли в избу. Денис поставил перед нами две чашки и кринку парного молока, нарезал ситнику. Наташа следила за ним радостно-смеющимися глазами и болтала без умолку.

— А чтой-то я вот барина этого раньше не видал никогда? — сказал Денис. — Смотрю, смотрю, — нет, чтой-то словно...

— Он недавно только приехал...

Денис поглядел на Наташу.

— Они, что же, барышня, — уж не обессудьте на вопросе, — не женишком ли вам приходятся?

— Ну да же, конечно, женихом!

— То-то я все смотрю... Чтой-то, думаю, — с чего такая радость?

— Да как же, Денис, не радоваться? Ведь сам знаешь, в нынешние времена жениха найти — дело нелегкое. Не найдешь их нигде, словно вымерли все.

Денис развел руками.

— Да ведь... О том и толк, барышня! Куда, мол, подевались все? Неизвестно!

— Вот-вот. Ну, а я вот нашла себе.

— Ну, дай вам бог счастливо!.. Они, что же, по акцизной части служат?

Наташа расхохоталась.

— Голубчик Денис, да почему же ты думаешь, что именно по акцизной?!

— Ну, ну, господь с тобой, матушка... Хе-хе-хе! — рассмеялся и Денис, глядя на нее.

Узнав, что я доктор, он придал своему лицу страдальческое выражение и стал сообщать мне о своих многочисленных болезнях.

Мы просидели у него с полчаса. Попытался я ему заплатить за молоко, но Денис обиделся и отказался наотрез.

От него мы поехали на Гремучие колодцы, оттуда в Богучаровскую рощу. В Богучарове, у земского врача Троицкого, пили чай... Домой воротились мы только к обеду.

2 июля, 10 час. утра

Перечитал я написанное вчера... Меня опьянили яркое утро, запах леса, это радостное, молодое лицо;

я смотрел вчера на Наташу и думал: так будет выглядеть она, когда полюбит. Тут была теперь не любовь, тут было нечто другое; но мне не хотелось об этом думать, мне только хотелось, чтоб подольше на меня смотрели так эти сиявшие счастьем глаза. Теперь мне досадно, и злость берет: к чему все это было? Я одного лишь хочу здесь, — отдохнуть, ни о чем не думать. А Наташа стоит передо мною, — верящая, ожидающая...

11 час. вечера

Ну, произошел наконец разговор... После ужина Вера с Лидой играли в четыре руки какой-то испанский танец Сарасате. Я сидел в гостиной, потом вышел на балкон. Наташа стояла, прислонясь к решетке, и смотрела в сад. Ночь была безлунная и звездная, из темной чащи несло росою. Я остановился в дверях и закурил папиросу.

Наташа обернулась на свет спички.

— Ах, это ты, Митя! — тихо сказала она, выпрямляясь. — Хочешь, пойдем в сад?.. Посмотри, как... хорошо...

Голос ее обрывался, и она взволнованно теребила кружево на своем рукаве.

Мы спустились в цветник и пошли по аллее.

— Помнишь, Митя, — вдруг решительно заговорила Наташа, — помнишь, ты говорил недавно о сознании, что живешь не напрасно, — что это самое главное в жизни... Я и прежде, до тебя, много думала об этом... Ведь это ужасно — жить и ничего не видеть впереди: кому ты нужна? Ведь это сознание, о котором ты говорил, — ведь это самое большое счастье...

Я молча шел, кусая губы. В душе у меня подымалось злобное, враждебное чувство к Наташе; должна же бы она наконец понять, что для меня этот разговор тяжел и неприятен, что его бесполезно затевать; должна бы она хоть немного пожалеть меня. И меня еще больше настраивало против нее, что мне приходится ждать сожаления и пощады от этого почти ребенка.

Наташа замолчала.

— Я слышал, что ты прошлую зиму занималась здесь с деревенскими ребятами, — проговорил я. — Ну, как ты, с охотою занималась, нравится тебе это дело?

— Д-да, — сказала Наташа, запнувшись.

— Ну, вот н дело. Еслн хочешь совершеино отдаться ему, поступи в сельские учительнницы. Тогда ты будешь близко стоять к народу, можешь сойтнсь с ним, влнять на него...

Я говорил, как плохой актер говорнт заучеииый монолог, и мерзко было иа душе... Мнё вдруг пришла в голову мысль: а что бы я сказал ей, если бы не было этой спаснтельной сельской учнтельинцы, альфы и омеги «настоящего» дела?

Наташа шла, опустнв голову.

— Голубушка, это дело мелко, что говорить, — сказал я, помолчав. — Но где теперь блестящие, великие дела? Да ие по инм н узнается человек. Это дело мелко, но оно дает велнкне результаты.

Я почтн физнческн страдал: как все фальшнво и фразисто! Мне казалось, теперь Наташа вндит меня насквозь; и казалось мие еще, что и сам я только теперь увидел себя в настоящем свете, увндел, какая безнадежная пустота во мне...

— Вот это прелестно! — раздался в темноте голос Веры. — Мы с Лидой играем для них, стараемся, а оии себе ушли н гуляют здесь! Стонт вам играть после этого! Никогда не стану больше!

Вера, Лнда н Соия подошлн к нам. Я был рад, что кончился разговор.

3 июля

Привезлн газеты. На меия вдруг пахнуло совсем из другого мира. Холера расходнтся все шнре, как степиой пожар, н захватывает одну губернию за другою; люди в стнхнйном ужасе бегут от нее, в народе ходят зловещне слухн. А нашн меднки дружно и весело идут в самый огонь навстречу грозиой гостье. Столько силы чуется, столько молодостн и отваги. Хорошо становнтся на душе... Завтра я уезжаю в Пожарск.

4 июля

Я в Пожарске. Приехал я иа лошадях вместе с Наташею, которой нужно сделать в городе какне-то покупки. Мы остановнлись у Нниколая Ивановнча Ликонского, отца Веры и Лиды. Он врач н нмеет в го-

роде обширную практику. Теперь, летом, он живет совсем один в своем большом доме; жена его с младшими детьми гостит тоже где-то в деревне. Николай Иванович — славный старик с интеллигентным лицом и до сих пор интересуется наукой; каждую свободную минуту он проводит в своей лаборатории.

Приехали мы вечером, к ужину. Я расспрашивал Николая Ивановича о холере. Она серпом окружила нашу губернию, и кое-где были уже единичные случаи заболевания. В самом Пожарске во врачах не нуждаются, но в уездах недостаток; в уездном городе Слесарске не могут найти врача для зареченской стороны, Чемеровки, заселенной мастеровщиной. Завтра пошлю туда заявление.

5 июля. Воскресенье

На заборах и фонарных столбах расклеены объявления, приглашающие жителей города Пожарска принять участие в имеющем произойти сегодня в соборе «молебствии об избавлении от болезни, называемой холерой, за коим последует торжественный крестный хо́д по всему городу». Я был на молебне. На улицах словно все вымерло; огромная соборная площадь была покрыта несметной толпой; пробраться в самый собор нечего было и думать. Ласточки со звоном кружили вокруг колоколен; солнце играло на золоте прислоненных к стенам хоругвей; из церкви чуть слышно доносилось пение. Я стоял и смотрел на толпу. Может быть, вот эта бледная красивая девушка, так благоговейно-гордо держащая образ тихвинской божьей матери, этот маленький человечек с курчавою головою и в пиджаке, этот нищий, — всех их через неделю свалит холера.

Кругом говорили о недавней смерти местного архиерея, о том, по каким улицам пойдет ход; о самом предмете молебна — ни слова; разве только какой-нибудь веселый мастеровой подмигнет соседу на проходящую дряхлую старушонку с трясущеюся головою и сострит:

— Собрались холеру отмаливать, а холера вон она идет!

Слоняясь в толпе, я столкнулся с Виктором Сергеевичем Гастевым. Он служит акцизным в Слесар-

ске и приехал в Пожарск на какой-то акцизный съезд. Разговорились. Я ему сообщил, что послал заявление к ним в Слесарск.

Он вытаращил на меня глаза.

— В Слесарск? Ну, батенька, посылайте телеграмму, что отказываетесь.

— С какой стати?

— Да не слыхали вы, что ли, что такое мастеровщина наша зареченская? Укокошат вас там через три дня, и, оглядеться не дадут.

— Разве так народ возбужден?

Виктор Сергеевич вскинул плечами и молча стал закуривать сигару. Потом, таинственно подняв брови, наклонился ко мне и зашептал:

— Туда бы, батенька, теперь полк солдат впору поставить, да на руки им боевые патроны раздать, чтоб каждую минуту были готовы к делу. А у нас ведь знаете, как делается: пока гром не грянет, никто не перекрестится; а там и пойдут телеграммами губернатора бомбардировать: «Войска давайте!» И холеры-то пока, слава богу, у нас нет никакой, а посмотрите, какие уже слухи ходят: пьяных, говорят, таскают в больницы и там заливают известкой, колодцы в городе все отравлены, и доктора только один чистый оставили — для себя; многие уже своими глазами видели, как здоровых людей среди бела дня захватывали крючьями и увозили в больницу... Они и не скрывают ничего, прямо говорят: если у нас холера объявится, мы всех докторов перебьем. Шутки, батюшка мой, плохие! Да чего ж вам лучше? Из местных врачей в Чемеровку никто не хочет идти.

На паперти показались священники в золотых ризах; пение вдруг стало громче. Народ заволновался и закрестился, над головами заколыхались хоругви. Облезлая собачонка, отчаянно визжа, промчалась на трех ногах среди толпы; всякий, мимо которого она бежала, считал долгом пихнуть ее сапогом; собачонка катилась в сторону, поднималась и с визгом мчалась дальше. Ход потянулся к кремлевским воротам.

— Ну, пойдем и мы следом! — сказал Виктор Сергеевич. — А как у вас там все в деревне поживают? Через недельку поеду в отпуск в Смоленск, заеду к вам крестницу свою проведать. (Он крестный отец Сони.)

Прощаясь, Виктор Сергеевнч еще раз иастоятельно посоветовал мие заблаговремеиио взять свое заявленне назад.

6 июля

Я воротился в Касаткино, так как, может быть, прндется ждать больше иедели.

Вчера вечером перед отъездом из Пожарска мы пнлн у Николая Иваиовича чай. Наташа разлнвала. Нниолай Ивановнч рассказывал мне о своих нсследованиях над вопросом об обмене веществ у подагриков. Вошла горничная н доложнла ему, что его хочет видеть «один человек».

— Чего ему? Скажи, чтоб сюда вошел! — сказал Нниолай Иванович.

В дверях залы показался высокнй человек в мещанском пнджачке и стоптаниых сапогах. Ои поклонился и смиреиио остаиовился у порога.

— Чего тебе, братец? — спросил Николай Иванович.

— Вот карточка вам от Владнмира Владнмировича.

Николай Иваиович пробежал несколько строк, иапнсанных на оборотиой стороне визнтной карточки, слегка покрасиел и иахмурнлся.

— Ах, вниоват! Очеиь приятио познакомнться! — И он протянул вошедшему руку. — Пожалуйста, садитесь! Не хотите ли чаю? Господии Гаврнлов! — отрекомендовал он его нам.

На тоиких губах вошедшего мелькнула чуть заметная усмешка. Он поклоннлся и так же смиренно сел к столу на кончнк стула. Это был худощавый человек лет трндцати пяти, с жидеиькой бородкой н острнжеиный в скобку; выглядел он мелким торгашом-красиорядцем илн прасолом, но лоб у иего был интеллигеитный.

Николай Иваиович еще раз прочел карточку и спроснл:

— Вы чего же, собствеиио, хотите?

— В этом году, как вы изволите зиать, — начал Гаврилов с тою же чуть заметиою усмешкою, — Россию посетил голод, какого давио уже не бывало. Народ питается глиной н соломою, сотиями мрет от цинги и голодиого тифа. Общество, живущее трудом это-

го народа, показало, как вам известно, свою полную нравственную несостоятельность. Даже при этом всенародном бедствии оно не сумело возвыситься до идеи, не сумело слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату. Оно отделывалось пустяками, чтоб только усыпить свою совесть: танцевало в пользу умирающих, объедалось в пользу голодных, жертвовало каких-нибудь полпроцента с жалованья. Да и эти крохи оно давало народу, как подачку, и только развращало его, потому что всякая милостыня есть разврат. В настоящее время народ еще не оправился от беды, во многих губерниях вторичный неурожай, а идет новая, еще худшая беда — холера...

Николай Иванович слушал, забрав в горсть свою длинную седую бороду, и смотрел в окно.

— Общество, разумеется, по-прежнему остается достойным себя, — продолжал Гаврилов. — В этой новой беде, которая грозит уже и ему самому, оно забыло обо всем и бежит спасаться, куда попало. В народе остались только медики, а этого слишком мало. Народ нуждается в материальной помощи, а еще больше в духовной. Ни того, ни другого нет.

Николай Иванович положил голову на руку и стал смотреть на кончик своего сапога.

— Общество должно наконец прийти в себя. Оно всем обязано народу и ничего не отдает ему. «Другие трудились, а вы вошли в труд их», — говорит Иисус...

— Извините, пожалуйста, — прервал его Николай Иванович. — Я вот все слушаю вас... и мне все-таки неясно, чего вы, собственно, от меня желаете?

— Я обратился к вам потому, что мне Владимир Владимирович сказал, что вы хороший человек. В настоящее время на таких только людей и надежда.

— Вы хотите, чтоб я... пожертвовал в пользу голодающих? — медленно спросил Николай Иванович, подняв брови.

— Нам нужны ваше сердце, ваш ум, — сказал Гаврилов, чуть улыбнувшись на небрежный вопрос Николая Ивановича. — Деньги — это последнее; *только* деньги нам не нужны. И, во всяком случае, я пришел просить у вас не денег.

— А чего же-с?

— Вашего нравственного содействия, активной работы в пользу несчастных.

— Вот как!.. Однако работа-то работой, а ведь, согласитесь, — прежде всего для этого все-таки нужны деньги.

— Миром управляют идеи, а не деньги. *Прежде всего* нужна любовь.

— Ну, а после нее — деньги? Ведь за хлеб купцу нужно заплатить деньгами, а не любовью.

— За деньгами дело не станет, их всегда легко собрать. То и горе у нас, что от всякого дела люди откупаются деньгами.

— Вы думаете? Ну, так я вам вот что скажу: у меня тут три четверти города знакомых, а я много собрать не возьмусь.

Гаврилов пожал плечами.

— Странно! Я здесь никого не знаю, всего только три дня назад приехал, а берусь вам собрать в месяц пятьсот рублей.

— Ну, исполать вам!..—засмеялся Николай Иванович. — Я расскажу вам один случай. Был у нас тут в городе студент-юрист; кончает курс, а средств никаких; выгоняют за невзнос платы. Ну, вот я и вздумал устроить сбор. Заезжаю, между прочим, в одну богатую купеческую семью, в которой состою врачом около пятнадцати лет. Барышни сидят — в брильянтах, в кружевах. Говорю им. Они поморщились. «Посмотрим, говорят, может быть, что-нибудь найдем». Я к брату их: «Там с ними не сговоришься; вы, Платон Степаныч, энергичный человек — возьмитесь за дело как следует, ведь сами понимаете, нужно помочь!» И знаете, какой из этого вышел результат?

— Какой же вышел результат?

— Ну, как вы думаете?

— Ну-с?

— С тех пор меня перестали приглашать в этот дом! — отрезал Николай Иванович и стал закуривать папиросу.

Гаврилов внимательно посмотрел на него.

— Зачем вы лечите таких? — спросил он, чуть дрогнув бровью.

Николай Иванович запнулся от неожиданности вопроса и пожал плечами.

— Странное дело! Врач обязан лечить всякого.

Гаврилов продолжал лукаво смотреть на него и беззвучно смеялся.

— Какого же рода «активной работы» желаете вы от меня? — спросил Николай Иванович, нахмурившись. — Прикажете идти в деревню, в народ?

— Народ не только в деревне, а и в городе, везде, — и везде он нуждается в помощи. Нужно только одно: чтоб не господа благодетельствовали мужичью, а братья помогали братьям. Когда погорелец приходит к мужику, мужик сажает его за стол, кормит обедом и дает копейку, — погорелец знает, что он — товарищ, потерпевший несчастие. Когда погорелец приходит к барину, барин высылает ему через горничную пятачок, — погорелец — нищий и получает милостыню. А милостыня есть худший из всех развратов, потому что она одинаково деморализует и дающего и берущего. Господа съезжаются с разных концов города и с увлечением спорят о шансах Гладстона на избирательную победу или об исполнимости проектов Генри Джорджа; а тут же в подвале идет не менее ожесточенный спор о том, какая божья матерь добрее — ахтырская или казанская, и на скольких китах стоит земля. Это — два различных мира, не имеющих между собою ничего общего...

Николай Иванович нетерпеливо закачал ногою. Гаврилов со смиренною улыбкою спросил:

— Извините, может быть, я вам наскучил?

— Нет, что же-с? Сделайте одолжение. Но только... Я вот все время очень внимательно слушаю вас и все-таки никак не могу понять, что же я... обязан делать.

— Ближе стать к братьям, больше ничего; помогать им, а не благодетельствовать, не беречь для себя знаний, которые должны быть достоянием всех...

— Да-с? — выжидательно сказал Николай Иванович.

— Приближается холера. Народ голодает, — это лучшая почва для нее; народ невежествен, — и это отнимает у него последние средства защиты. Пора. Пора же сознать, что, когда люди кругом умирают, стыдно роскошествовать. (Гаврилов беглым взглядом оглядел стол с стоявшими на нем закусками.) Я всего три дня здесь, но уж видел прямо ужасающие картины нищеты, — нищеты стыдливой и робкой, боящейся просить. Люди десятками ютятся в зловонных конурах, а мы занимаем по пяти-шести комнат; люди ра-

ды, если раздобудутся к обеду парою картофелин, а мы наедаемся так, что не можем шевельнуться. И если такие люди приходят к нам, мы смотрим на них не со стыдом, а с пренебрежением и не пускаем их дальше передней. Выход только один: сознать, что *нечестный человек* тот, кто не хочет понять этого, братски разделить с обиженными свой дом, стол, все; доказать, что мы действительно хотим помочь, а не убаюкивать только свою совесть.

— Если я вас понял, — проговорил Николай Иванович, сдерживая под усами улыбку, — вы мне предлагаете пригласить к себе в дом три-четыре нищих семьи, поселить их здесь, кормить, поить и обучать... Так?

— Да-с! — ответил Гаврилов, и по губам его снова пробежала чуть заметная усмешка.

Николай Иванович с любопытством смотрел на своего гостя. Наташа, подперев рукою подбородок и нахмурившись, также не спускала глаз с Гаврилова.

— Ну, скажите, господин Гаврилов, — увещевающим тоном заговорил Николай Иванович, — неужели же вам не стыдно говорить такой вздор?

— Почему вы полагаете, что это вздор? — спросил Гаврилов с своею быстрою усмешкою, нисколько не обидевшись.

— Мне бы еще было понятно ваше предложение, если бы дело шло просто о какой-нибудь определенной семье, которой нужна помощь. Но вы, насколько я вас понимаю, видите во всем этом прямо какое-то универсальное средство.

— Если вы один так поступите, то этого, разумеется, будет мало. Но важна идея, пример. Вы — один из наиболее уважаемых людей в городе; ваш почин сначала, может быть, вызовет недоумение, но затем найдет подражателей. Потому и не удается у нас ничего, что все руководствуются лживою, но очень удобною пословицею: «Один в поле не воин».

— Д-да, картина, во всяком случае, довольно умилительная: мы работаем, выбиваясь из сил, втрое больше прежнего, а «братья»-постояльцы бьют себе баклуши на готовых хлебах... Воображаю, какую массу «братьев» мы расплодим по городу!

— Они вовсе не должны бить баклуши, они должны работать. Дайте им работу.

— Где мне ее прикажете взять?

— Работа всегда найдется. Пусть они чистят у вас сад, подметают двор, колют дрова. Они сами будут рады.

Николай Иванович с усмешкою махнул рукою.

— Ну хорошо! Допустим, что все это легко исполнимо, что им найдется работа, что они сами будут рады; допустим, что этим путем мы в состоянии обновить мир. Но что прикажете в таком случае делать всем с собственными семьями? — И он в комическом недоумении развел руками.

— Семьи можно бы в настоящее время и не иметь, — сказал Гаврилов, понизив голос.

Николай Иванович быстро поднял голову и пристально посмотрел на Гаврилова.

— А-а! — расхохотался он, вставая. — Теперь, батенька, я вас узнал. Это — известная Zweikindersystem[1] или, еще лучше, «Крейцерова соната»! Только, батюшка, вы немножко опоздали: уже и в Западной Европе давно доказана вздорность всего этого. Вы — толстовец!

Гаврилов чуть заметно улыбнулся.

— Я не слыхал, чтоб «все это» давно было опровергнуто в Западной Европе, а Zweikindersystem тут ни при чем. Это — старая истина, которая *не может* быть опровергнутой. «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. *И враги человеку — домашние его»*, — сказал Исус...

Николай Иванович резко прервал его:

— Извините, пожалуйста! Я не знаю, что это за Исус, я знаю только Иисуса Христа.

— Виноват! — почтительно ответил Гаврилов. — Я хочу сказать, что в настоящее время, когда все общество построено на крайне ненормальных отношениях, явления, сами по себе нормальные, становятся противоестественными и греховными. На человеке лежит слишком много обязанностей, чтоб он мог позволить себе иметь семью.

Гаврилов стал говорить о ненормальности строя теперешнего общества, о разделении труда и происте-

---

[1] Теория, по которой в семье должно быть не более двух детей *(нем.)*.

кающих отсюда бедствиях, об аристократизме науки и искусства, о церкви, о государстве. Говорил он, подняв голову и блестя глазами, голосом проповедника-фанатика. Николай Иванович слабо зевнул и вынул часы.

— Господа, однако, уж восьмой час! — обратился он к нам. — Нужно велеть подавать лошадей, а то вам придется ехать совсем в темноте.

Гаврилов поднялся с места.

— Я, кажется, слишком долго засиделся, — сказал он со смущенной улыбкой. — Извините меня. Честь имею кланяться. Так на вас, значит, мы рассчитывать не можем?

— Мы? — переспросил Николай Иванович и поднял брови. — У вас что же, партия целая есть?

— Да, «партия» людей, которые думают, что общее благо должно ставить выше личного.

Когда Гаврилов ушел, Николай Иванович облегченно вздохнул.

— Господи боже ты мой! — воскликнул он, оглядывая нас. — Сколько чуши можно наговорить в какие-нибудь короткие полчаса!

Наташа сумрачно взглянула на него и молча наклонилась над чашкой. Мне было неловко: правда, нелепостей было сказано достаточно, но... мне вдруг глубоко антипатичен стал Николай Иванович, и я не думал раньше, чтоб он был таким мещанином.

Подали лошадей. Мы простились и уехали. Город остался назади. Мы долго молчали.

— Да, этот человек по крайней мере знает, чего хочет, и верит в это, — сказал я наконец.

Наташа быстро подняла голову, взглянула на меня и снова начала смотреть на тянувшиеся по сторонам поля.

— И все-таки он лучше всех, которые там были, — процедила она сквозь зубы, с злым, угрюмым выражением на лице.

Всю остальную дорогу мы лишь изредка перекидывались незначащими замечаниями. Наташа упорно смотрела в сторону, и с ее нахмуренного лица не сходило это злое, жесткое выражение. Мне тоже не хотелось говорить. Солнце село, теплый вечер спускался на поля; на горизонте вспыхивали зарницы. Тоскливо было на сердце.

7 июля

Довольно было этой случайной встречи, чтобы все так долго созидаемое душевное спокойствие разлетелось прахом, — и вот я опять не знаю, куда деваться от тоски. Мне вспоминается страстная речь этого человека, вспоминается жадное внимание, с каким его слушала Наташа; я вижу, как карикатурно-убога, убога его программа, и все-таки чувствую себя перед ним таким маленьким и жалким. И передо мною опять встает вопрос: ну, а *я-то, чем же я живу?*

Время идет, — день за днем, год за годом... Что же, так всегда и жить, — жить, боясь заглянуть в себя, боясь прямого ответа на вопрос? Ведь у меня *ничего* нет. К чему мне мое честное и гордое миросозерцание, что оно мне дает? Оно уже давно мертво; это не любимая женщина, с которою я живу одной жизнью, это лишь ее труп; и я страстно обнимаю этот прекрасный труп и не могу, не хочу верить, что он нем и безжизненно-холоден; однако обмануть себя я не в состоянии. Но почему же, почему нет в нем жизни?

Не потому ли, что все мое внутреннее содержание — лишь красивые слова, в которые я сам не верю? Но разве же можно бояться слов больше, чем я боюсь, разве можно больше верить, чем я верю? И я не «лишний человек». Я ненависть чувствую ко всем этим тунеядцам, начиная с темного Чулкатурина [1] и кончая блестящим Плошовским [2], я не могу простить нашей чуткой славянской литературе, что она благоуханными цветами поэзии увенчала людей, заслуживающих лишь сатирического бича. Меня не пугает нужда, не пугает труд; я с радостью пойду на жертву; я работаю упорно, не глядя по сторонам и живя душою только в этом труде. И все-таки... все-таки мне постоянно приходится повторять себе это, и я ношусь со своею чахоткою, как молодой чиновник с первым орденом. Пусто и мертво в сердце; кругом посмотришь, — жизнь молчит, как могила.

---

[1] «Дневник лишнего человека», Тургенева. *(Примеч. В. Вересаева.)*

[2] «Без догмата», Сенкевича. *(Примеч. В. Вересаева.)*

Сегодня после ужина Вера с Лидой играли в четыре руки Пятую симфонию Бетховена. Страшная эта музыка: глубокотоскующие звуки растут, перебивают друг друга и обрываются, рыдая; столько тяжелого отчаяния в них. Я слушал и думал о себе.

Наташа стояла на балконе, облокотясь о решетку, и неподвижно смотрела в темный сад. Да, и ей нелегко... В речах этого Гаврилова на нее пахнуло из другого мира, далекого и светлого, — мира, в котором нет сомнений, в котором все живо и сильно. Но где путь туда? Я смотрел на Наташу, и у меня сжималось сердце: как грустно опущена ее голова, сколько затаенного страдания во всей ее фигуре... Почему так дорога стала мне эта девушка? Мне хотелось подойти к ней и крепко пожать ей руку. Но что я скажу ей, и на что ей мое сожаление? Она его отвергнет.

А звуки по-прежнему горько плакали. Чище и глубже становилось от них горе. И мне казалось: я найду, что сказать...

Я вышел на балкон. Недавно был дождь, во влажном саду стояла тишина, и крепко пахло душистым тополем; меж вершин елей светился заходящий месяц, над ним тянулись темные тучи с серебристыми краями; наверху сквозь белесоватые облака мигали редкие звезды.

— Хочешь, Наташа, на лодке ехать? — спросил я, помолчав.

Наташа очнулась и оглядела меня недоумевающим, отчужденным взглядом.

— Пойдем, — сказала она.

Мы спустились по влажной тропинке к реке.

— Как река прибыла! — тихо сказала Наташа, видимо, чтоб только сказать что-нибудь.

— Да. И посмотри, какая тишина кругом: голосов ночи совсем нет. Это так всегда после дождя.

— А ну! — Наташа остановилась и стала слушать. Потом пошла дальше.

Теперь я видел, что обманулся в себе: я не знал, как начать и о чем говорить.

Мы сели в лодку и отплыли. Месяц скрылся за тучами, стало темней; в лощинке за дубками болезненно и прерывисто закричала цапля, словно ее душили.

Мы долго плыли молча. Наташа сидела, по-прежнему опустив голову. Из-за темных деревьев показался фасад дома; окна были ярко освещены, и торжествующая музыка разливалась над молчаливым садом; это была последняя, заключительная часть симфонии, — победа верящей в себя жизни над смертью, торжество правды и красоты и счастья бесконечного.

Наташа вдруг подняла голову.

— Митя! Помнишь, мы раз с тобою шли по саду, я тебя спрашивала, что мне делать? Ты говорил тогда про сельскую учительницу. Скажи мне правду: ты верил в то, что говорил?

Я несколько времени молчал; я не ожидал, что она так прямо, ребром, поставит вопрос.

— Что тебе сказать на это? — ответил я наконец. — Верил ли я? Да, Наташа, я верил. Но... Ты хочешь правды. Я видел, как ты смотрела на меня, когда я сюда приехал, видел, что ты чего-то ждала от меня. Меня это очень мучило, но что я мог сделать? Ты от *меня* ожидала разрешения своих вопросов! Голубушка, ты ошиблась. Рассказывать ли тебе, как я прожил эти три года? Я только обманывал себя «делом»; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое; но где оно? Я потерял надежду найти. Боже мой, как это тяжело! Жить — и ничего не видеть впереди; блуждать в темноте, горько упрекать себя за то, что нет у тебя сильного ума, который бы вывел на дорогу, — как будто ты в этом виноват. А между тем идет время...

Есть силы, — боже, гибнут силы!
Есть пламень честный, — гаснет он!

Ты подозреваешь, что я сам не верю... Не верю? Наташа, голубушка, я верю, всею силою души верю, — это ты ошибаешься. Люби ближнего твоего, как самого себя,—нет больше этой заповеди. Если бы ее не было, мне страшно, что бы было со мною. И ты поверишь, что я не фразы говорю. Но тебе нужно другое. Жить для других, работать для других... Все это слишком общо. Ты хочешь идеи, которая бы наполнила всю жизнь, которая бы захватила целиком и упорно вела к определенной цели; ты хочешь, чтоб я вручил тебе знамя и сказал: «Вот тебе знамя, — бо-

рись и умирай за него»... Я больше тебя читал, больше видел жизнь, но со мною то же, что с тобой: я *не знаю!* — в этом вся мука.

Наташа сидела, подперев подбородок рукою, и сумрачно слушала. Как не похожа была она теперь на ту Наташу, которая две недели назад, в этой же лодке с жадным вниманием слушала мои рассказы о службе в земстве! И чего бы я ни дал, чтобы эти глаза взглянули на меня с прежнею ласкою. Но тогда она ждала от меня того, что дает жизнь, а теперь я говорил о смерти, о смерти самой страшной, — смерти духа. И позор мне, что я не остановился, что я продолжал говорить...

Я говорил ей, что я не один такой: что все теперешнее поколение переживает то же, что я; у него *ничего* нет, — в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды, оно гибнет невидно и бесповоротно... Пусть она посмотрит на теперешнюю литературу, — разве это не литература мертвецов, от которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти.

Наташа все время не выронила ни слова. Она взялась за руль и повернула лодку. Назад мы плыли молча. Месяц закатился, черные тучи ползли по небу; было темно и сыро; деревья сада глухо шумели. Мы подплыли к купальне. Я вышел на мостки и стал привязывать цепь лодки к столбу. Наташа неподвижно остановилась на носу.

— Я все-таки думаю, что ты ошибаешься, — тихо сказала она, глядя вдоль реки, тускло сверкавшей в темноте. — Неужели правда, необходимо быть таким рабом времени? Мне кажется, что ты перенес на всех то, что сам переживаешь.

Я с усмешкой пожал плечом.

— Дай бог!

Я вышел на берег. Наташа по-прежнему неподвижно стояла в лодке.

— Ты еще не пойдешь домой?

— Нет, — коротко ответила она.

Я стал подниматься по крутой, скользкой тропинке. Когда я был уже в саду, я услышал внизу, по реке, ровный стук весел: Наташа снова поехала на лодке.

И вот уже час прошел, а я все сижу у стола, — без мыслей, без движения, в голове пустота. На дворе идет дождь, черный сад шумит от ветра, тоскливо и однообразно журчит вода в дождевом желобе... Наташа еще не возвращалась.

10 июля

Наташа все эти дни избегает меня. Мы сходимся только за обедом и ужином. Когда наши взгляды встречаются, в ее глазах мелькает жесткое презрение... Бог с нею! Она шла ко мне, страстно прося хлеба, а я — я положил в ее руку камень; что другое могла она ко мне почувствовать, видя, что сам я еще более нищий, чем она?.. И кругом все так тоскливо! Холодный ветер дует не переставая, небо хмуро и своими слезами орошает бессчастных людей.

9 час. вечера

Сейчас нарочный привез мне со станции телеграмму из Слесарска: городская управа уведомляет, что я принят на службу, и просит приехать немедленно. Слава богу! Еду завтра вечером.

11 июля, 12 час. ночи

Я в Слесарске: приехал я всего полчаса назад. Ну и городишко! Гостиниц нет, пришлось остановиться на постоялом дворе. Мне отвели узенькую комнату с одним окном. Синие потрескавшиеся обои; под тусклым зеркальцем — стол, покрытый грязной скатертью с розовыми разводами; щели деревянной кровати усеяны очень подозрительными пятнышками. Кругом все глубоко спит, пальмовая свеча слабо освещает стены; потухающий самовар тянет тонкую-тонкую нотку; замолкнет на минутку, словно прислушиваясь, поворчит — и опять принимается тянуть свою нотку. Спать еще не хочется; буду вспоминать сегодняшний день.

К обеду приехал в Касаткино Виктор Сергеевич Гастев. Я укладывался у себя наверху и сошел вниз, когда все уже сидели за столом.

— А-а, доктор! Здравствуйте! — встретил меня Виктор Сергеевич, высоко поднял руку и мягко опустил ее мне в ладонь. — Все ли в добром здоровье?

— Вот, Виктор Сергеевич, — сказал дядя с тем юмористическим выражением на лице, которое у него всегда является при гостях, — сей молодой человек, не желая спасать от холеры нас, уезжает на войну с холерными запятыми в ваш Слесарск.

Виктор Сергеевич поднял брови.

— Вы таки едете в Слесарск?! — недоверчиво спросил он.

— Разумеется, — ответил я, невольно улыбнувшись.

Он взял стоявшую перед ним рюмку с водкой и взглянул в нее на свет.

— А вы что же, Виктор Сергеевич, разве не сочувствуете сему геройскому подвигу? — спросил дядя тем же тоном.

Виктор Сергеевич опрокинул рюмку в рот и закусил селедкой.

— Отчего не сочувствовать? — равнодушно произнес он, вытирая салфеткой усы. — Убьют его там через неделю, — ну, так ведь это пустяки: он человек одинокий.

Тетя замахала руками.

— Да ну, Виктор Сергеевич! Типун вам на язык! Что это такое — «убьют»!

— Да очень просто! Вы не знаете, что такое наша слесарская мастеровщина, а я знаю хорошо. Вы вот раньше спросите-ка, что это за народ.

Он заткнул себе салфетку за жилет и принялся за борщ.

— Что же это за народ, Виктор Сергеевич? — спросила Соня.

Наташа, подняв голову, с ожиданием смотрела на него.

— Да вот, душенька, какой народ. Недели две назад позвали за реку доктора Чубарова к старухе одной; оказалась дизентерия. Он прописал ей лекарство, а кроме того — карболки, чтобы вылить в отхожее место. Старушка-то святая и рассуди: зачем «лекарствие» в такое место выливать? Да стаканчик раствору и хватила. Ну, к вечеру, разумеется, и лежала под образами. Назавтра приезжает доктор, собрался народ, окружил его и начал расправу: били его, били — насилу полиция отняла. И теперь еще больной лежит. Розыски пошли, расследования... Четверых арестовали.

— О боже ты мой! — в ужасе воскликнула тетя.—

Ну, слава богу еще, что этого так не оставили: все-таки на них теперь страх будет.

— Страх? — расхохотался Виктор Сергеевич.—Да, да-а... Через два дня после этого вдруг в чистом поле загорелся барак; весь сгорел, до последней щепочки. Теперь уже новый строят, кончают. Опять полиция нагрянула, опять аресты, розыски... Народ возбужден и озлоблен до крайности. И не скрывает никто, прямо говорят: пусть к нам доктора пришлют, мы с ним разделаемся. А слухи, слухи идут, — один другого нелепее. Недавно рассказывает мне горничная: доктора с полицией вломились к одному сапожнику, у которого болела голова; самого его уволокли в больницу, а инструменты его, товар,— все пожгли; теперь сапожника выпустили, но он совершенно разорен и стал нищим... Торговки на базаре громко рассказывают: дескать, выписывают к нам трех докторов, чтоб народ травить. Вчера еще приходит ко мне моя прачка, плачет. «Горе, говорит, мне, барин, с сыновьями моими! Пришли они намедни с фабрики, рассказывают: ребята сговорились, — если докторов в Заречье пришлют, всех их разнести. Мы, говорят, тоже пойдем. Никаких моих уговоров не слушают, погубят свои головы...» Ведь это уж сознательный заговор! — закончил Виктор Сергеевич, значительно мигнув бровями, и снова принялся за борщ. — И ведь говорил я все это Дмитрию Васильевичу, предупреждал его в Пожарске, — нет! Пришла охота на нож лезть!

Наташа быстро и пристально взглянула на меня; встретившись с моим взглядом, она отвела глаза в сторону, но я успел в них прочесть что-то странное: Наташа словно была удивлена тем, что я, посылая заявление из Пожарска, уже знал обо всем этом.

— Не так это, Виктор Сергеевич, страшно, как издали кажется, — неохотно заметил я.

— Да? — рассмеялся он. — А читали вы, что в Астрахани и Саратове делается?

— Нет. А что такое? (Последние газеты были только что привезены со станции, и я их еще не просматривал.)

Виктор Сергеевич стал рассказывать о разразившихся на Поволжье беспорядках, где толпа, обезумев от горя и ужаса, разбивала больницы и в клочки терзала людей, шедших к ней на помощь.

— Ну вот видите! — закончил он.— Если там такие вещи происходят, то у нас и подавно произойдут, за это я вам ручаюсь. Помочь вы все равно ничего не поможете,— никто к вам и не обратится,— а погибнете совершенно напрасно. Пользы от этого никому ведь не будет, не так ли?.. Ну во-от. — И он добродушно захохотал.

— Да нет, Митечка, это ты, правда, в таком случае лучше не поезжай! — взволнованно сказала тетя.

Наташа встрепенулась.

— Ну, мама!..

— Да как же, душечка! Ведь они и в самом деле убьют его там: он даже и пользы никакой не принесет... А ну их совсем, не нужно и жалованья их в полтораста рублей!

— Да уж поздно теперь, тетя! — засмеялся я.— Не отказываться же, раз поступил!

Разговор перешел на другое.

После обеда подали кофе. На дворе уж запрягали тарантас. Мне было как-то особенно весело, и я с любовью приглядывался к окружавшим лицам. Завязался общий разговор; шутили, смеялись. Я вступил с Верою в яростный спор о Шопене, в котором, как и вообще в музыке, ничего не понимаю, но который действительно возбуждает во мне безотчетную антипатию. Я любовался Верою, как она волновалась и в ужасе всплескивала руками, когда я называл классика Шопена «салонным композитором».

Наташа все время молчала; мы с нею не перемолвились ни словом. Но иногда, случайно обернувшись, я ловил на себе ее взгляд, быстрый и пристальный,— и у меня в душе все начинало смеяться.

Лошадей подали. Все вышли провожать меня на крыльцо. Пошло прощание. Тетя три раза перекрестила меня и, обнимая, тихо всхлипнула.

После всех я подошел к Наташе. Она растерялась и робко подняла на меня глаза, — детски-восторженные, любящие... Я обнял ее. Наташа вдруг охватила мою шею руками и крепко, горячо поцеловала меня. А всегда она целует неохотно и отрывисто, словно кусает.

Я ехал в вагоне, высунувшись из окна, смотрел, как по ночному небу тянулись тучи, как на горизонте вспыхивали зарницы, и улыбался в темноту.

3 часа ночи

Лег было спать, но заснуть не удалось. Тысячи голодных клопов так и облепили тело. Проворочался два часа. Все равно не заснешь. Светает, в окно видна широкая, пустынная улица; маленькие домики спят беспробудно...

Я хочу искренне ответить себе на вопрос: боюсь ли я? Нет, и мне это очень странно. Раньше я не представлял себе, как можно жить окруженным всеобщею ненавистью; когда я видел раненых и изувеченных, мне порою приходила в голову мысль: неужели и со *мною* может когда-нибудь случиться подобное? Теперь же я представляю себе все это очень ясно — и только улыбаюсь. Как будто я теперь совсем другим стал. На душе светло и бодро, кругом все так необычно хорошо, хочется борьбы и дела.

Вот оно, — в холодном утреннем тумане тянется Заречье... Покорю ли я его, или оно меня раздавит?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

15 июля

Я уже три дня в Чемеровке. Вот оно, это грозное Заречье!.. Через горки и овраги бегут улицы, заросшие веселой муравкой. Сады без конца. В тени кленов и лозин ютятся вросшие в землю трехоконные домики, крытые почернелым тесом. Днем на улицах тишина мертвая, солнце жжет; из раскрытых окон доносится стук токарных станков и лязг стали; под заборами босые ребята играют в лодыжки. Изредка пробредет к реке, с простынею на плече, отставной чиновник или семинарист.

К вечеру улицы оживляются. Кустари заканчивают работы, с фабрик возвращается народ. Поужинав, все высыпают за ворота. Вдали, окутанный синим туманом, глухо шумит город; под лучами заходящего солнца белеют колокольни, блестят кресты церквей. Сумерки сгущаются. Я люблю в это время бродить по Чемеровке. У покосившихся ворот, под нависшею ивою, стоит девушка и, кутаясь в платок, слушает го-

ворящего ей что-то мастерового; мне нравится ее открытая русая головка, нравится счастливый, смеющийся взгляд исподлобья, который она порою бросает на собеседника. Где-то мычит корова, из чащи сада несется заунывная песня... Гасиет заря, яркие звезды зажигаются в небе; темно на улицах, но в темноте чувствуется жизнь, слышен говор, сдержанный женский смех... К одиннадцати часам все смолкает; ни огонька во всем Заречье, везде спят, и только собаки бесшумно снуют по пустынным улицам.

Я нанял квартиру на конце Заречья у мещанина, содержащего фруктовый сад; весь домик в три комнаты я занимаю один. Крыльцо и окна приемной выходят на улицу, из спальни виден сад с яблонями и длинными рядами кустов черной смородины, крыжовника, барбариса.

Барак стоит за городом, на лугу, рядом с обугленными развалинами прежнего барака. В нем уютно и весело, пахнет свежим деревом. При бараке — фельдшер хохол Харлампий Алексеевич Прищепенко. Говорит он медленно и почтительно, высоко поднимая брови и припечатывая каждую фразу словом «да!». Расспрашивал я фельдшера о настроении зареченцев, о пожаре барака; он рассказывал обо всем обстоятельно и спокойно, как о чем-то вполне обычном; потом перешел к тому, что нужно бы сделать кое-какие закупки для барака... Признаться, совестно мне стало за мое повышенное настроение духа.

Все бы хорошо в бараке, но низший персонал!.. Интересно, откуда к нам набрали таких. Один служитель, Павел, — маленький человек с мутными, блудливыми глазами, которыми никогда не смотрит в лицо; одет он в пиджак и штаны навыпуск; по всему видно,— прощелыга, прельстившийся высокой платой. Сегодня под моим руководством он приготовлял сернокарболовый раствор. Когда я сказал ему, чтоб он поосторожнее обращался с серной кислотой, — на руку попадет, так всю руку разъест, — в глазах Павла мелькнуло что-то, что трудно описать; но я голову даю на отсечение, что поступил он к нам в барак, как поступил бы... в шайку разбойников. Другой служитель, Федор,— неповоротливый деревенский парень с сонным и глуповатым лицом. И вот весь наш, с позволения сказать, «санитарный отряд».

17 июля

Я уже несколько дней назад вывесил на дверях объявление о бесплатном приеме больных; до сих пор, однако, у меня был только один старик эмфизематик да две женщины приносили своих грудных детей с летним поносом. Но в Чемеровке уже знают меня в лицо и знают, что я доктор. Когда я иду по улице, заречинцы провожают меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мне теперь каждый раз стоит борьбы выйти из дому; как сквозь строй, идешь под этими взглядами, не поднимая глаз.

18 июля

Все вокруг как будто спокойно, но что-то зловещее носится в воздухе, нервы напряжены. Через фельдшера, через кухарку, отовсюду до меня доходят странные слухи: меня будто видели ночью у молчановского колодца, видели, что я сыпал в него какой-то порошок; молотобойцы из кузницы погнались за мною, но я перепрыгнул через забор в баташовский сад и скрылся. Другие видели, как ночью провезли в барак целый обоз гробов и крючьев. Собираются будто вторично поджечь барак, перебить полицию и медицинский персонал. Я стараюсь уверить себя, что не боюсь, но при каждой пьяной песне на улице, при каждом стуке сердце неприятно вздрагивает.

19 июля. Воскресенье

Сегодня вечером я получил по почте безграмотное письмо. Анонимный доброжелатель предварял меня, что этою ночью «ребята» собираются разгромить мою квартиру. Когда я читал письмо, за мною прислали от покровского священника, с дочерью которого случился припадок. Возвращался я домой по Ключарной улице. Было темно; тучи низко нависли над городом; накрапывал дождь. Дверь кабака раскрылась, тусклая полоса света легла на дорогу и отразилась в луже. Две тени неслышно перешли улицу и скрылись около пустыря. Мне приходилось идти мимо. Оборванный, босой мужчина в широких штанах, прятался в углублении калитки, молча и внимательно следя за мною взглядом; я невольно выпрямился и, проходя, сжал в

руке палку. Сзади опять появились две тени; до меня донеслось слово «доктор». Я свернул на Мотякинскую улицу, потом на Серебрянку. Тени следовали за мною по ту сторону улицы, прячась у заборов.

Воротился я домой. Перепуганная кухарка сообщила, что сейчас приходила кучка пьяных чемеровцев и спрашивали меня. Ее уверениям, что меня нет дома, они не поверили и начали ломиться в дверь. Прохожий сказал им, что только что видел меня у церкви Николы-на-Ржавцах. Они все двинулись туда по Ямской улице.

— Вы бы, барин, до завтраго уехали бы в город, — посоветовала кухарка. — Долго ли до греха? Народ пьяный, в голове бог знает что...

— Эх, Авдотьюшка, не так все это страшно! — засмеялся я, потрепав ее по плечу. — Что они мне сделают? И здесь переночуем, не велика беда.

Уехать в город... Не захватить ли мне с собою кстати и фельдшера с служителями, чтобы в случае заболевания никого из нас не могли найти?

Авдотья улеглась спать. Мне не спится, и я сижу за письменным столом.

Что скрываться перед собою? Мне тяжело и страшно. Страшно этой темноты, страшно того, что нельзя защищаться. Когда я подумаю: вот сейчас ворвутся сюда эти люди, — безумный ужас овладевает мною, и я не могу примириться с мыслью: да как это возможно?! За что?

Дождь тихо капает по листьям, в темном саду слышатся смутные шорохи. И я тут один...

21 июля

Я лег вчера спать в первом часу ночи. Только что задремал, как в комнату раздался стук. Авдотья просунула голову в дверь и доложила, что пришел фельдшер. У меня в предчувствии екнуло сердце; я велел позвать его и зажег свечу.

В комнату медленно и неслышно вошел Харлампий Алексеевич, бледный, с широко раскрытыми глазами. Гробовым голосом он объявил:

— Дмитрий Васильевич, у нас в Заречье холера!

— Да ну?

— Настоящая: с рвотой, с судорогами... На Ключарной улице. Слесарь Черкасов.

— Что, вы сами видели? Были вы уж там?

— Был-с. За мною в барак присылали. Я велел воду греть и вот к вам пришел.

Я стал торопливо одеваться. По груди и спине бегала мелкая, частая дрожь, во рту было сухо; я выпил воды. «Нужно бы поесть чего-нибудь, — мелькнула у меня мысль.—На тощий желудок нельзя выходить... Впрочем, нет: я всего полтора часа назад ужинал». Я оделся и суетливо стал пристегивать к жилетке цепочку часов. Харлампий Алексеевич стоял, подняв брови и неподвижно уставясь глазами в одну точку. Взглянул я на его растерянное лицо, — мне стало смешно, и я сразу овладел собою.

— Ну, вот и практика у нас с вами появилась!— сказал я с улыбкой.— Вы все захватили, что нужно?

Мы вышли на улицу. Передо мною, отлого спускаясь к реке, широко раскинулось Заречье; в двух-трех местах мерцали огоньки, вдали лаяли собаки. Все спало тихо и безмятежно, а в темноте вставал над городом призрак грозной гостьи...

На Ключарной улице мы вошли в убогий, покосившийся домик. В комнате тускло горела керосинка. Молодая женщина с красивым, испуганным лицом, держа на руках ребенка, подкладывала у печки щепки под таганок, на котором кипел большой жестяной чайник. В углу, за печкой, лежал на дощатой кровати крепкий мужчина лет тридцати, — бледный, с полузакрытыми глазами; закинув руки под голову, он слабо стонал.

— Добрый вечер! — сказал я, снимая пальто.

— Здравствуйте! — ответила молодая женщина, взглянув на меня, и сейчас же снова повернулась к печке.

Я подошел к больному и пощупал пульс. Рука была холодная, но пульс прекрасный и полный.

— Давно его схватило? — спросил я молодую женщину.

— После обеда сегодня, — ответила она, не глядя на меня. — Пришел с работы, пообедал, через час и схватило.

Говорила она неохотно, словно старалась отвязаться от тех пустяков, с которыми я к ней приставал. И вообще держалась она со мною так, как будто я был случайно зашедший с улицы человек, только мешавший ей в ее важном деле.

— Ну что, Черкасов, как себя чувствуете? — спросил я больного.

— Нутро жжет, ваше благородие, мочи нет; тошно на сердце.

— Хотите воды со льдом?

Фельдшер подал ему ковш. Он припал губами к краю, жадно глотая воду.

— С чего это случилось с вами? — спросил я. — Не поели ли вы сегодня тяжелого?

Черкасов снова лег на спину.

— С молока это, ваше благородие: пришел я с работы уставши, поел щей, а потом сейчас две чашки молока выпил.

Он замолчал и закрыл глаза. Фельдшер готовил горчичник. Я вынул из кармана порошок каломеля.

— Ну, Черкасов, примите порошок! — сказал я.

Его жена быстро подошла ко мне и остановилась, следя за каждым моим движением. Черкасов решительно ответил:

— Нет, ваше благородие, это вы оставьте: не стану я порошков принимать!

Я сдерживал улыбку.

— Вы думаете, я вас отравить хочу? Ну, вот вам два порошка, выбирайте один; другой я сам приму.

Черкасов поколебался, однако взял порошок; другой я высыпал себе в рот. Жена Черкасова, нахмурив брови, продолжала пристально следить за мною. Вдруг Черкасов дернулся, быстро поднялся на постели, и рвота широкою струею хлынула на земляной пол. Я еле успел отскочить. Черкасов, свесив голову с кровати, тяжело стонал в рвотных потугах. Я подал ему воды. Он выпил и снова лег.

— Ну, Черкасов, примите же порошок!

— А ну, выпейте-ка допрежь того воды вашей, — проговорила жена Черкасова, враждебно глядя на меня.

— Ты, матушка, слишком-то не дури! — строго прикрикнул фельдшер. — С чего это доктор вашу воду пить станет?

— Вода наша, я знаю, а лед-то ваш!

Я улыбнулся и взглянул на фельдшера.

— Ну, что ты с нею станешь делать? Давайте вашу воду.

У меня смутно шевелилась надежда, что воду она

ние даст в чистой посуде. Жена Черкасова взяла ковш, стоявший у постели мужа, и протянула его мне. У меня упало сердце.

«Да ведь отсюда только сейчас холерный пил!» — со страхом подумал я, поднося ковш к губам. Мне ясно помнится этот железный, погнутый край ковша и слабый металлический запах от него. Я сделал несколько глотков и поставил ковш на стол.

Черкасов принял порошок. Фельдшер положил ему на живот горчичник. Стало тихо. Больной лежал, неподвижно вытянувшись. Керосинка, коптя и мигая, слабо освещала комнату. Молодая женщина укачивала плакавшего ребенка.

— Вы скажите, Черкасов, когда горчичник станет жечь, — сказал я.

— Ничего, ваше благородие, оно жжет, только приятно, — тихо ответил он.

Я сидел на табуретке, свесив голову. Теперь у меня в желудке тысячи холерных бацилл; есть там еще соляная кислота или нет? В животе слабо бурчало и переливалось.

— Опять ревматизм появился в ногах! — быстро проговорил Черкасов, начиная ежиться и двигаться на постели. — Аксинья! Три, ради бога!.. Три скорей!

Я пощупал под одеялом его ноги: мускулы икр судорожно сокращались и были тверды, как камень.

— О-ооо!.. О-ооо!.. — протяжно стонал больной, дрожа и вытягиваясь во весь рост. Мы стали оттирать его горячими бутылками и камфарным спиртом.

Судороги постепенно слабели. Черкасов закинул за голову мускулистые руки и лежал с полуоткрытыми глазами, изредка тяжело вздыхая. Павел подавал ему воду, и он жадно пил ее целыми ковшами.

В комнату вошла толстая, немолодая женщина с бойким лицом и черными бровями.

— Здравствуйте, господин доктор!.. Ну что, соседушка, как муженек?

— Да лежит вот!

— Говорите-ка вот с ними, господин доктор!.. Ни за что за вами не хотели посылать: пройдет, говорят, и так. А я смотрю, уж кончается человек, на ладан дышит. Что ты, я говорю, Аксиньюшка, али ты своему мужу не жена? Тут только один доктор и может понимать.

— Чем раньше будете за мною посылать, тем лучше, — сказал я. — Ведь это такая болезнь: захватишь в начале, — пустяками отделаешься. А у вас как? «Пройдет» да «пройдет», а как уж плохо дело, так за доктором. После обеда схватило, сейчас бы и послали. Давно бы здоров был.

— Да ведь... миленький! Ну, как же иначе? Вон, говорят, кругом болезнь ходит. Доктора учатся, они понимают. А что пустяки-то разные болтают в народе, так нешто все переслушаешь?

Больной пошевелился на постели.

— Уж больно жжет горчичник, прикажите снять, ваше благородие!

Вскоре опять началась рвота. Больной слабел, глаза его тускнели, судороги чаще сводили ноги и руки, но пульс все время был прекрасный. Мы втроем растирали Черкасова. Соседка ушла. Аксинья сидела в углу и с тупым вниманием глядела на нас.

Светало. Я сполоснул руки сулемою и вышел наружу покурить. На улице было безлюдно; в березах соседнего сада чирикали воробьи. Аксинья тоже вышла.

— Вот что, голубушка, — сказал я, — вы всю эту посуду, из которой пил больной, отставьте в сторонку и не пейте из нее сами, а то заразитесь. И одеяло, и пальто, которым он покрыт, отложите. Нужно будет все это в горячей воде прокипятить.

— Нам что ж? Кипятите.

Аксинья помолчала.

— Ему весть была дана, — проговорила она, глядя вдаль.

— Какая весть?

— Утром вчера шел через мост, его ласточка крылом задела. Пришел к обеду, сказывал.

— Ну, пустяки! Какая там весть! Бог даст, выздоровеет.

Я воротился в комнату. Больной затих и лежал спокойно, закрыв глаза и держа в руках горячую бутылку; иногда только судороги схватывали его ноги, и лицо болезненно перекашивалось.

Бледное утро смотрело в окна. Фельдшер, понурив голову, дремал на табуретке; больной, укутанный тремя одеялами, также задремал. Стало тихо. В низкой комнате было темно и душно, несмотря на открытые

окна; керосинка тускло освещала грязную, промасленную поверхность стола и выступ печи; пахло тараканами и керосином. Я сидел на постели Черкасова и под одеялом водил горячею бутылкою по его ногам. В люльке лежал под кучею красных тряпок грязный, бледный, ребенок, с огромными ушами. Он не спал; подняв безволосые брови, он молча и пристально смотрел на меня, изредка двигая по одеялу, худыми, как спички, ручонками. Я тоже смотрел на него... Для чего любовь этих двух сильных, красивых людей, дающая в результате таких жалких, рахитических уродцев? И для чего вообще они трудятся, что поддерживает их в их тяжелой работе? Неужели забота об этом смрадном угле?

Черкасов начал тихонько всхрапывать. Я велел фельдшеру полить сулемою пол, а сам с Аксиньей и Павлом вышел из комнаты, чтобы дезинфицировать отхожее место. Увы! Его не оказалось, и пришлось полить чуть не весь дворик.

Когда мы воротились, больной по-прежнему тихо спал. Фельдшер, сидя на табуретке, в сонливой задумчивости смотрел в одну точку и клевал носом. Я отпустил его с Павлом домой и остался один. Аксинья прикорнула на сундуке и тоже задремала. Я еще с час просидел на завалинке, куря и любуясь восходом солнца. Черкасов крепко спал. Он был вне опасности. Дезинфекцию приходилось отложить, чтобы дать больному выспаться. Я разбудил Аксинью, еще раз повторил ей, чтоб посуду, белье, одежду она не трогала до нашего прихода, и отправился домой.

В десять часов утра мы явились произвести дезинфекцию. Черкасов, в чистой топорщившейся ситцевой рубахе и блестящих сапогах, стоял у ворот, держа на руках ребенка.

— Вот уж как! — с радостным удивлением воскликнул я. — Вы ли это, Черкасов? Ну, молодец!.. Здравствуйте.

— Здравствуйте, ваше благородие!

— Как вы себя чувствуете?

— Да как есть здоров. Спасибо, ваше благородие, что отходили. А намедни так уж и думал, что помирать пора пришла.

— Ну, так вот же что, Черкасов, вы теперь будьте поосторожнее с едою, не ешьте зелени и ничего тяже-

лого. Лучше всего съешьте сегодня яичко всмятку да чаю выпейте с коньяком, я вам дам.

— Слушаю-с! Да вы пожалуйте в горницу.

Я вошел в комнату — и остановился. Боже мой, что я увидел! Земляной пол был подтерт чисто-начисто, посуда, вся перемытая, стояла на полке, а Аксинья, засучив рукава, месила тесто на скамейке, стоявшей вчера у изголовья больного. У меня опустились руки.

— Ну, скажите, пожалуйста, Аксинья, что вы такое сделали? — спросил я, через силу сдерживаясь.

— Что я такое сделала?

— Ведь я же вам сегодня утром несколько раз говорил: не подтирайте пола, отставьте всю посуду в сторону...

— Да что же ей грязной стоять?

— А то вот, что вы теперь по всему дому заразу разнесли! Понимаете вы это?.. Эх!

Я махнул рукою и обратился к Черкасову:

— Ну, вот что, Черкасов: все-таки нужно будет комнату от заразы очистить. Все подушки, одеяло, которым вы вчера покрывались, дайте нам; мы их вам завтра отдадим. И комнату нужно будет хорошенько полить и обрызгать.

Фельдшер взял в руки бутыль с сулемой. Глаза Черкасова враждебно засветились, и он быстро сказал:

— Ну, нет, ваше благородие, это вы велите оставить!

— Вот те раз!.. Да вы знаете ли, Черкасов, что у вас было? Ведь у вас *холера* была, заразительная болезнь; если не полить комнату, так зараза во все стороны поползет, по всему Заречью пойдет.

— Да окончательно сказать, у меня одни пустяки были: поел вчера щей с молоком, только и всего. Нешто это холера?

— Скажите, Черкасов, а вы видали когда-нибудь холеру?

— Н-нет, не видал.

— А я видал, и говорю вам, что это холера. Ведь нельзя же так об одном себе думать! Не убьешь заразы, она пойдет дальше; и соседей всех заразите и жену. Подумайте сами, — ну разве же можно так?

В комнату вошла приходившая ночью соседка Черкасовых и остановилась у дверей.

— Да ни за что не дам поливать! — сказала Аксинья. — Польете карбовкой, вонь пойдет...

— Какая карболка? Сулема это, а не карболка! Понюхайте, — разве есть вонь?

Я протянул ей бутыль. Аксинья понюхала.

— Конечно, есть!

— Ну, да понюхайте же хорошенько! Ведь ничем не пахнет, как вода. Мы же ночью этим самым поливали.

— У меня вон дети и так еле дышат, — сказал Черкасов. — Польете карболкой, все перемрут.

— Да, Иван Андреич, от карбовки вреда нету, — вмешалась соседка. — Вот у меня на всех святых дите умерло от горла; все карбовкой полили, — отлично! Это заразу убивает.

— Э, все это от бога! — сказала Аксинья.—Бог не захочет, ничего не будет.

— От бога?.. Скажите, Аксинья, зачем же вы меня ночью позвали? — спросил я. — Бог-то богом, а я вам говорю: если бы не позвали меня, ваш муж теперь в гробу лежал бы, знаете вы это? Ведь он уж кончался, когда я пришел.

— Кончался, как есть кончался! — подтвердила соседка. — Прихожу я, — уж холодать начал, — и глаза закатил...

— За это я вам по гроб своей жизни благодарен, — сказал Черкасов и поклонился.

— Да что мне от вашей благодарности! Как самому плохо, так доктора поскорее звать, а как дело до других, так сейчас: «Все от бога»... И вам не стыдно, Черкасов? Ведь вы же не в поле живете, кругом люди! Если теперь кто поблизости заболеет, вы знаете, кто будет виноват? Вы один, и больше никто!.. О себе позаботился, а соседи пускай заражаются?

— Да ведь я все только насчет детей, — сказал Черкасов, понизив голос.

— Ну послушайте, Черкасов,—подумайте немножко, хоть что-нибудь-то можете вы сообразить? Я над вами всю ночь сидел, отходил вас, — хочу я вам зла или нет? Что мне за прибыль ваших детей морить? А заразу нужно же убить, ведь вы больны были заразительною болезнью. Я не говорю уж о соседях,—и жена ваша, и дети могут заразиться. Сами тогда ко мне прибежите.

— Ну, ну, Иван, чего ты, в самом деле? — сказал фельдшер. — Словно баба какая, ничего не понимаешь!

Он взял бутылку и стал поливать пол.

— Да не дам я поливать! — крикнула Аксинья и бросилась к нему.

Черкасов стоял, угрюмо и злобно закусив губу.

— Ну, матушка, ты здесь не слишком-то буйтуй! — сказал фельдшер.— А то мы полицию позовем.

— Дело не в полиции, — прервал я его, нахмурившись. — Полиции я звать не стану. Но скажите же, Черкасов, объясните мне, отчего вы не хотите дать полить?

— Так, ваше благородие, нет моего согласу на это.

— Да отчего же?

— Да окончательно сказать, не нужно это. Бог даст, и так все живы будем.

— Вот на пасху у машиниста то же самое было,— сказала Аксинья. — Никакой карбовкой не поливали, все живы остались. А то карбовкой все обрызгаете... Ведь мы как живем? И сами у соседей то-другое занимаем, и им даем. А тогда нешто кто нам даст?

— Эк вам эта карболка далась! Да понюхайте же, господа, разве это пахнет карболкой?

Черкасов махнул рукою.

— Нет, ваше благородие, что разговаривать? не дам я поливать!

— Ну, как хотите. Заставлять я вас не стану. Но помните, Черкасов: если теперь кто поблизости заболеет, *вы* будете виноваты! Прощайте!

Фельдшер удивленно вскинул на меня глазами и покорно последовал за мною.

И вот мой первый дебют. Скверно и тяжело на душе, мучит совесть: произвести дезинфекцию было необходимо, но что же я мог сделать? Оставалось только прибегнуть к полиции; дезинфекцию мы бы произвели, а дальше? Если из *ничего* создалась легенда о сапожнике, разоренном врачами и полицией, то какие слухи пошли бы теперь? Холерные скрывались бы до последней возможности, зараженные ими вещи прятались бы подальше и разносили заразу все шире... И все-таки я знаю, что на Ключарной улице, в том маленьком домике, гнездится очаг заразы, она,

может быть, расползется по всему городу; я, врач, знаю это и ничего не предпринимаю... Боже мой, как все скверно!

23 июля

Амбулатория у меня полна больными. Выздоровление Черкасова, по-видимому, произвело эффект. Зареченцы, как передавала нам кухарка, довольны, что им прислали «настоящего» доктора. С каждым больным я завожу длинный разговор и свожу его к холере, настоятельно советую быть поосторожнее с едою и при малейшем расстройстве желудка обращаться ко мне за помощью.

Холера, по-видимому, водворилась в Заречье: было еще три случая заболевания (подтверждено бактериоскопически). Но начинается она мягко и слабо, не справляясь с книжками, по которым именно вначале она должна быть наиболее жестокой, все трое заболевших уже поправляются. Один из них, сторож грызловского огорода, когда мы явились к нему, сам попросился в барак; это — деревенский парень лет двадцати пяти, звать его Степан Бондарев. Мы ухаживали за ним всю ночь, и теперь он поправляется, хотя еще очень слаб. Разумеется, всем желавшим проведать его я давал свободный доступ в барак, что опять-таки сильно смутило фельдшера. Но благодаря этому зареченцы увидели, что барак нисколько не страшнее обыкновенной больницы. Когда на следующий день «схватило» жестянщика Андрея Снеткова, то мне не стоило большого труда уговорить его лечь в барак. Острый приступ у него прошел, но поносы продолжаются, он сильно исхудал и глядит апатично и вяло.

Оба они лежат рядом. Степан, стройный парень с низким лбом и светлыми усиками, старается разговорами расшевелить неподвижно-задумчивого Андрея. Когда им приносят обедать, Степан, уплетая сам свой бульон или яйцо всмятку, увещевает соседа:

— Чего не ешь? И так вон как отощал, — гляди, помрешь! Не хочется есть, — ешь поверх своей силы-мочи... Чудак человек.

Каждый день к Андрею приходит его брат, низенький человек с редкою бороденкою, с огромным багрово-синим рубцом на щеке. Всхлипывая и утирая рукавом глаза, он сует в руку Андрея гривенник.

— Небось кисленького хочется тебе; купи огурчиков нли чего такого... Эх, Андрюша, Андрюша!

— Чего же ты плачешь? — спрашнвает Степан Бондарев, с любопытством и как-то недоверчиво глядя на иего.

— Да ведь одни у меия брат-то, как же не плакать? Кабы много было... Уж вылечнте его, господин доктор! Вы люди ученые! — обращается ои ко мне и ннзко кланяется.

Андрей лежнт, подперев голову рукою, и с безучастною улыбкою следит за братом...

Вчера я получил письмо от Наташи. Вот оио:

«Митя! Ты зиал, какне ужасы происходят в Заречье, и все-такн отправился туда. Как хорошо, что ты так поступнл! Я этому очень рада. Я знаю, что ты поехал туда не шуткн шутить, я очень хорошо зиаю, чему ты себя подвергаешь, н все-такн я рада. Какая это жизнь, если постоянно заботнться только о своей безопасностн! Пусть будет что будет, ио там ты делаешь дело, настоящее дело. В каком иастроении ты поехал туда? Что тебя там встретнло? Какие твои первые сношеиия с зареченцамн? Как ты себя чувствуешь между нимн? Пиши мне, пожалуйста, Мнтя! Зареченцы эти грубы н дики, как зверн, ио разве они в этом виноваты? Пиши, пожалуйста; пожалуйста, пишн мне! Ведь иетрудно же тебе написать иесколько строк. Буду ждать».

27 июля

Вчера после обеда в барак прнвезлн иового больного. Фельдшер отправился произвестн дезинфекцню в его квартнре и взял с собой Федора. Я остался при больиом. Это был старик громадного роста и плотный, медник-лнтух Иваи Рыков. Его неудержнмо рвало н слабнло, судорогн то н дело схватывали его ногн. Он стонал н метался по постели. Я послал Павла готовнть ванну.

— Дайте мне походить! — слабым голосом сказал больной. — Сводит ногн, мочи нет.

Я хотел помочь ему встать. Рыков своим тяжелым телом оперся на меня и, ие устояв, сиова сел на постель. Он вздохнул и покачал головою.

— Нет, барин, не сдержишь меия один!

Я это и сам видел... Уж и теперь, когда больных было мало, то и дело приходилось ощущать недостаток в людях; а прибудь сейчас в барак хоть двое новых больных, — и мы остались бы совершенно без рук. Я отправился в отделение для выздоравливающих и предложил Степану Бондареву поступить к нам в служители,— он уже поправился и собирался выписываться из больницы. Степан согласился.

Ванна была готова. Я велел посадить в нее стонавшего Рыкова. Судороги прекратились, больной замолк и опустил голову на грудь. Через четверть часа он попросился в постель; его уложили и окутали одеялами.

— О-о, господи-батюшка! — тяжело вздохнул Рыков и прижался головою к краю подушки.

— Ай томно тебе? — с любопытством спросил Степан, словно поверяя на нем пережитые им самим ощущения.

— То-омно!..

— Под сердцем горит?

— Горит, парень, сил нету... Смерть пришла.

Степан уверенно сказал:

— С чего помереть? Не помрешь!

Рыков закрыл глаза и вытянулся. Вскоре его опять стало рвать, потом начались судороги... Степан пощупал под одеялом сведенные икры Рыкова.

— Ишь, словно яблоки! — сказал он про себя.

— Ох, и где же это ветерок?! Душно мне! — с тоскою проговорил Рыков.— Дайте мне походить. Помоги, Степа!

Степан и Павел взяли его под руки и стали водить по комнате. Походив, он снова сел в ванну.

— Воды погорячей! — отрывисто сказал он.

Я велел подлить кипятку.

— Хорошо так?

— Лейте, ради бога!— нетерпеливо произнес Рыков. Сначала покорный и за все благодарный, он становился все капризнее и требовательнее.

— Нельзя ли ванну подлиннее? — сердито ворчал он, ворочаясь и поджимая ноги.

Вечерело. Рыкову становилось хуже. Приехал священник и исповедал его. Рвота и понос не прекращались; больной на глазах спадался и худел; из-под полузакрытых век тускло светились зрачки, лоб был

клейкий и холодный; пульс трудно было нащупать. Меня удивило, как часто Рыков просился в ванну: сидит в ней с полчаса, затем походит по комнате, полежит — и опять в ванну; и все просит воды погорячей. Степан не отходил от него; он изредка переговаривался с Рыковым сиплым, грубоватым голосом, и что-то такое братски-заботливое сквозило в его коротких замечаниях, во всем его обращении.

В час ночи меня сменил выспавшийся тем временем фельдшер. Я сделал нужные распоряжения, сказал, чтоб ванн больному давали, сколько бы он их ни просил, а сам отправился домой.

В пятом часу утра я проснулся, словно меня что толкнуло. Шел мелкий дождь; сквозь окладные тучи слабо брезжил утренний свет. Я оделся и пошел к бараку. Он глянул на меня из сырой дали — намокший, молчаливый. В окнах еще горел свет; у лозинки под большим котлом мигал и дымился потухавший огонь. Я вошел в барак; в нем было тихо и сумрачно; Рыков неподвижно сидел в ванне, низко и бессильно свесив голову; Степан, согнувшись, поддерживал его сзади под мышки.

— Ну как больной? — спросил я.

Степан поднял на меня бледное, усталое лицо, медленно выпрямился и повел плечами.

— Ничего, — коротко ответил он. — Блюет все да воды погорячей просит.

За эти несколько часов Рыков изменился неузнаваемо: лицо осунулось и стало синеватым, глаза глубоко ввалились; орбиты зияли в полумраке большими черными ямами, как в пустом черепе.

— Ну, что, Иван, как? — спросил я.

Рыков чуть повел головою, не поднимая век.

— Говори дюжей, не слышу! — сказал он сиплым, еле слышным голосом.

— Как дела? — громче повторил я.

Больной помолчал.

— Воды погорячей! — пробормотал он и тяжело переворотился в ванне на другой бок. Пульса у него не было.

Я спросил Степана:

— Где же фельдшер?

— Он ушел: его к больному позвали.

— Давно?

— Часа три будет.

— Отчего же он за мною не послал?

— Пожалел: говорит, вы и так мало спали.

Оказывается, вскоре после моего ухода фельдшера позвали к холерному больному; он взял с собою Федора, а при Рыкове оставил Степана и только что было улегшегося спать Павла. Как я мог догадаться из неохотных ответов Степана, Павел сейчас же по уходе фельдшера снова лег спать, а с больным остался один Степан. Сам еле оправившийся, он *три часа* на весу продержал в ванне обессилевшего Рыкова! Уложит больного в постель, подольет в ванну горячей воды, поправит огонь под котлом и опять сажает Рыкова в ванну.

Я пошел и разбудил Павла. Он вскочил, поспешно оправляясь и откашливаясь.

— Кто это вас, Павел, отпустил спать?

— Я сейчас только... гм... гм... на минуту прилег...— Он продолжал откашливаться и избегал моего взгляда

— Послушайте, не врите вы! — повысил я голос.

— Не сутки же целые мне не спать! — проворчал он, скользнув взглядом в угол.

— Человек умирает, а вы его без помощи бросаете! Вы и двое суток должны не спать, если понадобится.

— Это я не согласен.

— Ну, так вы сегодня же получите расчет.

Лицо Павла сразу приняло независимое и холодное выражение. Он поднял голову и, прищурившись, взглянул мне в глаза.

Я прикусил губу.

— А если вы сейчас не пойдете в барак, вы ни копейки не получите из жалованья.

Павел закашлял и снова забегал взглядом по сторонам.

— С чего же не идти-то? — пробормотал он, обдергивая рукава на пиджаке.— Сейчас иду.

Я воротился в барак. Рыков по-прежнему сидел в ванне. Степан пошел подлить воды в котел и передал больного Павлу. Павел, виновато улыбаясь, почтительно взял громадного Рыкова под мышки и стал его поддерживать.

Тяжело и неприятно было на душе: как все неуст-

роенно, неорганизованно! Нужно еще отыскать надежных людей, воспитать их, внушить им правильное понимание своих обязанностей; а дело тем временем идет через пень колоду, положиться не на кого...

Часы шли. Рыков почти не выходил из ванны. Я опасался, чтобы такое продолжительное пребывание в горячей воде не отозвалось на больном неблагоприятно, и несколько раз укладывал его в постель. Но Рыков тотчас же начинал беспокойно метаться и требовал, чтобы его посадили обратно в ванну. Пульс снова появился и постепенно становился все лучше. В одиннадцатом часу больной попросился в постель и заснул; пульс был полный и твердый...

Около четырнадцати часов Рыков, почти не выходя, просидел в ванне, — и я вынес впечатление, что спасла его именно ванна.

29 июля

Не знаю, испытывают ли это другие: все, что мы делаем, все это бесполезно и не нужно, всем этим мы лишь обманываем себя. Какая, например, польза от нашей дезинфекции? Разве не ясно, что она лишь тогда имеет смысл, когда само население глубоко верит в ее пользу? Если же этого нет, то единственный выход — введение какого-то прямо осадного положения: пусть всюду рыскают всевидящие сыщики, пусть царствует донос, пусть дезинфекция вламывается в подозрительные жилища и ставит все вверх дном, пусть грозный ропот недовольства смолкает при виде штыков и казацких нагаек... Да и таким-то путем много ли достигнешь?

И вот приходится играть комедию, в которую сам не веришь. Обрызгивать сулемою место, где лежал больной, отбирать пару кафтанов и одеял, которыми он покрывался. Я знаю, нужно бы всех выселить из зараженного дома, забрать все вещи, основательно продезинфицировать отхожее место и все жилище... Да, но куда выселить, во что одеть выселенных? Главное, как заставить их убедиться в пользе того, что для них делаешь? Как дезинфицировать отхожее место, если его нет и зараза беспрепятственно сеялась по всему двору и под всеми заборами улицы? А между тем видишь, что будь только со стороны жителей желание, — и дело бы шло на лад, и можно бы при-

нести существенную пользу... Тонешь и задыхаешься в массе мелочей, с которыми ты не в состоянии ничего поделать; жаль, что не чувствуешь себя способным сказать: «Э, моя ли в том вина? Я сделал, что мог!» — и спокойно делать «что можешь». Медленно, медленно подвигается вперед все — сознание собственной пользы, доверие ко мне; медленно составляется надежный санитарный отряд, на который можно бы положиться.

1 августа

Эпидемия разгорается. Уж не один заболевший умер. Вчера после обеда меня позвали на дом к слесарю-замочнику Жигалеву. За ним ухаживала вместе с нами его сестра — молодая девушка с большими, прекрасными глазами. К ночи заболела и она сама, а утром оба они уже лежали в гробу. Передо мною, как живое, стоит убитое лицо их старухи матери. Я сказал ей, что нужно произвести дезинфекцию. Она махнула рукою.

— Да что? Вы вот известку льете, льете, а мы все мрем... Лейте, что ж!

3 августа

Весело жить! Работа кипит, все идет гладко, нигде ни зацепки. Мне удалось наконец подобрать отряд желаемого состава, и на этот десяток полуграмотных мастеров и мужиков я могу положиться, как на самого себя; лучших помощников трудно и желать.

Не говорю уже о Степане Бондареве: глядя на него, я часто дивлюсь, откуда в этом ординарнейшем на вид парне столько мягкой, чисто женской заботливости и нежности к больным. Но вот, например, Василий Горлов; это мускулистый молодец с светло-голубыми, разбойничьими глазами; говорят, он бьет свою мать, побоями вогнал в гроб жену. И этот самый Горлов держится со мною, как кроткая овечка, и работает как вол. Он дезинфектор. С каким апломбом является он в жилище холерного, с каким авторитетным и снисходительным видом объясняет родственникам заболевшего суть заразы и дезинфекции! И его презрение к их невежеству действует на них сильнее, чем все мои убеждения.

Андрей Снетков выздоровел и также служит у нас в санитарах. Для женского отделения у меня есть две служительницы; одна из них — соседка Черкасовых, которая в ту ночь заходила к ним проведать больного.

Всем своим санитарам я говорю «вы» и держусь с ними совершенно как с равными. Мы нередко сидим вместе на пороге барака, курим и разговариваем; входя в комнату, я здороваюсь с ними первый. И дисциплина от этого нисколько не колеблется, а нравственная связь становится крепче.

Однажды, в минуту откровенности, Василий Горлов заявил мне:

— Ей-богу, Дмитрий Васильевич, я вас так полюбил! Для вас все равно, что благородный, что простой, — вы со всеми равны. С вами говорить неопасно, не то, что другие, — серьезные такие... Конечно, по учению вы... и опять же таки, например, по дворянству... А все-таки я к вам, как к брату родному... Имейте в виду.

Я чувствую, что с каждым днем становлюсь в их глазах все выше. Работать я заставляю всех много и в требованиях своих беспощаден. И все-таки я убежден, что никто из них не откажется из-за этого от службы, как Павел; чем я горжусь всего более, это тем, что их дело стало для них высоким и благородным, им стыдно было бы взглянуть на него с коммерческой точки зрения.

— Дмитрий Васильевич! — говорит мне Горлов. — А позвольте вас спросить: ведь вот начальство за вами не смотрит, — зачем вы так уж себя утомляете?

— Голубчик мой, да разве это для начальства делается? Ну, судите по самому себе: вы вот пришли к заболевшему, все обрызгали, дезинфицировали; без этого, может быть, и другие бы заболели, а теперь благодаря вам останутся живы. Разве вам это не приятно?

И Горлову начинает казаться, что ему это действительно чрезвычайно приятно.

В Заречье обо мне говорят с любовью и благодарностью. Когда я вспоминаю чувство, с каким в первое по приезде утро смотрел на расстилавшееся передо мною Заречье, мне смешно становится: я скорее двадцать раз умру от холеры, чем хоть волос на моей голове тронет кто-нибудь из чемеровцев.

Да, весело жить! Весело видеть, как вокруг тебя кипит живое дело, как самого тебя это дело захватывает целиком, весело видеть, что недаром тратятся силы, и сознавать, — я не хочу стесняться, — сознавать, что ты не лишний человек и умеешь работать.

4 августа

Все это так: обо мне говорят в Заречье с любовью и благодарностью, меня слушаются... Но могу ли я сказать, что мне доверяют? Если мои советы и исполняются, то все-таки исполняющий глубоко убежден в их полной бесполезности. Он делает одолжение мне лично, потому что я «хороший человек», мои же советы и всю мою «господскую» науку он не ставит ни в грош. Я указываю ему на факты, значения которых он не может не понимать, — факты, ясные десятилетнему ребенку; он принужден согласиться со мною; но согласие остается внешним, оно не в силах ни на волос пошатнуть того глубокого слепого недоверия к нам, которое насквозь проникает душу заречица.

А скажи ему то же самое прохожая богомолка или отставной солдат, — и он с полною верою станет исполнять все ими сказанное, он не станет притворяться фаталистом и говорить: «Бог не захочет, ничего не будет». Вот про бараки ему давно уже наговорили всевозможных ужасов идущие с Волги рабочие, — и он старательно обходит наш барак за сотню сажен.

6 августа

Вчера вечером я воротился домой очень усталый. Предыдущую ночь всю напролет пришлось провести в бараке, днем тоже не удалось отдохнуть: после приема больных нужно было посетить кое-кого на дому, затем наведаться в барак. После обеда позвали на роды. Освободился я только к девяти часам вечера. Поужинал и напился чаю, раздеваюсь, с наслаждением поглядывая на постланную постель, — вдруг звонок: в барак привезли нового, очень трудного больного. Нечего делать, пошел...

Фельдшер с санитарами суетился вокруг койки; на койке лежал плотный мужик лет сорока, с русой бородой и наивным детским лицом. Это был ломовой

извозчик, по имени Игнат Ракитский. «Схватило» его на базаре всего три часа назад, но производил он очень плохое впечатление, и пульс уже трудно было нащупать. Работы предстояло много. Не менее меня утомленного фельдшера я послал спать и сказал, что разбужу его на смену в два часа ночи, а сам остался при больном.

Покорный и робкий, Игнат беспрекословно подчинялся всему. Он принял лекарство, дал поставить высокую клизму; не пошевельнулся, когда я впрыскивал ему под кожу камфару; впрочем, он все время был в полубессознательном состоянии.

Я сел на табуретку. В ушах звенело, голова была словно налита свинцом. Игнат лежал на спине, полузакрыв глаза, и быстро, тяжело дышал. Вдруг он вздрогнул и поспешно приподнял голову с подушки. Степан, сидевший у его изголовья, подставил ему горшок для рвоты. Но голова Игната снова бессильно упала на подушку.

— Что же не блюешь? Аль не хочешь блевать? Гм...— Степан вздохнул и опустил горшок.

Игнат зашевелился на постели, стал подиматься на карачки.

— Что же это живот не унимается? Дюже болит живот! — выкрикнул он и снова свалился на бок.

Я подошел к нему.

— Дайте помочи!.. Печет под сердцем... — пробормотал он в промежутке между вздохами, вдруг задрожал, стиснув зубы, и стал подтягивать сводимые судорогами ноги. Степан и Андрей схватились за горячие бутылки. Игнат смотрел в потолок мутящимися от боли глазами. Его посадили в ванну.

Степан шепнул мне:

— Сегодня утром шесть арбузов съел натощак, товарищи его сказывали; к обеду еще совсем здоров был, над докторами смеялся.

— Напиться!..— с трудом выкрикнул больной, не поднимая понуренной головы.

Степан осторожно приподнял его голову и стал подносить кружку с ледяной водой. Игнат дернулся всем телом, и рвота широкою струею хлынула в ванну. Его снова перенесли на постель и окутали несколькими одеялами.

Час шел за часом, — медленно, медленно... У меня

слипались глаза. Стоило страшного напряжения воли, чтоб держать голову прямо и идти, не волоча ног. Начинало тошнить... Минутами сознание как будто совсем исчезало, все в глазах заволакивалось туманом; только тускло светился огонь лампы и слышались тяжелые отхаркивания Игната. Я поднимался и начинал ходить по комнате.

Игнат выкрикивал хриплым, неестественным голосом:

— Пузо болит!

«Пузо»... так только в псевдонародных рассказах мужики говорят, — подумал я с накипавшим враждебным чувством к Игнату. — Половина второго... Скоро можно будет разбудить фельдшера».

Я снова поставил больному клизму и вышел наружу. В темной дали спало Заречье, нигде не видно было огонька. Тишина была полная, только собаки лаяли, да где-то стучала трещотка ночного сторожа. А над головою бесчисленными звездами сияло чистое, синее небо; Большая Медведица ярко выделялась на западе... В темноте показалась черная фигура.

— Эй, почтенный, где тут доктора найтить? Нельзя ли помочи поскорей? Девку схватило, помирает.

«Господи, еще!» — с отчаянием подумал я.

Разбудили фельдшера. Он вышел бледный, широко пяля заспанные глаза.

— Пойдите, пожалуйста, посмотрите, что там такое, — сказал я ему. — Если что серьезное, пришлите за мною...

Фельдшер почтительно возразил:

— Дмитрий Васильевич, да вы идите спать. Я один управлюсь; ведь вы и всю прошлую ночь не спали...

— Э, да идите уж! — нетерпеливо оборвал я его и пошел в барак.

Игнат сидел в ванне. Степан поддерживал его под мышки и грубовато-нежно переговаривался с ним, прикладывал ему лед к голове, давал пить. Игнат беспокойно ворочался в ванне и принимал самые неудобные позы, то и дело грозя захлебнуться.

Через минуту он снова попросился в постель. Степан и Андрей взяли его под мышки и приподняли. Он хотел перешагнуть через край ванны, занес было ногу, — она упала назад, и Игнат, с вывернувшими-

ся плечами, мешком повис на руках санитаров. Я взял его за ноги, мы понесли больного на постель. Все время его продолжало непроизвольно слабить; теперь это была какая-то красноватая каша с отвратительным кислым запахом.

— Ишь арбузы пошли! — кивнул Степан.

Это действительно были арбузы; Игнат ел их с зернышками, с зеленью... И сколько он их съел! Лилось, лилось без конца, почти ведрами. Мы уложили его в постель.

Я ходил по комнате и давил в себе неистовую ненависть к Игнату: ведь он знал, что не должно есть арбузов, а все-таки ел, смеясь над докторами... Сам теперь виноват! И как все кругом отвратительно и мерзко, и как тяжело в голове...

Игнату становилось хуже. С серо-синим лицом, с тусклыми, как у мертвеца, глазами, он лежал, ежеминутно делая короткие рвотные движения. Степан подставлял ему горшок, больной отворачивал голову и выплевывал красную рвоту на одеяло. Время от времени Игнат приподнимался, с силою опирался о постель и, шатаясь, становился на карачки.

Степан осторожно поддерживал его.

— Дядя Игнат! Ляжь, как следовает!

— Пузо дюже болит! — быстрым, шелестящим шепотом произносил больной, и следовал глубокий вздох, подводивший живот далеко под ребра.

Ведь вот на постели может же он подниматься, как хочет; а из ванны вынимать, — висит мешком, ноги поднять не хочет. И зачем он плюет на одеяло, когда ему подставляют горшок?

Светало. В бараке было тихо, и только слышно было, как порывисто дышал Игнат. Лицо его стало серо-свинцового цвета, сухие губы чернели под редкими усами. Иногда он быстро приподнимал голову с подушки и вдруг устремлял на меня блеснувшие глаза, — большие, грозные и испуганные... Пульса у него давно уже не было.

Мне вдруг показалось, что кровать с Игнатом взвилась под потолок, окна комнаты завертелись. Я схватился за стол, чтоб не упасть. Еще раз сделав над собою усилие, я впрысиул больному камфару и вышел наружу.

Туман клубами поднимался с соседнего болота,

было сыро и холодно. Я присел на лавку и закурил папиросу. На сердце было одно чувство, — тупое, бесконечное отвращение и к этому больному, и ко всей окружающей мерзости, рвоте, грязи. Все вздор, — вся эта деятельность для других, все... Одно хорошо: прийти домой, выпить стакан горячего чаю с коньяком, лечь в чистую, уютную постель и сладко заснуть... «И почему я не делаю этого? — со злостью подумал я. — Ведь я врач, а исполняю роль сестры милосердия. Моя ли вина, что я не могу добиться от управы помощника врача или студента, что я все один и один? Буду утром и вечером посещать барак, — чего еще можно от меня требовать? Так все и делают. У врача голова должна быть свежа, а у меня...» Я стал высчитывать, сколько времени я не спал: сорок четыре часа, почти двое суток.

У околицы залаяли собаки. Я с надеждою стал вглядываться в туман: может быть, фельдшер идет. Нет, прошла баба какая-то... Вдали поют петухи, из барака доносятся глухие отхаркивания Игната. Я заметил, что сижу как-то особенно грузно и что голова совсем уже лежит на плече. Я встал и снова вошел в барак.

Игнат неподвижно лежал на спине, закинув голову. Между черными, запекшимися губами белели зубы. Тусклые глаза, не моргая, смотрели из глубоких впадин. Иногда рвотные движения дергали его грудь, но Игнат уже не выплевывал... Он начинал дышать все слабее и короче. Вдруг зашевелил ногами, горло несколько раз поднялось под самый подбородок, Игнат вытянулся и замер; по его лицу быстро пробежала неуловимая тень... Он умер.

Я стоял, прикусив губу, и неподвижно смотрел на Игната. Лицо его с светло-русою бородою стало еще наивнее. Как будто маленький ребенок увидал неслыханное диво, ахнул, да так и застыл с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами. Я велел дезинфицировать труп и перенести в мертвецкую, а сам побрел домой.

И вот прошло всего каких-нибудь полсуток. Я выспался и встал бодрый, свежий. Меня позвали на дом к новому больному. Какую я чувствовал любовь к нему, как мне хотелось его отстоять! Ничего не было противно. Я ухаживал за ним, и мягкое, любовное

чувство овладевало мною. И я думал об этой возмутительной и смешной зависимости «нетленного духа» от тела: тело бодро, — и дух твой совсем изменился; ты любишь, готов всего себя отдать...

14 августа

Я уже давно не писал здесь ничего. Не до того теперь. Чуть свободная минута, думаешь об одном: лечь спать, чтоб хоть немного отдохнуть. Холера гуляет по Чемеровке и валит по десяти человек в день. Боже мой, как я устал! Голова болит, желудок расстроен, все члены словно деревянные. Ходишь и работаешь, как машина. Спать приходится часа по три в сутки, и сон какой-то беспокойный, болезненный; встаешь таким же разбитым, как лег.

Кругом десятками умирают люди, смерть самому тебе заглядывает в лицо, — и ко всему этому относишься совершенно равнодушно: чего они боятся умирать? Ведь это такие пустяки и вовсе не страшно.

18 августа

Буду рассказывать по порядку.

Это произошло на Успение. Пообедав, я отпустил Авдотью со двора, а сам лег спать. Спал я крепко и долго. В передней вдруг раздался сильный звонок; я слышал его, но мне не хотелось просыпаться: в постели было тепло и уютно, мне вспоминалось далекое детство, когда мы с братом спали рядом в маленьких кроватках... Сердце сладко сжималось, к глазам подступали слезы. И вот нужно просыпаться, нужно опять идти туда, где кругом тебя только муки и стоны...

Колокольчик зазвенел сильнее и окончательно разбудил меня. Я встал и пошел отпереть. В окно прихожей видно было, что звонится Степан Бондарев. Он был без шапки, и лицо ее глядело странно.

Я отпер дверь. Степан медленно шагнул в прихожую, слабо пошатнувшись на пороге.

— Дмитрий Васильевич, к вам!

Он коротко и глухо всхлипнул. Лицо его было в кровоподтеках, глаза красны, рубаха разодрана и залита кровью.

— Степан, что с вами?!

— К вам вот пришел. Ребята убить грозятся; ты, говорят, холерный... Мол, товарищей своих продал... с докторами связался...

Он опять глухо всхлипнул и отер рукавом кровь с губы.

— Да в чем дело? Какие ребята? Войдите, Степан, успокойтесь!

Я ввел его в комнату, усадил, дал напиться. Степан машинально сел, машинально выпил воду. Он ничего не замечал вокруг, весь замерши в горьком, недоумевающем испуге.

— Ну, рассказывайте, что такое случилось с вами.

Неподвижно глядя, Степан медленно заговорил:

— Говорят: холерный, мол, ты!.. Это зашел я сейчас в харчевню к Расторгуеву, спросил стаканчик. Народу много, пьяные все... «А, говорят, вон он, холерный, пришел!» Я молчу, выпил стаканчик свой, закусываю... Подходит Ванька Ермолаев, токарь по металлу: «А что, почтенный, нельзя ли, говорит, ваших докторей-фершалов пообеспокоить?» — «На что они, говорю, тебе?» — «А на то, чтоб их не было. Нельзя ли?» — «Что ж, говорю, пускай доктор рассудит, это не мое дело». — «Мы, говорит, твоего доктора сейчас бить идем, вот для куражу выпиваем».— «За что?» — «А такая уж теперь мода вышла,— докторей-фершалов бить». — «Что ж, говорю, в чем сила? Сила большая ваша... Как знаете...»

Я дрожал крупною, частою дрожью. Мне досадно было на эту дрожь, но подавить ее я не мог. И сам не знал, от волнения ли она или от холода, я был в одной рубашке, без пиджака и жилета.

— Как холодно! — сказал я и накинул пальто.

Степан, не понимая, взглянул на меня.

— «Ишь, говорят, тоже фершал выискался! — продолжал он.—Иди, иди, говорят, а то мы тебя замуздаем по рылу!»—«Что ж, говорю, я пойду!» — Повернулся,—вдруг меня кто-то сзади по шее. Бросились на меня, начали бить... Я вырвался, ударился бежать. Добежал до Серебрянки; остановился: куда идти? Никого у меня нету... Я пошел и заплакал. Думаю: пойду к доктору. Скучно мне стало, скучно: за что?..

Он замолчал, глухо и прерывисто всхлипывая. У меня самого рыдания подступили к горлу. Да, *за что?*

Ясный августовский вечер смотрел в окно, солнце красными лучами скользило по обоям. Степан сидел, понурив голову, с вздрагивавшею от рыданий грудью. Узор его закапанной кровью рубашки был мне так знаком! Серая истасканная штанина поднялась, из-под нее выглядывала голая нога в стоптанном штиблете... Я вспомнил, как две недели назад этот самый Степан, весь забрызганный холерною рвотою, три часа подряд на весу продержал в ванне умиравшего больного. А *те* боялись даже пройти мимо барака...

И вот теперь, отвергнутый, избитый ими, он шел за защитою ко мне: я сделал его нашим «сообщником», из-за меня он стал чужд своим.

Степан заговорил снова:

— «Завелись, говорят, доктора у нас, так и холера пошла». Я говорю: «Вы подумайте в своей башке, дайте развитие,— за что? Ведь у нас вон сколько народу выздоравливает; иной уж в гроб глядит, и то мы его отходим. Разве мы что делали, разве с нами какой вышел конфуз?..»

В комнату неслышно вошел высокий парень в пиджаке и красной рубашке, в новых, блестящих сапогах. Он остановился у порога и медленно оглядел Степана. Я побледнел.

— Что вам нужно?

Он еще раз окинул взглядом Степана, не отвечая, повернулся и вышел. Я тогда забыл запереть дверь, и он вошел незамеченным.

Я закинул крючок на наружную дверь и воротился в комнату. Сердце билось медленно и так сильно, что я слышал его стук в груди. Задыхаясь, я спросил:

— Что это, из *тех* кто-нибудь?

— Ванька Ермолаев и есть. Сейчас все здесь будут.

Что было делать? Бежать? Но одна мысль о таком унижении бросала меня в краску: выскочить в окно, подобно вору, пробираться задами... Да и куда было бежать?

Я молча ходил по комнате. Ноги ступали нетвердо, по спине непрерывно бегала мелкая, быстрая дрожь. Мне вдруг во всех подробностях вспомнилась смерть доктора Молчанова, недавно убитого толпою в Хвалынске... Беспричинность и неожиданность слу-

чившегося не удивляли меня теперь: мне казалось, в глубине души я давно уже ждал чего-то подобного... На сердце было страшно тоскливо. Но рядом с этим гордо-уверенное, радостное чувство поднималось во мне: я не знал еще, что буду делать, но я знал, что заслоню и защищу Степана.

Случайно я увидел в зеркале свое отражение: бледное, искаженное страхом лицо глянуло на меня холодно и странно, как чужое. Мне стало стыдно Степана и досадно, что он видит меня в таком состоянии... Ну, да теперь уж все равно...

Я остановился у окна. Над садом в дымчато-голубой дали блестели кресты городских церквей; солнце садилось, небо было синее, глубокое... Как там спокойно и тихо!.. И опять эта неприятная дрожь побежала по спине. Я повел плечами, засунул руки в карманы и снова начал ходить.

В наружную дверь раздался сильный удар, в то же время оглушительно зазвенел звонок — раз, другой, — и звонок оборвался.

— Они! — апатично сказал Степан.

В дверь посыпались удары.

Со мною произошло то, что всегда бывало, когда я шел на что-нибудь страшное: во мне вдруг все словно замерло и я сделался спокоен. Но что-то странное в этом спокойствии: как будто другой кто уверенно и находчиво действует во мне, а сам я со страхом слежу со стороны за этим другим.

— Оставайтесь здесь, — сказал я Степану, вышел в прихожую и запер комнату на ключ. Ключ я положил себе в карман.

Наружная дверь трещала от ударов, за нею слышен был гул большой толпы. Я скинул крючок и вышел на крыльцо.

Как взрыв, раздался злобно-радостный рев. Я быстро спустился с крыльца и вошел в середину толпы.

— Что это, господа, чего вы?

— Фершала давай своего!

Серьезно и озабоченно я спросил:

— Фельдшера? Зачем он вам?

Маленький худощавый старик с красными глазами, торопливо засучивая рукава, протискивался ко мне сквозь толпу.

— Зачем?.. Зачем?.. — бессмысленно повторял он и рвался ко мне, наталкиваясь на плечи и спины.

Я шагнул навстречу.

— Ну, вот он мне объяснит, погодите кричать... Пропустите же его, дайте дорогу!.. Вот... Ну, в чем дело? — коротко и решительно обратился я к старику.

Мы очутились друг против друга. Старик опешил и неподвижно смотрел на меня.

— Что такое случилось?

Он быстро и оторопело пробормотал:

— Вы чего народ морите?

Я удивленно поднял голову.

— Что такое? Мы — народ морим?! Откуда это ты, старик, выдумал? Народу у меня в больнице лежало много, — что же, из них кто-нибудь это сказал тебе?.. Не может быть! Спросить многих можно, — мало ли у нас выздоровело! Рыков Иван, Артюшин, Кепанов, Филиппов... Все у меня в больнице лежали. Ты от них это слышал, это они говорили тебе? — настойчиво спросил я.

Старик странно морщился и дергал головою.

— Мы, господин, знаем... Мы всё-ё знаем!..

— Ну, нет, брат, погоди! Дело тут серьезное. Если знаешь, то толком и говори. Где мы народ морили, когда?.. Господа, может быть, из вас кто-нибудь это скажет? — обратился я к окружающим.

Никто не ответил. Отовсюду смотрели чуждые, враждебно выжидающие глаза. Сзади вытягивались головы с нетерпеливо хмурившимися лицами. Ванька Ермолаев, закусив губу, с насмешливым любопытством следил за мною.

— Ну, хорошо, вот что! — решительно произнес я. — Пойдемте сейчас все вместе в барак, спросим тех, кто там лежит, что они скажут: делаем мы им какое худо или нет. Если что скажут против меня, — я в ответе.

— Да пойдем, чего там! Думаешь, боимся байрака твоего? — быстро сказал Ванька Ермолаев и двинулся с места.

— Пойдемте!

Толпа колыхнулась, и мы направились к бараку.

Я закурил папиросу и заговорил:

— Ведь вот, господа, пришли вы сюда, шумите... А из-за чего? Вы говорите, народ помирает. Ну, а

рассудите сами, кто в этом виноват. Говорил я вам сколько раз: поосторожнее будьте с зеленью, не пейте сырой воды. Ведь кругом ходит зараза. Разорение вам какое, что ли, воду прокипятить? А поди ты вот, не хотите. А как схватит человека, — доктора виноваты. Вот у меня недавно один умер: шесть арбузов натощак съел! Ну скажите, кто тут виноват? или вот с водкой: говорил я вам, не пейте водки, от нее слабеет желудок...

— Нет, господин, вино не вредит! — вмешался шедший рядом мастеровой. — Она эту самую заразу убивает, она в пользу.

— В пользу? А вот приходите-ка в больницу после праздника: как настанет праздник, выпьет народ, так на другой день сразу вдвое больше больных; и эти всего легче помирают: вечером принесут его, а утром он уж богу душу отдает.

— И похмелиться не поспевши, го-го! — засмеялись в толпе.

— Чего смеетесь? Дурьё! — строго остановил Ванька Ермолаев.

Вдали виднелся барак. Чтоб не беспокоить больных, я решил взять с собою только двух-трех человек, а остальных оставить ждать у барака.

Вдруг из-за угла мелочной лавки показался приземистый фабричный в длинной синей чуйке. Он, видимо, искал нас и, завидев толпу, побежал навстречу. Я живо помню его бледное лицо с низким лбом и огромною нижнею челюстью... Все произошло так быстро, как будто сверкнула молния. Толпа раздалась. Человек в чуйке молча скользнул по мне взглядом и вдруг, коротко и страшно сильно размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. У меня замутилось в глазах, я отшатнулся и схватился за голову. В ту же минуту второй удар обрушился мне на шею.

— Го-о... Бе-ей!! — неистово завопил говоривший со мной старик и ринулся на меня, и все кругом всколыхнулось.

От толчка в спину я пробежал несколько шагов; падая, ударился лицом о чье-то колено, это колено с силою отшвырнуло меня в сторону. Помню, как, вскочив на ноги и в безумном ужасе цепляясь за чей-то рвавшийся от меня рукав, я кричал: «Братцы!.. Голубчики!..» Помню пьяный рев толпы, помню мелькав-

шие передо мною красные, потные лица, сжатые кулаки... Вдруг тупой, тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшей из груди кровью, я без сознания упал на землю.

19 августа

Я уже третий день лежу в больнице. У меня открылось сильное кровохарканье, которое еле остановили; дело плохо. Меня два раза навестил губернатор, навестили еще какие-то важные лица. Все они говорят мне что-то очень любезное, крепко жмут руку. Я смотрю на них, но мало понимаю из того, что они говорят. Гвоздем сидит у меня в голове воспоминание о случившемся, и сердце ноет нестерпимо. И я все спрашиваю себя: да неужели же вправду это было?.. И, однако, это так: я лежу в больнице, изувеченный и умирающий; передо мною как живые стоят перекошенные злобой лица, мне слышится крик: «Бей его!..» И они меня *били, били!* Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я нес им свои силы, свои знания, — все... Господи, господи! Что же это, — сон ли тяжелый, невероятный, или голая правда?.. Не стыдно признаваться,— я и в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как любил я народ и как мучительно горька обида от него.

Нужно умирать. Не смерть страшна мне: жизнь холодная и тусклая, полная бесплодных угрызений, — бог с нею! Я об ней не жалею. Но *так* умирать!.. За что ты боролся, во имя чего умер? Чего ты достиг своею смертью? Ты только *жертва,* жертва бессмысленная, никому не нужная... И напрасно все твое существо протестует против обидной ненужности этой жертвы: так и должно было быть...

20 августа

Мне не спится по ночам. Вытягивающая повязка на ноге мешает шевельнуться, воспоминание опять и опять рисует недавнюю картину. За стеною, в общей палате, слышен чей-то глухой кашель, из рукомойника звонко и мерно капает вода в таз. Я лежу на спине, смотрю, как по потолку ходят тени от мерцающего ночника, — и хочется горько плакать. Были силы,

была любовь. А жизнь прошла даром, и смерть приближается,— такая же бессмысленная и бесплодная... Да, но какое я *право* имел ждать лучшей и более славной смерти?

Они били меня, как забежавшую бешеную собаку, — меня, против которого ничего не могли иметь. Пять недель работая среди них, каждым шагом доказывая свою готовность помогать и служить им, я не смог добиться с их стороны простого доверия; я *принуждал* их верить себе, но довольно было рюмки водки, чтоб все исчезло и проснулось обычное стихийное чувство. Пять недель! Я в пять недель думал уничтожить то, что создавалось долгими годами. С каких это пор привыкли они встречать в нас друзей, когда видели они себе пользу от наших знаний, от всего, что ставило нас выше их? Мы всегда были им чужды и далеки, их *ничто* не связывало с нами. Для них мы были людьми другого мира, брезгливо сторонящимися от них и не хотящими их знать. И разве это неправда? Разве иначе была бы возможна та до ужаса глубокая пропасть, которая отделяет нас от них?

Я знаю: то, что я здесь пишу, избито и старо; мне бы самому в другое время показалось это фальшивым и фразистым. Но почему теперь в этих избитых фразах чувствуется мне столько тяжелой правды, почему так жалко-ничтожною кажется мне моя прошлая жизнь, моя деятельность и любовь? Я перечитывал дневник: жалобы на себя, на время, на все... этим жалобам не было бы места, если бы я тогда видел и чувствовал то, что так ярко и так больно бьет мне теперь в глаза.

23 августа

Трудно писать, рука плохо слушается. Процесс в легких идет быстро, и жить остается немного. Я не знаю, почему теперь, когда все кончено, у меня так светло и радостно на душе. Часто слезы безграничного счастья подступают к горлу, и мне хочется сладко, вольно плакать.

Я часто впадаю в забытье. И когда я открываю глаза, я вижу сидящую у моих ног молчаливую, понурую фигуру Степана. Как он сюда попал? Я вскоре узнал: он пришел к главному врачу больницы, поклонился ему в ноги и не вставал с колен, пока тот не

позволил ему оставаться при мне безотлучно. Я не знаю, когда он спит: днем ли проснешься, ночью, — Степан все сидит на своей табуретке — молчаливый, неподвижный... Я смотрю на этого дважды спасенного мною человека, и мне хочется крепко пожать его руку. Я пошевельнусь, — он встает и поправляет сбившуюся подо мною подушку, дает мне пить. И я опять забываюсь...

Передо мною стоит Наташа. Она горько плачет, закрыв глаза рукою. Мне странно, — неужели Наташа тоже умеет плакать? Я тихо глажу ее трепещущую от рыданий руку и не могу оторвать от нее глаз. И я говорю ей, чтоб она любила людей, любила народ; что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много... И теперь мне не стыдно говорить эти «высокие» слова. Она жадно слушает и не замечает, как слезы льются по ее лицу. А я смотрю на нее, и тихая радость овладевает мною; и я думаю о том, какая она славная девушка, и как много в жизни хорошего, и... и как хорошо умирать...

1894

ПОВЕТРИЕ

ЭПИЛОГ[1]

I

Богучаровский земский врач Сергей Андреевич Троицкий только что произвел горлосечение задыхавшейся от крупа девочке. Он накладывал швы на разрез раны, фельдшерица Ольга Петровна, с сухим,

[1] Рассказ этот в свое время вызвал со стороны критики немало нареканий за то, что лишен действия и состоит из одних разговоров. Нарекания были вполне законны. Но показать представителей молодого поколения в *действии* было по тогдашним цензурным условиям совершенно немыслимо. Даже в предлагаемом виде рассказ мог появиться в свет только после долгих мытарств. Время действия относится к лету 1896 года, когда в Петербурге вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, отметившая собою нарождение у нас организованного рабочего движения. (*Примеч. В. Вересаева. <1909>.*)

желтоватым лицом, в белом фартуке, придерживала вставленную в трахею трубочку.

Больная еще не проснулась от хлороформа; она лежала неподвижно, изредка делая глубокие, свободные вдыхания; только когда Ольга Петровна шевелила трубочку, ребенок начинал кашлять, и тогда из отверстия трубочки с дующим шумом вылетали брызги кровавой слизи, а Сергей Андреевич и Ольга Петровна отшатывались в стороны.

Ольга Петровна зажмурила левый глаз, ощупала мизинцем щеку, на которой повисли две алых капельки, и сказала:

— Чуть-чуть мне сейчас в глаз не попало!

— Эка штука! — с шутливым пренебрежением ответил Сергей Андреевич.

Ольга Петровна обиженно протянула:

— Да-а! Я вовсе не хочу ослепнуть.

— С чего вам, Ольга Петровна, слепнуть? Мы с вами люди привычные: нас никакая зараза не смеет тронуть.

Ольга Петровна, скрывая улыбку, отвернулась, чтоб достать баночку с йодоформом; она дивилась, что такое сталось с Сергеем Андреевичем: всегда сумрачный и молчаливый, он сегодня все время шутил и болтал без умолку.

Больная медленно раскрыла большие, отуманенные глаза.

— Ну, Дунька, как дела? — спросил Сергей Андреевич, наклонился и ласково потрепал ее по пухлой загорелой щеке.

Девочка вздохнула и, отвернув голову, молча закрыла глаза. Сиделка взяла ее на руки и понесла из операционной. Сергей Андреевич тщательно вымыл сулемою лицо и руки, простился с Ольгой Петровной и пошел из больницы домой.

Через дорогу, за канавою, засаженной лозинами, желтела зреющая рожь. Горизонт над рожью был свинцового цвета, серые тучи сплошь покрывали небо. Но тучи эти не грозили дождем, и от них только чувствовалось уютнее и ближе к земле. С востока слабо дул прохладный, бодрящий ветер.

Сергей Андреевич шел по дороге вдоль заросшей канавы, растирал ладонями цветки полыни и с сча-

стливым, жизнерадостным чувством дышал навстречу ветру.

Сегодня у Сергея Андреевича был большой праздник: ему предстояло провести вечер с двумя гостями, каких он редко видел в своей глуши. Мысль об этих гостях рассеяла в Сергее Андреевиче обычные его заботы и горести, он чувствовал себя бодро, молодо и радостно.

Один из гостей уже со вчерашнего вечера находился у Сергея Андреевича и теперь ожидал его дома. Гость этот был его старый университетский товарищ Киселев, знаменитый организатор артелей. О нем в последнее время много писали в газетах. С Нижегородской выставки, где он экспонировал изделия своих кустарей, Киселев по дороге заехал на сутки к Сергею Андреевичу и сегодня вечером уезжал. Сергей Андреевич проговорил с ним до поздней ночи и все утро после амбулаторного приема; он не мог наслушаться Киселева, не мог наговориться с ним; глядя на этого человека, всю свою жизнь положившего на общее дело, Сергей Андреевич преисполнялся горделивою радостью за свое поколение, которое дало жизни таких деятелей.

Другой гость, которого сегодня ждал Сергей Андреевич, была дочь соседнего помещика, Наталья Александровна Чеканова. Сергей Андреевич не видел ее четыре года. В то время Наташа только что кончила в гимназии и готовилась к аттестату зрелости для поступления на медицинские курсы; это была девушка сорвиголова, с бродившими в душе смутными, широкими запросами, вся — порыв, вся — беспокойное искание. Осенью, против воли отца, она неожиданно уехала в Швейцарию и с тех пор как в воду канула; дошли слухи, что через два года она переехала в Петербург. Отец надеялся, что без денег Наташа долго не выдержит и сама воротится домой, но наконец потерял надежду; этою весною он написал ей в Петербург и приглашал приехать на лето в деревню. Наташа ответила, что очень занята и что навряд ли ей удастся скоро приехать. Тем не менее в начале июля она совершенно неожиданно явилась домой, не успев даже предупредить о приезде. По пути со станции она заехала к Сергею Андреевичу. Когда он увидел Наташу, у него сжалось сердце от жалости; ви-

димо, за эти четыре года ей пришлось пережить немало: она сильно похудела и побледнела, выглядела нервной; но зато он нее так и повеяло на Сергея Андреевича бодростью, энергией и счастьем. Он с горячим интересом слушал торопливые, оживленные рассказы Наташи, наблюдал ее и думал: «Она нашла дорогу и верит в жизнь». Наташа пробыла у него не долее получаса, и Сергей Андреевич не успел поговорить с нею как следует. Вчера он известил ее о пребывании у него Киселева, и Наташа обещала приехать.

«Что-то стало из нее?» — с любопытством думал Сергей Андреевич, потирая руки.

И он улыбался при мысли о сегодняшнем вечере и радовался случаю освежиться и встряхнуться, вздохнуть чистым воздухом того мира, где не личные заботы и печали томят людей.

Сергей Андреевич подошел к стоявшему против церкви ветхому домику. Из-под обросшей мохом тесовой крыши словно исподлобья смотрели на церковь пять маленьких окон. Вокруг дома теснились старые березы. У церковной ограды сын Сергея Андреевича гимназист Володя играл в городки с деревенскими ребятами.

Вдоль боковой стены тянулась широкая, потемневшая от дождей терраса с покосившимися столбиками и подгнившими перилами. На террасе блестел самовар. Дочь Сергея Андреевича Люба разливала чай. За столом сидели Киселев и сын богучаровского дьячка студент-технолог Даев.

II

Когда Сергей Андреевич взошел на террасу, между Киселевым и Даевым кипел ярый спор, и на него почти не обратили внимания.

— Ну-ка, Любушка, плесни-ка и мне чайку! — обратился Сергей Андреевич к дочери.

Он взял налитый стакан чаю, положил в него лимон и со стаканом в руках подсел к спорившим.

Киселев был плотный и приземистый человек лет за сорок, с широким лицом и окладистой русою

бородой; из-под высокого и очень крутого лба внимательно смотрели маленькие глазки, в которых была странная смесь наивности и хитрой практической сметки. Всем своим видом Киселев сильно напоминал ярославца-целовальника, но только практическую сметку свою он употреблял не на «объегориванье» и спаиванье мужиков, а на дело широкой помощи им.

Взволнованно барабаня толстыми пальцами по скатерти, Киселев внимательно слушал студента.

— Что спорить? Сама по себе артель, разумеется, дело хорошее, — говорил Даев, стройный парень с черною бородкою и презрительно-надменною складкой меж тонких бровей. — Я не сомневаюсь, что этим путем вам удастся поднять на некоторое время благосостояние нескольких десятков кустарей. Но все силы, всю свою душу положить на такое безнадежное дело, как поддержка кустарной промышленности, — по-моему, пустая трата сил и времени.

— Почему же это кустарная промышленность — такое безнадежное дело? — спросил Киселев.

— Потому что существует более совершенная форма производства, с которой не нашему кустарю бороться. Вы посмотрите: он уже по всей линии отступает перед фабрикой, и вовсе не по каким-нибудь случайным причинам; машина с неотвратимою последовательностью вырывает из его рук один инструмент за другим, и если кустарь покамест хоть коекак еще конкурирует с нею, то только благодаря своей пресловутой «связи с землей», которая позволяет ему ценить свой труд в грош.

— Так что, значит, и пускай себе «машина вырывает у него один инструмент за другим», пускай себе развивается фабрика? Так с этим и нужно примириться? — спросил Киселев, юмористически подняв брови.

— Миритесь не миритесь, а фабрика все равно задавит кустаря.

— Возмутительно! — Киселев ударил кулаком по столу. — Для вас это — теория, а для меня это трупом пахнет.

— Полноте, какая тут теория! Нужно быть слепым, чтоб не видеть умирания кустарничества, и — вы меня извините — нужно не знать азбуки полити-

ческой экономии, чтоб думать, что артель способна его оживить.

Сергей Андреевич, наклонившись над стаканом и помешивая ложечкой чай, угрюмо и недоброжелательно слушал Даева. То, что он говорил, не было для Сергея Андреевича новостью: и раньше он уже не раз слышал от Даева подобные взгляды и по журнальной полемике был знаком с этим недавно народившимся у нас доктринерским учением, приветствующим развитие в России капитализма и на место живой, деятельной личности кладущим в основу истории слепую экономическую необходимость.

Слушая теперь Даева, Сергей Андреевич начинал раздражаться все сильнее. Но ему хотелось удержать свое тихое и радостное настроение, и он постарался прекратить спор.

— Эх, Иван Иванович, ну что ты с ним связываешься? — обратился он к Киселеву, обняв его за плечи, и шутливо махнул рукою в сторону Даева. — Эти новые люди — народ отпетый, с ними, брат, не столкуешься. Нам их с тобою и не понять, — всех этих декадентов, символистов, марксистов, велосипедистов... Ну, а вот она наконец, и Наталья Александровна.

Сергей Андреевич встал и шумно отодвинул стул.

III

К калитке, верхом на буланой лошади, подъехала девушка в соломенной шляпке и розовой кофточке, перехваченной на талии широким кожаным поясом. Она соскочила на землю и стала привязывать лошадь к плетню.

Сергей Андреевич радостно пошел навстречу.

— Наталья Александровна!.. Наконец-то!.. Здравствуйте!

Наташа с быстрою, немного сконфуженною усмешкою ответила на его пожатие и взошла на террасу. От кофточки падал розовый отблеск на бледное лицо, и от этого Наташа казалась свежее и здоровее, чем тогда, когда Сергей Андреевич видел ее в первый раз. Она поцеловалась с Любой, Сергей Андреевич представил ей Киселева и Даева.

— Какая вы уж большая стали! — сказала Наташа, с улыбкою оглядывая Любу. — Вы в каком теперь классе?

— Перешла в восьмой, — краснея, ответила Люба и стала наливать ей чай.

На минуту все замолчали.

— Ну вот, Наталья Александровна, опять вы в наших краях, — заговорил Сергей Андреевич, с отеческой любовью глядя на нее. — А нам тут Иван Иванович рассказывал об организованных им артелях. Я вам вчера писал о нем.

— Вы давно уже ведете это дело? — спросила Наташа, украдкою приглядываясь к Киселеву.

— Четыре года веду, — неохотно ответил Киселев, еще полный впечатлений от разговора с Даевым.

Наташа нерешительно сказала:

— Вам, вероятно, уж надоело рассказывать?

— Да рассказывать-то нечего... Вот, если хотите, посмотрите наш артельный устав, там все сказано.

Он достал из бумажника сложенный вчетверо лист бумаги и передал Наташе. Наташа быстро развернула лист и с любопытством стала читать.

— Здесь сказано, что члены артели должны жить между собою «по божьей правде». А как поступает артель с членом, если он перестанет жить по правде? — спросила она.

— Разно бывает. Чаще всего урезонишь его, — мужик и одумается, сам поймет, что не дело затеял. Ну, случается, конечно, что иного ничем не проймешь, — такого приходится исключить: шелудивая овца все стадо портит.

Наташа стала расспрашивать, как часты у них вообще случаи исключения участников, на каких условиях принимаются новые члены, насколько сильна в артелях самодеятельность. Киселев мало-помалу оживился и начал рассказывать. Он рассказывал долго и подробно.

Сергей Андреевич слушал с наслаждением. Ему уж было известно все, что рассказывал Киселев, но он был готов слушать еще и еще, без конца. На душе у него опять стало тихо, хорошо и радостно. Вечерело, небо по-прежнему было покрыто тучами; на западе, над прудом, тянулись золотистые облака фанта-

стических очертаний. Теплый ветер слабо шумел в березах.

— Да, господа, это дело — живое и плодотворное дело, — закончил Киселев. — Оно доставляет столько нравственного удовлетворения, дает такие осязательные результаты, так много обещает в будущем, что я всякому скажу: если хотите хорошего счастья, если хотите с пользою употребить свои силы, то идите к нам, и вы не раскаетесь... хотя вот господин Даев и не согласен с этим.

Наташа быстро и внимательно взглянула на Даева.

— Я с этим также не согласна, — сказала она, опустив глаза.

Сергей Андреевич насторожился.

— Почему?

— Это дело хорошее, но мне не верится, чтоб оно много обещало в будущем. Из рассказов самого же Ивана Ивановича видно, что все держится только его личным влиянием: устранись Иван Иванович, — и его артели немедленно распадутся, как было уже столько раз.

— Почему же бы это им непременно распасться? — спросил Киселев.

— Потому что вы слишком много требуете от человека. Ваши артельщики должны жить «по божьей правде»; конечно, на почве мелкого производства единение только при таком условии и возможно; но ведь это значит совершенно не считаться с природою человека: «по божьей правде» способны жить подвижники, а не обыкновенные люди.

— Вот как! — протянул Сергей Андреевич и широко раскрыл глаза. — «При мелком производстве единение невозможно». Наталья Александровна, да уж не собираетесь ли и вы по этому случаю выварить нашего кустаря в фабричном котле?

— Ни у меня, ни у кого нет столько сил, чтобы сделать это, — с усмешкой ответила Наташа. — А что исторический ход вещей его выварит, — в этом, разумеется, не может быть сомнения.

— Опять этот «исторический ход вещей»! — воскликнул Киселев. — Господа, да постыдитесь же хоть немного! Вы почтительно преклоняетесь перед всем, что готов сделать ваш «исторический ход ве-

щей». Если он обещает расплодить у нас фабрики, задавить кустаря, то и пускай будет так, пускай кустарь погибает?

Вмешался Даев.

— Сейчас, Иван Иванович, вопрос не о мерзостях, которые проделывает исторический ход вещей. Вопрос о том, — что можете вы дать вашим кустарям? В лучшем случае вам удастся поставить на ноги два-три десятка бедняков, и ничего больше. Это будет очень хорошим, добрым делом. Но какое же это может иметь серьезное общественное значение?

Сергей Андреевич почти с ненавистью слушал Даева. Даев говорил пренебрежительно-учительским тоном, словно и не надеясь на понятливость Киселева, и Сергею Андреевичу было досадно, что тот совершенно не замечает ни тона Даева, ни его резкостей.

Киселев глубоко вздохнул и поднялся с места.

— Я вижу только одно, господа, — сказал он: — вы не любите человека и не верите в него. Ну, скажите, неужели же вправду так-таки невозможно понять, что дружная работа выгоднее работы врозь, что лучше быть братьями, чем врагами? Вы злорадно указываете на неудачи... Что ж? Да, они есть! Но знаете ли вы, в каких условиях приходится жить мужику? Могут ли широко развиться при них те задатки любви и отзывчивости, которые заложены в его душе? А задатки в нем заложены богатые, смею вас уверить! Вы смеетесь над этим. Но меня вот что удивляет: вы молоды, жизни не знаете, знакомы с нею только из книг, — и в рабочих людях видите зверей. Я знаю их, живу среди них вот уже пятнадцать лет, — и говорю вам, что это — *люди*, хорошие, честные люди! — горячо воскликнул он.

— И я могу подтвердить это! — торжественно произнес Сергей Андреевич.

— Люба! Не знаешь ты, который теперь час? — вдруг громко спросил Володя.

Он уже с десять минут стоял на террасе, нетерпеливо и выразительно поглядывая на отца, но тот, занятый спором, не замечал его.

Киселев поспешно вынул часы.

— Ого, уж восьмой час! Пора, Сергей Андреевич, лошадь запрягать, а то я к поезду не поспею.

— Папа, Нежданчика запрячь? — быстро спросил проснявший Володя.

Все засмеялись.

— Э, брат, у тебя тут, я вижу, тонкая политика была! — протянул Даев, схватив Володю сзади под мышки. — То-то его вдруг заинтересовало, который теперь час!

— Папа, Степану нужно в ночное ехать! — крикнул Володя.

— Да уж придется тебе отвезти Ивана Ивановича, — ответил Сергей Андреевич. — Пускай только Степан лошадь запряжет.

— Ни одного ведь словца, разбойник, без политики не скажет! — проговорил Даев, щекоча Володю. — Бить, брат, тебя некому, вот что.

— А вам? — возразил Володя, ежась и стараясь поймать пальцы Даева.

— Да ведь ты не даешься, злодей!

— Ну, например, за что вы меня щекочете?

— Скажи ты мне, к какой, собственно, мысли этот твой «пример» служит иллюстрацией?

Володя вывернулся из рук Даева и взобрался на перила.

— Никакой я вашей балюстрации не понимаю!

Он спустился на землю и через куртины помчался в конюшню.

Даев взял свой пустой стакан и подошел к Любе.

IV

Сергей Андреевич ревниво поглядывал на Даева. Он видел, как радостно вспыхнула Люба, когда Даев заговорил с нею: неужели он и его взгляды не возмущают ее?.. Даев сел на конце стола возле Любы и вступил с нею в разговор.

— Как для вас, господа, все эти вопросы с высоты теории легко решаются! — говорил между тем Киселев. — Для вас кустарь, мужик, фабричный — все это отвлеченные понятия, а между тем они — люди, живые люди, с кровью, нервами и мозгом. Они тоже страдают, радуются, им тоже хочется есть, не глядя на то, разрешает ли им это «исторический ход ве-

щей»... Вот я в Нижнем получил от моих палашковских артельщиков письмо...

Киселев достал из бумажника грязную, исписанную каракулями бумагу, медленно надел на нос пенсне и, откинув голову, стал читать:

— «Дражайшему благодетелю нашему Ивану Ивановичу Киселеву от Ерофея Тукалина, Ивана Егорова и т. д. письмо». Письмо! — с улыбкою повторил он, мигнув бровями. — «Писали мы вам, что Косяков Пётра продал кузницу ценою за 81 р. сер. и хотит, чтоб взять деньги в свою пользу. То поэтому, Иван Иванович, как хотите, так и делайте с ним. Но мы же оным не нуждаемся, потому что в той кузне еще не работали и не нуждаемся оной, а вы, как знаете, так делайте распоряжение»... Ну и так дальше... «И еще кланяемся вам с благодарностью и просим не оставлять нас, за это будем об вас бога молить за ваши благодетельства нас, бедных людей»... Подписано: «братья артели» такие-то... Да, господа, и что вы там ни говорите, а я их не оставлю! — произнес он прерывающимся голосом, снимая пенсне.

— Какое письмо славное! — сказала Наташа с заблестевшими глазами.

— Ну, во-от! Не правда ли? — спросил Киселев.— Ведь невозможно, господа, так относиться! Книжки вам говорят, что по политической экономии артелями революции вашей нельзя достигнуть, — вам и довольно. А ведь это все живые люди; можно ли так рассуждать?.. Мне и не то еще приходилось слышать: переселения, например, тоже вещь нежелательная, их незачем поощрять, потому что, видите ли, в таком случае у нас останется мало безземельных работников.

— Ну, это вы слышали от какого-нибудь молодца с Страстного бульвара![1] — с улыбкою сказала Наташа.

В глазах Киселева мелькнул лукавый огонек.

— Нет, я это полчаса назад за этим столом слышал, — медленно произнес он, вежливо улыбаясь.

Наташа вспыхнула и в замешательстве наклонилась над чашкою.

---

[1] На Страстном бульваре находилась редакция реакционной газеты «Московские ведомости». (*Примеч. В. Вересаева.*)

— На очную ставку готов стать с господином Даевым, — прибавил Киселев.

— Я в этом отношении не согласна с Даевым. — Наташа выпрямилась и глядела в глаза Киселеву с неуспевшею еще сойти с лица краскою. — По-моему, переселения прямо желательны, потому что они повысят благосостояние и переселенцев и остающихся, а это поведет к расширению внутреннего рынка.

Киселев слушал с чуть заметною усмешкою. «Не хочет раскрыть карт!» — думал он. Сергей Андреевич откинулся на спинку стула и с беспощадным, вызывающим ожиданием глядел на Наташу.

— Ну-с, и что же дальше? Для вас это — только маленькое «разногласие» с господином Даевым?.. Странно! — Он усмехнулся и пожал плечами. — Сейчас только сами же вы признали его взгляды достойными Страстного бульвара, а теперь вдруг выходит, что это для вас — так себе, лишь незначительное разногласие!.. Гм! Ну, теперь мне совершенно ясно, почему именно на этом-то бульваре вы и встретили самое горячее сочувствие!

Даев, со стаканом в руках, подошел и остановился, помешивая ложечкою в стакане.

— Скажите, пожалуйста, Василий Семенович, как вы относитесь к переселенческому вопросу? — обратился к нему Сергей Андреевич. Спросил он самым невинным голосом, но глаза его смотрели мрачно и враждебно.

— Слава богу, у нас, оказывается, и переселяться-то некуда, — ответил Даев, видимо забавляясь негодованием Сергея Андреевича. — Можно ли серьезно говорить у нас о переселении? Культура земли самая первобытная, три четверти населения околачивается вокруг земли; этак нам скоро и всего земного шара не хватит. Выход отсюда для нас тот же, что был и для Западной Европы, — развитие промышленности, а вовсе не бегство в Сибирь.

Наташа стала возражать.

Сергей Андреевич слушал, горя негодованием. По такому существенному вопросу они спорили неохотно, с готовностью делали друг другу уступки, — видимо, чтоб только поскорее столковаться и прийти к концу.

— К чему вы, Наталья Александровна, упоминаете о «живых людях», что они для вас? — воскликнул

Сергей Андреевич. — Будьте же откровенны до конца: говорите о вашей промышленности и оставьте живых людей в покое. Если бы они грозили остановить развитие вашего капитализма, то разве вы стали бы с ними считаться? Что значит для вас эта сотня тысяч каких-то «живых людей», умирающих с голоду!

И сейчас же оба они соединились против него, доказывая, что если бы кто-нибудь мог остановить развитие капитализма, то и разговор был бы другой, при данных же условиях ничто остановить его не в силах.

Сергей Андреевич стал яро возражать, но положение его в споре было довольно неблагоприятное: в экономических вопросах он был очень не силен и только помнил что-то о рынках, отсутствие которых делает развитие русского капитализма невозможным. Противники же его, видимо, именно экономическими-то вопросами преимущественно и интересовались и засыпали его доказательствами. Сергей Андреевич чувствовал, что они видят слабость его позиции, и его одинаково раздражал и снисходительный тон возражений Даева, и сожаление к нему, светившееся в глазах Наташи.

К спорящим присоединился и Киселев. Спор тянулся долго, — горячий, но утомительно-бесплодный, потому что спорящие стояли на слишком различных точках зрения. Для Сергея Андреевича и Киселева взгляды их противников были полны непримиримых противоречий, и они были убеждены, что те не хотят видеть этих противоречий только из упрямства: Даев и Наташа объявляли себя врагами капитализма — и в то же время радовались его процветанию и усилению; говорили, что для широкого развития капитализма необходимы известные общественно-политические формы,— и в то же время утверждали, что сам же капитализм эти формы и создаст; историческая жизнь, по их мнению, направлялась не подчиняющимися человеческой воле экономическими законами, идти против которых было нелепо, — но отсюда для них не вытекал вывод, что при таком взгляде человек должен сидеть сложа руки.

— Разве все это не ясные до очевидности противоречия? — спрашивали Сергей Андреевич и Киселев.

Даев и Наташа в ответ пожимали плечами, удивляясь, как можно так плоско понимать вещи.

Впрочем, серьезно спорить и доказывать продолжала только Наташа; Даев больше забавлялся, наблюдая, какую нелепо уродливую форму принимали их взгляды в понимании Сергея Андреевича и Киселева.

Сергей Андреевич молча прошелся по террасе.

— Нет, господа, чтоб до такой можно было дойти узости, до такой чудовищной черствости и бессердечия, — этого я не ожидал! Ну, и времечко же теперь, нечего сказать, — довелось мне дожить!

— На время грех жаловаться, — серьезно возразил Даев, — время хорошее и чрезвычайно интересное. Великолепное время. А что касается ваших упреков в бессердечии, то, уверяю вас, Сергей Андреевич, убедить нми кого-нибудь очень трудно. Мы утверждаем, что Россия вступила на известный путь развития и что заставить ее свернуть с этого пути ничто не в состоянии; *докажите,* что мы ошибаемся; но вы вместо этого на все лады стараетесь нам втолковать, что наш взгляд «возмутителен». Странное отношение к действительности! Пора бы уже перестать судить о ее явлениях с точки зрения ваших идеалов.

Сергей Андреевич с любопытством спросил:

— Вы полагаете, что пора?

— Да, я думаю, давно уже пора. Жизнь развивается по своим законам, не справляясь с вашими идеалами; нечего и приставать к ней с этими идеалами; нужно принять те, которые диктует сама действительность.

— Боже мой, боже мой! И это — молодежь, надежда страны!.. — воскликнул Сергей Андреевич.

Он схватился за голову и взволнованно зашагал по террасе.

Наташа с неопределенною улыбкою смотрела на скатерть. Даев следил за Сергеем Андреевичем с нескрываемою иронией.

— Если об этом говорить, то... Не завидую я стране, которой приходится довольствоваться надеждою на молодежь, — сказал он. — Слава богу, наша страна в этой надежде уж не нуждается. Вырос и выступил на сцену новый глубоко революционный класс...

— Да не на вас же, конечно, рассчитывать...

Голос Сергея Андреевича сорвался. Он махнул рукою и отошел к концу террасы.

Облака на западе сияли ослепительным золотым светом, весь запад горел золотом. Казалось, будто там раскинулись какие-то широкие, необъятные равнины; длинные золотые лучи пронизали их, расходясь до половины неба, на севере кучились и громоздились тяжелые облака с бронзовым оттенком. Зелень орешников и кленов стала странно яркого цвета, золотой отблеск лег на далекие нивы и деревни.

Сергей Андреевич, угрюмо прикусив губу, смотрел на торжествующе горевшее небо. Слезы душили его: так вот что стало из Наташи, вот в чем нашла она выход и успокоение!.. На Даева Сергей Андреевич давно уже махнул рукою. Прежде он недоумевал, как могла боевая натура Даева примириться с таким апофеозом квиетизма, потом, однако, решил, что жестокость нового учения вполне соответствовала черствому и недоброму характеру Даева. Но Наташа!..

Сергей Андреевич вспомнил, как однажды, четыре года назад, она заехала к нему с прогулки верхом, вместе с своим двоюродным братом, доктором Чекановым. Столько в ее глазах было тогда жизни и счастья, столько молодости, радостно рвущейся на простор, отзывчивой и любящей! Сергей Андреевич сам весь тот день чувствовал себя как бы помолодевшим. Потом он увидел Наташу два месяца спустя. Она только что воротилась из Слесарска, где на ее руках умер доктор Чеканов, насмерть избитый толпою во время холерных беспорядков. Изменилась она страшно: глаза ее горели глубоким, сосредоточенным огнем, всеми помыслами, всем своим существом она как бы ушла в одно желание, — желание страдания и жертвы. В то время Наташа часто бывала у Сергея Андреевича и настойчиво расспрашивала его, что теперь всего нужнее делать, на что отдать свои силы. Он полюбил ее, как дочь, и жизнь для него стала светлее; никогда он не работал столько, как в то время, и работал радостно, без обычного раздражения и ворчаний. Вскоре Наташа уехала на юг сестрою милосердия, затем, по окончании холеры, за границу... И вот что теперь стало из нее!

А между тем по-прежнему она была симпатична Сергею Андреевичу... Что же это за проклятая зараза, откуда забрала она столько всепокоряющей силы?!

Из-за сарая выехал на шарабане Володя. Он на-

хлестывал кнутом Нежданчика, поглядывая на балкон, не следит ли за ним отец, и лихо подкатил к калитке. У стола раздался шум отодвигаемых стульев. Сергей Андреевич воротился к гостям.

Киселев застегивал пальто и надевал дорожную сумку.

— Ну, прощайте, господа! — сказал он, протягивая свою широкую руку Наташе и Даеву. — Желаю вам всего хорошего. Делайте ваше «историческое» дело,— открывайте фабрики, старайтесь обезземелить крестьян, разрушить артель и кустарные промыслы, — может быть, вам когда-нибудь и станет стыдно за это. А мы, — мы с нашими «братьями-артельщиками» не боимся вас... Вы не обижайтесь на меня!.. — быстро прибавил он, добродушно улыбаясь и крепко пожимая обеими руками руку Даева. — Сердца у вас хорошие, только теория вас душит, вот в чем горе!

Даев рассмеялся и горячо пожал в ответ руку Киселева.

— А мне позвольте *совершенно искренно* пожелать вам возможно большего успеха.

Киселев спустился с террасы. Сергей Андреевич после всего происшедшего чувствовал к нему прилив особенной любви и нежности; он не спускал с Киселева мягкого, любовного взгляда.

Киселев, ощупывая наполненные карманы пальто, остановился перед шарабаном.

— Доедет молодой человек? — спросил он, оглядывая маленькую фигурку Володи.

Володя покраснел и с обиженною улыбкою быстро взглянул на отца.

— Ничего, доедет... Только, брат, вот что, — сурово обратился Сергей Андреевич к Володе, — кнут пускай в дело пореже и назад возвращайся через Басово, а не через Игнашкин Яр.

Лицо Киселева внезапно стало серьезным.

— Ну, Сергей Андреевич, оставайся здоровым! — вздохнул он и раскрыл объятия. — Бог весть когда теперь свидимся.

Они крепко поцеловались три раза накрест. Потом Сергей Андреевич еще раз прижал к себе Киселева и долго, горячо поцеловал его, как бы желая этим поцелуем выразить всю силу своего уважения и любви к нему.

Киселев ступил на подножку шарабана, тяжело накренившегося под ним, уселся и еще раз ощупал карманы. Володя тронул Нежданчика.

V

Сергей Андреевич воротился на террасу. В душе у него кипело. Его мучило, что на все его упреки Наташа и Даев отвечали только пожиманием плеч и сдержанной улыбкой; и ему хотелось хоть в чем-нибудь пристыдить их.

Наташа, Люба и Даев сидели у самовара и разговаривали. Сергей Андреевич, насупившись, несколько раз прошелся по террасе.

— Извините, господа, — сказал он. — Ну, можно ли было завязывать с Иваном Ивановичем такой спор? Неужели вы не чувствовали, до чего это было грубо и бестактно?

Даев удивленно поднял брови.

— Почему?

— Какая была у вас цель? Неужели — убедить Ивана Ивановича, что дело всей его жизни — пустяки, что от него надо отказаться?

— Я решительно не могу понять такого страха перед свободным обсуждением. Тогда и я вас упрекну: зачем вы с нами спорите? Может быть, и вы нас убедите отказаться от нашей деятельности? А относительно Киселева вы напрасно беспокоитесь: он настолько верит в свое дело и настолько туп, что его никто не переубедит. И вы меня извините, Сергей Андреевич, — я думаю, что возражения наши больше огорчили не его, а вас, потому что вы в душе и сами не слишком-то верите в чудеса артели.

— Никто о чудесах и не говорит, — устало произнес Сергей Андреевич. — Но дело это, во всяком случае, хорошее, и к нему непозволительно относиться так свысока, как вы делаете.

— Позвольте, Сергей Андреевич, Иван Иванович говорил именно о чудесах, — возразила Наташа. — Но мне хотелось бы знать вот что: вы все время возражали нам, защищали Киселева; как же, однако, сами вы смотрите хоть бы на ту же общину или артель? Мне это осталось неясным.

— Не знаю, Наталья Александровна! Это только для вас будущее ясно, как на ладони; по-моему, жизнь сложнее всяких схем, и никто, относящийся к ней сколько-нибудь добросовестно, не возьмется вам отвечать.

— Но ведь выдвигает же эта жизнь какие-нибудь исторические задачи? Во что же верить, каким путем идти? Чтó нужно делать?

Это были те же вопросы, которые Сергей Андреевич слышал от Наташи и четыре года назад. Тогда она с тоскою ждала от него, чтоб он дал ей веру в жизнь и указал дорогу, — и ему было тяжело, что он не может дать ей этой веры и что для него самого дорога неясна. Теперь, когда Наташа верила и стояла на дороге, Сергея Андреевича приводила в негодование самая возможность тех вопросов, которые она ему задавала.

Волнуясь и раздражаясь, он стал доказывать, что жизнь предъявляет много разнообразных запросов, и удовлетворение всех их одинаково необходимо, а будущее само уж должно решить, «историческою» ли была данная задача, или нет; что нельзя гоняться за какими-то отвлеченными историческими задачами, когда кругом так много насущного дела и так мало работников.

— Ну да, то же самое я слышала от вас и четыре года назад, — сказала Наташа, — «не знаю — и поэтому всякое дело одинаково хорошо и важно»; только тогда вы не думали, что иначе и не может быть...

Наташа быстро прошлась по террасе.

— Как вы можете с этим жить! — произнесла она и с дрожью повела плечами. — Киселев наивен и живет вне времени, но он по крайней мере верит в свое дело; а во что верите вы? В окружающей жизни идет коренная, давно не виданная ломка, в этой ломке падает и гибнет одно, незаметно нарождается другое, жизнь перестраивается на совершенно новый лад, выдвигаются совершенно новые задачи. И вы стоите перед этим хаосом, потеряв под ногами всякую почву; старое вы бы рады удержать, но понимаете, что оно гибнет бесповоротно; к нарождающемуся новому не испытываете ничего, кроме недоверия и ненависти. Где же для вас выход? На все вы можете дать только один ответ: «Не знаю!» Ведь перед вами такая пусто-

та, такой кромешный мрак, что подумать жутко!.. И во имя этой-то пустоты вы вооружаетесь против нас и готовы обвинить чуть не в ренегатстве всех, кто покидает ваш лагерь! Да оставаться в вашем лагере невозможно уж по одному тому, что это значит прямо обречь себя на духовную смерть.

— И не оставайтесь, Наталья Александровна, ищите дорогу! Когда вы ее найдете, мы первые же с радостью пойдем за вами. Но вместо того, чтоб искать, вы зажмуриваете глаза, самоуверенно объявляете: «Мы знаем!» — там, где знать ничего не можете, и с легким сердцем готовы губить все, что не подходит под вашу схему. Разве это значит найти дорогу?.. Нет, Наталья Александровна, колоссальный успех вашей, с позволения сказать, «программы» я могу лишь объяснить совсем другим,—тем всеобщим одичанием, которое вызвано теперешним безвременьем.

— Я думаю, успех ее объясняется тем, что сама жизнь слишком неопровержимо доказала ее правильность. Если бы вы видели, какие радостные, кипучие родники борьбы и жизни бьют там, куда пошли мы!.. А за все то, что мы будто бы собираемся губить, вы можете быть совершенно спокойны: как можем мы что-нибудь губить? Мы никакой силы собою не представляем!

Сергей Андреевич молча оглядел Наташу и едко усмехнулся.

— Да, резюме, во всяком случае, получается весьма поучительное, — и уж конечно, где ж тут может быть речь о «духовной смерти»! *Мы силы никакой не представляем. Идеалы наши подчиняем действительности. Нигде никому помочь не можем...*

Наташа хотела возразить, нервно пожала плечами и замолчала. Даев, посмеиваясь, следил за нею.

— Я думаю, спор давно уж пора кончить, — сказал он.— Ясно, что мы говорим на разных языках и никогда не столкуемся.

— Действительно, пора кончить: мне уже давно время ехать. — Наташа быстро встала.

— Вот те раз! Наталья Александровна, полноте, куда это вам? — всполошился Сергей Андреевич. — Сейчас ужин готов. Много ли вам ехать-то, всего пять верст!..

Наташа улыбнулась.

— Нет, не пять, а тридцать пять. Я в город еду, к вам по дороге заехала.

— В таком случае, ехать уж слишком поздно. Когда вы теперь в город приедете, — завтра на заре! Ведь вы не мужчина, Наталья Александровна: мало ли что может случиться по дороге! Ночи теперь темные. Оставайтесь-ка лучше у нас ночевать. Переночуете с Любой, а завтра утром напьетесь себе чаю и поедете.

— Вот еще! — рассмеялась Наташа. — Какая, подумаешь, опасная дорога! У меня в городе дело есть, завтра утром непременно нужно быть; да и жарко ехать днем.

Сергей Андреевич помолчал.

— Ну, господь с вами!

Наташа спустилась с лесенки и стала отвязывать от загородки лошадь. Сергей Андреевич, задумчиво теребя бороду, молча смотрел, как Наташа взнуздывала лошадь, как Даев подтягивал на седле подпруги. Наташа перекинула поводья на луку.

— Спасибо вам, Наталья Александровна, что заехали, — медленно произнес Сергей Андреевич. — Но должен сознаться, — с горечью прибавил он, — не *такою* думал я вас увидеть.

— Какая есть! — ответила Наташа с своею быстрою усмешкою.

Сергей Андреевич нахмурился и молча пожал ее протянутую руку.

VI

Наташа уехала. Сергей Андреевич постоял, засунув руки в карманы, надел фуражку и медленно пошел по деревенской улице.

Запад уже не горел золотом. Он был покрыт ярко-розовыми, клочковатыми облаками, выглядевшими, как вспаханное поле. По дороге гнали стадо; среди сплошного блеянья овец слышалось протяжное мычанье коров и хлопанье кнута. Мужики, верхом на устало шагавших лошадях, с запрокинутыми сохами возвращались с пахоты. Сергей Андреевич свернул в переулок и через обсаженные ивами конопляники вышел в поле. Он долго шел по дороге, понурившись

и хмуро глядя в землю. На душе у него было тяжело и смутно.

Дорога мимо полос крестьянской ржи сворачивала к Тормину. Сергей Андреевич присел на высокую межу, заросшую икотником и полевою рябинкою. Заря гасла, розовый цвет держался только на краях облаков и наконец исчез. Облака стали скучного свинцово-серого цвета. По широкой равнине, среди хлебов, мягко темнели деревни, в дубовых кустах Игнашкина Яра замигал костер. Мужик, с полным мешком за плечами, шел по тропинке через рожь. По-прежнему было тепло и чувствовалась близость к земле, и по-прежнему медленно двигались в небе серые тучи, не угрожавшие дождем.

Мужик с мешком вышел на дорогу и повернул по направлению к Тормину.

— Прогуляться вышел по холодочку? — ласково обратился он к Сергею Андреевичу, поравнявшись с ним.

— Это ты, Капитон! Добрый вечер! Откуда бог несет?

Капитон спустил мешок на землю и достал из кармана кисет.

— Ходил к мельничихе, вот мучицы забрал до новины...

Он набил табаком трубку и спрятал кисет.

— Ну, дай посижу с тобою, передохну маленько,— сказал он, сел на межу рядом с Сергеем Андреевичем и стал закуривать.

— Как старуха твоя поживает? — спросил Сергей Андреевич.

— Опух в ногах уничтожился, слава богу. Под сердце нет-нет да подкатит, а только работает нынче хорошо, дай бог тебе здоровья.

Они помолчали.

— Вот рожь-то какая уродилась! И косить нечего будет, — сказал Сергей Андреевич и кивнул на тянувшуюся перед ним полосу; редкие, чахлые колосья ржи совершенно тонули в море густых васильков и полыни.

Капитон поглядел на полосу и неохотно ответил:

— Скосишь, брат, и такую. Моя вот полоска такая же точно.

— Посеялся поздно, что ли?

— А то с чего же?.. Приели к Филиппову дню хлебушко, ну и набрал по четверти, — у мельничихи, у Кузьмича, у саининского барина. Отдать-то отдай четверть, а отработать за нее надо, ай нет? Там скоси десятину, там скоси, — ан свой сев-то и ушел. Вот и коси теперь васильки... А тут еще конь пал у меня на Аграфенин день, — прибавил он, помолчав.

— Ну, брат, плохо твое дело! Как же ты теперь жить будешь?

— Да уж... как хошь, так и живи, — медленно ответил Капитон и развел руками.

Сергей Андреевич угрюмо возразил:

— «Как хошь»... Ведь как-нибудь надо же прожить!

— Как же не надо? Знамо дело, — надо.

— Так как же ты проживешь?

— Как! Н-ну... — Капитон подумал. — Кабы сын был у меня, в люди бы отдал: все кой-что домой бы принес.

— Так ведь нет же сына у тебя!

— То-то, что нет! Вот я же тебе и объясняю: как хошь, мол, так и живи.

Сергей Андреевич замолчал. Капитон тоже молчал и задумчиво попыхивал трубкою.

— Жизнь томная, это что говорить. То-омная жизнь! — произнес он словно про себя.

Сергей Андреевич, угрюмо сдвинув брови, смотрел вдаль. Он припоминал сегодняшний спор и думал о том, что бы испытывали Наташа и Даев, слушая Капитона. Сергей Андреевич был убежден, что они ликовали бы в душе, глядя на этого горького пролетария, которого даже по недоразумению никто не назвал бы самостоятельным хозяином.

Капитон докурил трубку, простился с Сергеем Андреевичем и пошел своею дорогою.

Равнина темнела, в деревнях засветились огоньки. По дороге между овсами проскакал на ночное запоздавший парень в рваном зипуне. Последний отблеск зари гас на тучах. Трудовой день кончился, надвигалась теплая и темная, облачная ночь.

Сергей Андреевич стоял, оглядывая даль; он чувствовал, как дорога и близка ему эта окружающая его бедная, тихая жизнь, сколько удовлетворения испытывал он, отдавая на служение ей свои силы. И он

думал о Киселеве, думал о сотнях рассеянных по широкой русской земле безвестных работников, делающих в глуши свое трудное, полезное и невидное дело... Да, ими всеми уже сделано кое-что, они с гордостью могут указать на плоды своего дела. Те, узкие и черствые, относятся к этому делу свысока... Что-то сами они сделают? И тяжелая злоба к ним шевельнулась в Сергее Андреевиче, и он почувствовал, что никогда не примирится с ними, никогда не протянет им руки...

Через всю свою жизнь, полную ударов и разочарований, он пронес нетронутым одно — горячую любовь к народу и его душе, облагороженной и просветленной великою властью земли. И эта любовь, и его тоска перед тем, что так чужда ему народная душа, — все это для них смешно и непонятно. Им смешны сомнения и раздумье над путями, какими пойдет выбивающаяся из колеи народная жизнь. К чему раздумывать и искать, к чему бороться? Слепая историческая необходимость — для них высший суд, и они с трезвенною покорностью склоняют перед нею головы...

— Да, что-то они сделают? — повторял Сергей Андреевич, мрачно глядя в темноту.

1897

ЛИЗАР

Солнце садилось за бор. Тележка, звякая бубенчиками, медленно двигалась по глинистому гребню. Я сидел и сомнительно поглядывал на моего возницу. Направо, прямо из-под колес тележки, бежал вниз обрыв, а под ним весело струилась темноводая Шелонь; налево, также от самых колес, шел овраг, на дне его тянулась размытая весенними дождями глинистая дорога. Тележка переваливалась с боку на бок, наклонялась то над рекою, то над оврагом. В какую сторону предстояло нам свалиться?..

Мой возница Лизар — молчаливый, низенький старик — втягивал голову в плечи, дергал локтями и осторожно повторял: «Тпру!.. тпру!..»

— Как ты, дедка, не боишься? Ведь мы свалимся! — не выдержал я.

Я готовился услышать в ответ классическое «небось!». Но Лизар неожиданно ответил:

— Свалимся, барин, — Христос-правда, свалимся!.. Как же не бояться? Уж то-то боюсь!

— Так ты бы на дорогу съехал.

— На дорогу! Увязнешь на дороге, гораздо топко. Дожди-то какие лили! Погляди на Шелонь,—видишь, вздулась. Вода в ней свежая, чистая, что серебрина, а нынче вон как потемнела,— всю воду с болот взяла... «Не боюсь!» — повторил он, помолчав. — Уж так-то боюсь, ажно вспотел!

Он снял облезлую шапку и утер рукою лоб.

— А ты вот что, барин любимый! Слезай с тележки да вон до того яру через кустики и дойди. А я на дорогу спущусь, кругом объеду.

Я сошел с тележки. Лизар оживился, задергал вожжами и покатил по откосу в овраг. Бубенчики закатились испуганным прерывистым звоном; тележка прыгала по промоинам, Лизар прыгал на облучке и натягивал вожжи.

— Н-но, гамыры! — донеслось со дна оврага, словно из преисподней. Тележка, увязая в глине, потащилась в гору.

Я перебрался через овраг и пошел перелеском. По ту сторону Шелони, над бором, тянулись ярко-золотые тучки, и сам бор под ними казался мрачным и молчаливым. А кругом стоял тот смутный, непрерывный и веселый шум, которым днем и ночью полон воздух в начале лета.

Среди ореховых и ольховых кустов все пело, стрекотало, жужжало. В теплом воздухе стояли веселые рои комаров-толкачиков, майские жуки с серьезным видом кружились вокруг берез, птички проносились через поляны волнистым, порывистым летом. Вдали повсюду звучали девические песни, — была Троица, по деревням водили хороводы.

Я остановился на опушке, около межи. Когда стоишь так один, не шевелясь, лицом к лицу с природой, то овладевает странное чувство: кажется, что она не замечает тебя, и ты, пользуясь этим, вот-вот сейчас увидишь и узнаешь какую-то самую ее сокровенную тайну. И тогда все окружающее кажется необычным и полным этой тайны. Под зеленевшими дубами земля была усыпана темно-бурыми прошлогодними

листьями; каждый лист шуршал и шевелился, какая-то скрытая жизнь таилась под ними; что это там — лесные муравьи, прорастающая трава?.. И все кругом слабо шумело и шуршало, словно живое, — трава цветы, кусты. Не замечая человека, все как будто ожило и зажило свободно, не скрываясь... Ветер мягко пронесся по матово-зеленой ржи и перебежал в осины. Осины зашептались, заволновались, с коротким шумом вздрагивая листьями; облако белых пушинок сорвалось с их сережек и, словно сговорившись с ветром, весело понеслось в темнеющую чащу.

Мне показалось, что справа кто-то смотрит. Я оглянулся. В десяти шагах сидели в траве два выскочившие из ржи зайца. Они сидели спокойно и с юмористическим любопытством глядели на меня. Как будто им было смешно, что и я надеюсь проникнуть в ту тайну, которую сами они и все кругом прекрасно знают. При моем движении зайцы переглянулись и не спеша, несколькими большими, мягкими прыжками, бесшумно отбежали к кустам ракитника; там они снова сели и, шевеля ушами, продолжали поглядывать на меня.

— О-го-го-го-го-ооо! — глухо донесся из-за ржи крик Лизара.

Я откликнулся. Зайцы снялись и стали удаляться неуклюже-легкими прыжками. Меж кустов долго еще мелькали их рыжие горбатые спины и длинные уши. Я вышел на дорогу.

Мы поехали дальше. Солнце село, из лощин потянуло влажным холодком.

— Хорошо бы теперь чайку попить, — сказал я.

— Ну что ж! Вот приедем в Якоревку, и попьешь чайку, — ответил Лизар.—Ты, значит, чайку попьешь, отдохнешь, я походом коней покормлю, а там с холодочком и поедем дальше.

— А далёко до Якоревки?

Лизар удивился.

— До Якоревки-то? Да вон она!

Над рожью серели соломенные крыши деревни. Лизар встрепенулся и сильнее задергал вожжами. Мы въехали в узкую, уже потемневшую улицу, заросшую ветлами. Избы, как вообще в этих краях, были очень высокие, с окнами венцов на пятнадцать — двадцать от земли.

Лизар подъехал к избе. Около нее на суке ивы висели веревочные качели. На высоком крылечке никого не было, в окнах было темно. Лизар остановил лошадей, задумчиво поглядел на качели и крикнул:

— Эй, кума Агафья! Нельзя ли на качелях позыбаться у тебя? Горазд качели хороши!

На крыльцо вышла баба, прямая и худая, с сухим, строгим лицом.

— Кого говоришь? — спросила она.

— Самоварчик барину надобен, проезжающему... Будь здорова!

Баба внимательно оглядела меня с ног до головы.

— Здравствуйте... Сейчас сами отпили, можно наставить, — медленно ответила она. — Дунька! — позвала она так, будто Дунька стояла рядом с нею. — Подложи шишек в самовар!.. Сейчас готов будет тебе.

Из сеней выглянула девушка с широким лицом и бойкими глазами под черными бровями. Она с любопытством оглядела меня и исчезла.

Через десять минут на высоком крылечке кипел самовар. Я заварил чай.

Заря догорала. Легкие тучки освещались сверху странным полусветом надвигавшейся белой ночи. На улице, окутанной бледным сумраком, были жизнь и движение, с конца ее лилась хороводная песня. Громкие голоса, скрашенные расстоянием, звучали задумчиво и нежно:

Не на много времени жизнь давалася,
За единый час миновалася...

В барском саду заливался соловей, оттуда тянуло запахом сирени и росистой свежестью сада. Ночь томила, в душе поднимались смутные желания. Становилось хорошо и грустно.

Под крыльцом послышался шепот. Мужской голос спрашивал:

— Ты что ж гулять не приходишь?

— А тебе что? — лукаво ответил голос Дуньки, тоже вполголоса.

— Что, что! Все девки в хороводе, а тебя нету. На кой они мне?.. Кто это у вас?

— Барин проезжающий чай пьет. Самовар ему наставляла я.

— Самовар?—Мужской голос вдруг перервался.— Само...вар?

— Пошел ты, дьявол!

— Нишкни! Идут!

Голоса смолкли. Лизар, засыпавший лошадям овес, поднялся на крылечко. Я достал бутылку, налил водкою рюмку и чашку. Предложил чашку Лизару. Лизар задвигал плечами, маленькие глаза под нависшими бровями блеснули.

— Ну, почеремонимся! — стыдливо усмехнулся он, быстро стащил с головы шапку и принял чашку. — Здравствуй!

Мы выпили, закусили. Стали пить чай. Лизар держал в корявых руках блюдечко и, хмурясь, дул в него. Хозяйка снова появилась на пороге, прямая и неподвижная. За ее юбку держались два мальчугана. Засунув пальцы в рот, они исподлобья внимательно смотрели на нас. Из оконца подызбицы тянуло запахом прелого картофеля.

Хозяйка тихо спросила:

— Разродилась сноха твоя?

— Разродилась, матушка, разродилась.— поспешно ответил Лизар.

— Мертвого выкинула?

— Зачем мертвого? Живого.

— Живого?.. А у нас тут баяли, мертвого выбросит. Старуха Пафнутова гомонила, — горазд тяжко рожает, не разродится.

— С чего не разродиться? За дохтуром посылали! — Лизар улыбнулся длинной, насмешливой улыбкой. — Приехал, клещами ребеночка вытащил, — живого, вот и гляди.

Хозяйка покачала головой.

— Клещами!

— Делают не знамо что! — вздохнул Лизар.

— Как не знамо что? — возразил я.—Живого ведь вытащили, чего же тебе? А не помог бы доктор, ребенок бы умер.

— «Живого», «живого», — повторил Лизар и замолчал. — Так они нам ни к чему, ребята-то, ни к чему!.. Довольно, значит! Будет! И так полна изба. Чего ж балуются, дохтура беспокоят? Сами хлеб жевали-жевали, а дохтур приезжай к ним — глота-ать!.. Избаловался ныне народ, вот что! С негой стали жить,

с заботой, о боге не мыслят. Вон бобушки[1] по деревням ходят, ребят клюют; сейчас приедет фершалиха, начнет ребят колоть; всех переколет, ни одного не оставит. Заболел кто, — сейчас к дохтуру едет... Прежде не так было...

Лизар вздохнул.

— Прежде, барин мой жадобный, лучше было. Жили смирно, бога помнили, а господь-батюшка заботился о людях, назначал всему меру. Мера была, порядок! Война объявится, а либо голод, — и почистит народ, глядишь — жить слободнее стало: бобушки придут, — что народу поклюют! Знай домовины готовь! Сокращал господь человека, жалел народ. А таперичка нету этого. Ни войны не слыхать, везде тихо, фершалих наставили. Вот и тужит народ землею. Что сталось-то, и не гляди! Выедешь с сохою на нивку, а что орать, не знаешь! Сосед кричит: «Эй, дядя Лизар, мою полоску зацелил!» Повернулся — с другого боку: «Мою-то зачем трогаешь?» Во-от какое стеснение!.. Скажем, куму взять. — Лизар кивнул на хозяйку. — Пять сынов у них, видишь! Ребята всё малые, что паучки, а вырастут, — всех нужно произвести к делу... К делу нужно произвести! А земли на одну душу. Вот и считай тым разом, — много ли на каждого придется?

— Да так сказать, ничего и не придется,— поучающе сказала хозяйка.

Лизар развел руками.

— Ничего! На кой же они нужны! На сторону нам ходить некуда, заработки плохие!.. Ложись да помирай... По нашему делу, барин мой любимый, столько ребят не надобно. Если чей бог хороший, то прибирает к себе, — значит, сокращает семейство. Слыхал, как говорится? Дай, господи, скотинку с приплодцем, а деток с приморцем. Вот как говорится у нас!

Хозяйка сочувственно слушала Лизара и ласково гладила по волосам жавшихся к ней ребят.

— Губят нас, можно сказать, пустячные дела, — продолжал захмелевший Лизар. — Бессмертная сила народу набилась, а сунуться некуда, концов-выходов нету. А каждый на то не смотрит, старается со своей

[1] Бобушками в Псковской губернии называют оспу. (*Примеч. В. Вересаева.*)

бабой... Э-эх! Не глядели бы мои глаза, что делается!.. Уж наказываешь сынам своим: будьте, ребятушки, посмирнее, — сами видите, дело наше маленькое, пустячное. И понимают, а глядишь, — то одна сноха неладивши породит, то другая...

— И то сказать: не из соломы сплетены, — вздохнула хозяйка.

— Тяжкое дело, тяжкое дело! — в раздумье произнес Лизар. — А только я так домекаюсь, что бабам бы тут порадеть нужно, вот кому. Сходи к дохтуру, поклонись в ножки, — они учены, знают дело. Поклонишься — дадут тебе капель. Ведь за это не то что яичек, — гуся не пожалеешь. Как скажешь, есть такие капли? — спросил Лизар, значительно и испытующе поглядев на меня.

Он говорил долго. А вдали звучали песни, и природа изнывала от избытка жизни. И казалось,—вот стоят два разлагающихся трупа и говорят холодные, дышащие могильной плесенью речи. Я встал.

— Пора ехать!

— И то пора!

Лизар суетливо поднялся и пошел к лошадям.

Заря совсем погасла, когда мы двинулись. Была белая ночь, облачная и тихая. У околицы еще шел хоровод, но он уж сильно поредел и с каждой минутой таял все больше. А в бледном полумраке, — на гумнах, за плетнями, под ракитами, — везде слышался мужской шепот, сдержанный девичий смех.

Из проулка навстречу нам вышла парочка. Молодцеватый парень с русой бородкой и девушка в красном платочке медленно переходили дорогу, тесно прижавшись друг к другу. С широкого, миловидного лица девушки без испуга глянули на меня глаза из-под черных бровей. Кажется, это была Дунька.

За околицей нас снова охватил стоявший повсюду смутный, непрерывный шум весенней жизни. Была уж поздняя ночь, а все кругом жило, пело и любило. Пахло зацветающей рожью. В прозрачно-сумрачном воздухе, колыхаясь и обгоняя друг друга, неслись вдали белые пушинки ив и осин, — неслись, неслись без конца, словно желая заполнить своими семенами весь мир.

Отдохнувшие лошади бойко бежали по дороге. Светло-желтый песок весело шуршал под колесами.

Водка испарилась из головы Лизара, он снова примолк. Я со странным чувством, как на что-то чужое тут и непонятное, смотрел на него... Мы спустились в лощину.

— Тпру!.. Тпру!.. — вдруг испуганно произнес Лизар. Он остановил у мостика лошадей, соскочил и стал торопливо привязывать сорвавшуюся постромку. Шум тележки смолк.

Тогда меня еще сильнее охватила эта через край бившая кругом жизнь. Отовсюду плыла такая масса звуков, что, казалось, им было тесно в воздухе. В лесу гулко, перебивая друг друга, заливались соловьи, вверху лощины задумчиво трещал коростель; кругом во влажной осоке обрывисто и загадочно стонали жабы, квакали лягушки, из-под земли бойко неслось слабое и мелодическое «турррррррр»... Все жило вольно и без удержу, с непоколебимым сознанием законности и правоты своего существования. Хороша жизнь! Жить, жить, — жить широкой, полной жизнью, не бояться ее, не ломать и не отрицать себя, — в этом была та великая тайна, которую так радостно и властно раскрывала природа.

И среди этого таинства неудержимо рвущейся вширь жизни — он, сжавшийся в себе, с упорными думами о собственном сокращении!.. Царь жизни!

1899

ВАНЬКА

Рассказ приятеля

Года три назад я работал монтером на одном большом петербургском железоделательном заводе. Как-то вечером, в воскресенье, я возвращался домой с Васильевского острова. Дело было в июне. Поезд пригородной дороги, пыхтя, мчался по тракту вдоль Невы; империал был густо засажен народом; шел громкий, пьяный говор.

— А что, дяденька, в Александровское село доеду я на этой машине? — обратился ко мне мой сосед, толстогубый парень с крепким, загорелым лицом. Он был в пеньковых лаптях и светло-сером зипуне, на го-

лове сидела громадная облезлая меховая шапка. Серою деревнею так от него и несло. Несло, впрочем, и водочкою.

— Доедешь, — ответил я.

— А тебе на которо место? — спросил его сосед по другую сторону, старик сапожник.

— Значит... в Александровское село!

— Я понимаю, что в Александровское... Место-то которое? Какая улица?

— Не знаю я...

— Эх ты тетка Матрена!.. Давно ли в Питере?

— В Питере-то?

— Да, в Питере-то!

— Нонче утром приехал... Значит, в селе Александровском земляк у меня, у него я пристал. А сейчас к дяде ездил на шашнадцатую линию, — у господ кучеряет.., Винца, значит, выпили с ним...

— Как же ты теперь домой попадешь, дурья ты голова? Нужно знать, какая улица — раз, как номер дому — два! — поучающе произнес старик.

— Он думал, тут деревня ему, — отозвался из-за спины скамейки фабричный парень. — Спросил: «Где тут, братцы, Иван Потапыч живет?» — а ему всякий: «Вон-он!..» Нет, подожди, — эка ты, брат, какой!

— Должен был адрес спросить! — поучал старик.

— Вер-рно! — с удовольствием согласился парень в шапке и тряхнул головой.

— Вот теперь и ищи земляка своего!

— Ты какой губернии-то? «Скопской»? — быстро спросил фабричный.

— Скопской.

— Ну, во-от!.. Скопской, — сразу видно!

Кругом засмеялись. На парня сыпались насмешки. Он потряхивал головой, затягивался цигаркою, самостоятельно сплевывал и с большим удовольствием повторял: «Верно!.. Правильно!..»

— Вот тебе село Александровское, приехали. Слезай, ищи земляка!

Парень торопливо встал и спустился вниз. Слегка пошатываясь, он быстро пошел посреди улицы, потряхивая головою и мягко ступая по мостовой пеньковыми лаптями. На перекрестке неподвижно стоял городовой. Парень снял перед ним шапку, с достоинством

тряхнул волосами, надел шапку и гордо зашагал дальше. Вскоре он исчез в сумраке белой ночи...

Дня через два мне дали на заводе нового подручного. Я тогда работал на линии. Передо мною предстал мешковатый парень, в огромных сапожищах и меховой шапке. Это был мой сосед по конке.

Он проработал у меня с неделю. Смех было иметь с ним дело, а иногда прямо невмоготу.

— Иван, подай лестницу!

Иван, глазеющий на мою работу, начинает медленно шевелиться.

— Лестницу?.. Ка-акую?

— Да давай скорей лестницу, че-ерт!! «Какую»!..

Иван не торопясь берет лестницу и, ворча, начинает ее прилаживать к стене.

— Сам черт! На-ка!.. Чего орешь?

В нем совсем не было заметно той предупредительной готовности принимать насмешки и ругательства, какую он проявил тогда на конке. Напротив, весь он был пропитан каким-то милым, непоколебимым чувством собственного достоинства, которое совершенно обезоруживало меня.

Пошлешь его на станцию:

— Сбегай, принеси дюжину патронов, да поскорей, пожалуйста!

Иван тяжело пробежит десяток шагов и идет дальше, солидно и убийственно медленно шагая своими сапожищами. Ждешь, ждешь его. Через полчаса является, словно с прогулки.

— Где ты пропадал?

— Где? А ты куда посылал?

— Чертова ты перечница! Пять минут сбегать, а ты полчаса ползешь... Квашня!

— Чего орешь-то? — хладнокровно возражает он.

Присели мы с ним как-то покурить.

— Ты бы, Иван, должен бы меня побольше уважать, — сказал я. — Ведь я над тобою выше стою.

— Черта ли мне тебя уважать!.. На-ка! — изумился Иван. И он с любопытством оглядел меня своими круглыми глазами, словно выискивал, — за что же это, собственно, я претендую на его «уважение»?

Необычно было с ним беседовать, — совсем с другой планеты спустился человек. «Жена моя из Под-

горья к нам приведёна...» Словно о корове рассказывает. Или сообщает, что отец письмо прислал, велит к Ильину дню выслать пять рублей, а то отдерет розгами. Это двадцатилетнего-то мужика... И обо всем рассказывает так, как будто иначе и не может быть.

Через неделю его взяли на станцию. Однажды мой всегдашний подручный загулял, и мне снова дали на день Ивана. Опять явился он в своих сапожищах, медленный и солидный, при взгляде на которого сердце начинает нетерпеливо кипеть.

— Ну ты, дубовая голова, подбери губы! Давай тали заправлять! Живо!

Иван молча нагнулся, взял веревку и стал поспешно продевать ее в блоки. Продевает и все молчит. Я покосился на него: что это с ним?

— Ты что же не ругаешься? — сконфуженно спросил я. — Обругали тебя, ты должен ответить.

Иван молчал.

— Что же ты молчишь?

Он исподлобья взглянул на меня и вдруг самодовольно ухмыльнулся.

— Нешто я не понимаю? Небось ты мне старшой! Я против тебя не могу слов говорить!

И весь день был со мною смирен и испуганно почтителен.

Как-то поздно вечером я зашел на нашу электрическую станцию. Помощник машиниста возился около паровой машины; дежурный у доски, повернувшись к доске спиною, читал «Петербургский листок». Иван неподвижно стоял у стены и пялил сонные глаза на ярко освещенные циферблаты вольтметров и амперметров.

Следом за мною вошел наш мастер. Засунув руки в карманы кожаной куртки, с папиросой в зубах, он остановился, посвистывая, в дверях. На лицах присутствующих мелькнула мимолетная улыбка, все насторожились.

Вдруг лицо мастера налилось кровью, глаза свирепо выкатились.

— Ванька, где мятла?! — гаркнул он.

Иван вздрогнул и быстро отделился от стены.

— Мятла... Мятла... — растерянно повторил он своим псковским говором. Он схватил стоявшую в углу метлу и стал быстро мести дощатый пол.

— Я на тебя, негодяй, десять рублей штрафу запишу! — орал мастер, топая ногами как сумасшедший. — Ты для чего тут приставлен, дубина стоеросовая?.. Это что? Это что?

И он указывал рукою на окурок, валявшийся около решетки динамо-машины.

— Подиять!.. Что за беспорядок?!

Я в изумлении смотрел. Что это тут за салонный паркет, на котором и окурку нельзя валяться? Кругом посмеивались.

Оказалось, дело было просто. Иван и на станции держался тем же деревенским обломом, совершенно не понимавшим всех тонкостей почтительности и подчинения; он и шапку снимал перед мастером, и не садился при нем, а все-таки во всей его манере держаться сквозило глубокое и несокрушимое чувство своего достоинства; смешно станет — захохочет и скажет, отчего ему смешно; обругают — огрызиется. Мастер взялся за его муштровку. Иван обратился для него в предмет забавы. Как только он замечал, что Иван стоит без дела, так сейчас же делал свирепое лицо и орал громовым голосом:

— Ванька, где мятла?!

Запуганный, сбитый с толку, Иван беспомощно и очумело метался теперь под тучею непрерывных начальственных окриков мастера. Пол электрической станции действительно превратился по своей чистоте чуть ли не в салонный паркет, но все-таки на нем всегда можно было найти соломинку, спичку или обрывок проволоки, из-за которых снова поднималась история.

Однажды, когда мастер в моем присутствии заорал на Ивана, я не выдержал.

— Простите, господин мастер, вы просто издеваетесь над человеком! — резко сказал я. — Если вы взыскиваете с метельщика за каждый окурок, так потрудились бы запретить тут курить...

— Что такое? В чем дело? — невинно и озабоченно спросил мастер, близко подходя ко мне.

— В том дело, что этот парень сюда не в шуты нанят, а вы из него потеху делаете для себя. Что ему, все время без перерыву пол мести, что ли?

— А это до вас касается? — с ядовитою почтительностью ответил мастер. — Ты что ж стоишь, негодяй?! — злобно крикнул он на остановившегося Ива-

на. — Это что?! Видишь, сор! Чтоб сейчас же чисто было!

Иван испуганно бросился мести. Своим вмешательством я только повредил ему. Мастер, недолюбливавший меня, еще свирепее набросился на Ивана, и что против него можно было сделать? Мастер следит за чистотою станции, — это его право и обязанность.

Иван весь был теперь олицетворением какого-то очумелого испуга и обратился во всеобщее посмешище даже для своих же товарищей чернорабочих. Ночью, когда он спал (спал он всегда как мертвец), какой-нибудь шутник подкрадывался к нему и во все горло гаркал в ухо:

— Ванька, где мятла?!

Иван вскакивал, как от пружинки.

— Мятла... мятла... — испуганно повторял он сквозь сон и начинал метаться по комнате, отыскивая метлу.

Дружный хохот приводил его в себя

Вскоре я уехал из Петербурга в Луганск. Года два я работал на южных заводах, потом воротился в Питер. Опять тот же завод на тракте, мастерские, разбросанные по широкому двору, приглядевшаяся электрическая станция.

Однажды вечером, сдав дежурство, я вышел из станции. Пошабашившие рабочие, с черными, маслянистыми лицами, в ожидании гудка толпились у выходных ворот. Сторожа в кожаных картузах неподвижно стояли у барьеров. Я присоединился к толпе.

Была метель; широкий заводской двор белел яркоголубым светом электрических фонарей; от станции неслось равномерное пыхтение, клубы пара, словно громадные, растрепанные белые птицы, метались под ветром по двору и проносились влево, за ярко освещенную механическую мастерскую.

Толпа прибывала. Старики стояли, устало сгорбившись, молодые нетерпеливо переминались и стучали ногою об ногу.

— Что ж гудка нету? Охрип, что ли? — сердито сказал стоявший передо мною слесарь, ежась и пряча руки в рукава.

— Чего прешь вперед? — ворчали сзади. — Видишь, люди стоят.

— Э, дура, боишься, каша дома перепреет?

— Нет, ребята, у него Манька нынче заждалась!

— Народу-то сколько, ба-атюшки! И кто их столько нарожал, чертей? — изумлялся кто-то.

В порывах метели носились и обрывались сальные шутки, ругательства. Нетерпение росло, увеличивавшаяся толпа напирала сзади и свободный круг перед воротами суживался. Отметчики ругались и осаживали народ назад.

К калитке прошел мастер литейной мастерской, толстый, с поднятым меховым воротником.

— Сторонись, ребята, начальство идет! — с ироническою почтительностью скомандовал кто-то.

— Брюхатое! — прибавил голос из толпы.

— Как бы, ребята, в калитке не застрял... Сторож, раскрой ворота!

Мастер не оборачивался и прятал голову в воротник, чувствуя на себе враждебное внимание принужденной ждать толпы.

Рядом со мною стоял токарь, лет сорока пяти, с черно-седою бородкою. Он сонно моргал глазами, и его худощавое лицо казалось при электрическом свете мертвенным; лицо было умное и хорошее, но глаза смотрели вяло, с глухим, глубоким равнодушием ко всему.

— Больно уж ты что-то уморился! — сказал я.

— С полночи работаю, — коротко ответил он.

— Что так?

— Прогулял два дня. Четыре рубля штрафу да четыре заработку — восемь целковых... Нужно навертывать... До полночи посплю, а там опять пойду ось точить.

— Все работать... Когда же жить?

Он устало махнул рукою.

— Наша жизнь уж пропита!

— Три дня этак проработаешь — опять запьешь.

— Понятное дело...

За станцией, дрожа и покрывая свист метели, оглушительно загудел гудок. Толпа колыхнулась и устремилась к барьерам. Ворота распахнулись.

Теснясь и спеша, рабочие пятью узкими потоками двигались между барьерами к воротам. У конца барьеров сторожа обыскивали выходящих, быстро проводя у каждого рукою спереди и сзади. Мы с соседом втиснулись в барьер и продвинулись к выходу. Перед

нами плотный и неуклюжий сторож тщательно и не торопясь ощупывал высокого рабочего.

— Да ты скоро? — сердито крикнул токарь.—Полчаса ждать тебя тут! Вшей, что ли, ты ищешь у него?

— Поговори у меня! — хладнокровно произнес сторож.

Он пропустил обысканного рабочего.

— Что стали? — крикнули сзади, напирая.

— Ну, дедо, держись!.. Дави, ребята!

— Черти! Кишки выдавили!..

Толпа стремительно наперла сзади и вытолкнула стоявшего впереди токаря, так что он проскочил мимо сторожа.

Сторож повернулся быстро и неуклюже, как медведь, поймал токаря за рукав, а другою рукою сорвал с него шапку и отбросил ее далеко в снег.

У токаря блеснули глаза.

— Ах ты негодяй! — крикнул он. — А если я с тебя шапку сорву?

— Знай порядок! Куда прешь? — грубо ответил сторож.

— Ступай подыми шапку! — яростно крикнул токарь, наступая на него.

Толпа грозно зароптала.

— А в контору хочешь? — выразительно спросил сторож.

— Вот тебе контора!

Токарь сорвал со сторожа картуз с бляхою и швырнул его навстречу метели.

Сторожа схватили токаря.

— Веди его в контору!

— Погодите, любезные, мы все в контору пойдем! — сказал я. — Мы там справимся, смеете ли вы с нас шапки срывать.

Старшего отметчика в проходной конторе не было: он как раз ушел за чем-то. Мы остановились в ожидании его у входа. Сторож стоял и крепко держал токаря за рукав.

— Не держи меня, я сам не уйду! — бешено крикнул токарь, вырывая руку.

— Ты у меня поговори! — пригрозил сторож и схватил его снова.

Сторож был теперь без шапки. Я вгляделся в него:

крупные губы, странно знакомое лицо под волосами в скобку...

— Ванька, да это ты?! — с удивлением воскликнул я.

— Вот те и Ванька! — грубо ответил сторож.

Наши показания не повели ни к чему. Токаря уволили с завода, а сторож остался. Массивный и неуклюжий, он стоит у ворот, застыв в тупом величии. Этакого грубого скота я еще не встречал. Думаю, недолго до того, что как-нибудь в укромном месте его изобьют до полусмерти.

— Да, вот те и Ванька!..

1900

НА ЭСТРАДЕ

Большая зала была ярко освещена. На широкой эстраде за столиком с двумя свечами сидел писатель Осокин и, напрягая слабый голос, читал по книге отрывок из своего рассказа. Зала была переполнена публикою, но в ней было тихо, как в безветренную сентябрьскую ночь в поле. Когда Осокин отводил взгляд от книги, он видел внизу смутное море голов и сотни внимательных глаз, устремленных на него...

Осокин был бледен. Читал он неразборчиво и плохо, и на душе у него было странно: он читал самое задушевное и дорогое для него из всего им написанного; перед ним живьем находился тот невидимый, далекий читатель, которого ему так всегда хотелось увидеть; а между тем то, что читал Осокин, в его собственных ушах звучало чуждо и фальшиво, а слушатели казались совсем не теми читателями, для которых он писал.

Ему все больше хотелось поскорее кончить. Он стал пропускать одни фразы, комкать другие. Вот наконец абзац, отчеркнутый синим карандашом... Конец!

Осокин закрыл книгу и встал. Море голов сразу всколыхнулось, со стен и с потолка с оглушительным треском как будто посыпалась штукатурка: это загремели рукоплескания. Осокин неуклюже поклонился и, кусая губы, с бледным злым лицом вышел через маленькую дверцу в «артистическую».

Из залы неслись рукоплескания. Перед зеркалом молодая декольтированная дама, которой предстояло петь после Осокина, дрожащими от волнения руками оправляла прическу. Отыгравшая уже толстая дама-пианистка внимательно смотрела на Осокина. За столом с закусками распорядители угощали и занимали артистов и артисток.

Господин средних лет, с черною бородкою и в золотом пенсне, подхватил Осокина под руку и, оживленно говоря что-то, сел с ним на диван. Осокин не знал, где и когда познакомился с господином, но тот держался с ним как хороший знакомый.

— С успехом!.. Вот это так успех! — говорил господин. — Слышите, как беснуются? Никому так не хлопали!.. Нужно выйти, раскланяться.

— Ну их к черту! — сердито ответил Осокин.

— Нельзя, Сергей Васильевич, нельзя! — произнес господин с улыбкою, с какою обращаются к милым, но ничего не понимающим детям. — Как-никак, а нужно уважать публику.

В артистическую вбежал распорядитель с розеткою в петлице.

— Всё вас зовут, кричат! — с почтительною улыбкою обратился он к Осокину.

— Пускай! Я не пойду! — упрашивающе сказал Осокин.

— Нет, нет, нет! Нельзя, никак нельзя! — неумолимо воскликнул господин в пенсне, шутливо взял Осокина под руку и заставил его встать.

Распорядитель приятно и почтительно улыбался.

— Барышни всю воду распили по глоткам из стакана, из которого вы отхлебнули во время чтения, — сказал он.

— Вот бабье! — презрительно усмехнулся Осокин, и углы его губ самодовольно задрожали.

Он вздохнул и пошел на эстраду. Зала загремела и заревела. Публика покинула места, теснилась вокруг эстрады и на самой эстраде. При входе Осокина толпа раздалась. Он видел вокруг свежие девические лица с устремленными на него блестящими, восторженными глазами.

— Осо-о-окин! Bis!! — зычным басом кричал высокий студент, старательно и оглушительно громко хлопая в ладоши.

— Bis! Bis! Осокин! — звенели женские голоса, и девушки хлопали, стараясь хлопать громче.

Осокин с сдержанною улыбкою неуклюже кланялся. Когда он повернулся, чтобы уйти, девушки загородили ему дорогу и, смеясь, продолжали хлопать и кричать «bis». Распорядитель высунулся и протянул Осокину книгу.

— Браво! Браво! Bi-i-i-is!! — радостно и еще сильнее закричали кругом.

Осокин, улыбаясь, развел руками и покорно раскрыл книгу.

— Шш-шш-шш!.. — понеслось по зале.

Он помолчал, сделал серьезное лицо и стал читать из книги другой отрывок. Теперь то дорогое ему и задушевное, что было им написано, казалось Осокину красивым и эффектным, и он гордился, что мог так написать; публика стала близкою и милою, и в то же время он испытывал к ней снисходительно-презрительное чувство.

Овации и вызовы тянулись долго. Осокин читал еще три раза и наконец объявил, что у него нет больше голоса. Только тогда публика стала понемногу утихать.

На эстраду вышла декольтированная певица, с трубочкою нот в руках, в сопровождении аккомпаниатора во фраке.

Dans le printemps de mes années
Je meure, victime de l'amour...[1] —

запела она. Осокин вместе с господином в золотом пенсне прошел через значительно обезлюдевшую залу в буфет. Здесь было людно и шумно.

— Что ж, чайку, что ли, выпьем? — сказал Осокин. — Займите местечко, а я пойду чай добывать. Тут лакеев не полагается.

Вокруг длинного стола теснилась толпа; стол был заставлен стаканами и тарелками с бутербродами; за самоваром две распорядительницы разливали чай. Осокин вмешался в толпу и стал осторожно протискиваться к столу. Окружающие почтительно кослились на него и давали дорогу; Осокин делал вид, что не за-

[1] На заре своей жизни умираю от любви... *(фр.)*

мечает обращенных на него взглядов, и старался держаться так, как будто и не подозревал, что кто-нибудь из окружающих знает его.

— Виноват! — с особенно предупредительною и извиняющеюся улыбкою говорил он, если задевал кого локтем или загораживал дорогу выбирающемуся из толпы.

Наконец Осокин добрался до стола и попросил два стакана чаю. Стоявшая рядом девушка в голубой кофточке, перетянутой широким кожаным поясом, обернулась на звук его голоса, узнала Осокина и, сделав безразличное лицо, быстро отвернулась. Распорядительница налила два стакана; Осокин потянулся к ним мимо своей соседки. С тем же неестественно безразличным лицом девушка взяла стаканы и передала их Осокину, своими озабоченно нахмуренными бровями показывая, что ей до него нет решительно никакого дела. И вдруг, в последний момент, когда Осокин брал из ее рук стаканы, девушка вспыхнула, в ее детски ясных глазах мелькнуло радостное смущение, и она быстро опустила глаза.

Осокин, скрывая улыбку, сел со стаканами к столику, где уже занял два места господин в пенсне. Подошли знакомые. Осокин разговаривал, чувствуя устремленные на себя со всех сторон внимательные взгляды. Эти взгляды совершенно парализовали все его обычные, естественные движения; тело стало пружинным, как у автомата. Осокин наблюдал за собою и с отвращением прислушивался к счастливому, довольному смеху, дрожавшему в глубине его груди.

Напившись чаю, они пошли в залу послушать балалаечников. Осокин переходил из рук в руки, с ним знакомились наперерыв. Господин в пенсне сообщил ему, что с ним желает познакомиться графиня Энтведер-Одер. Он подвел к ней Осокина. Графиня усадила его рядом с собою и, играя лорнетом, заявила, что она «большая поклонница его прелестных произведений» и что давно искала случая познакомиться с ним.

Часы шли. Осокин ходил по залам с скромно-приветливым видом принца, соблюдающего всем известное инкогнито. Он чувствовал этот свой скромно-гордый вид, и отвращение все больше охватывало его. Но овладеть собою он не мог, и ноги против воли

ступали по паркету с какою-то нелепою торжественностью. А кругом все по-прежнему — эти сотни устремленных на него почтительно-внимательных, любопытствующих взглядов.

На Осокина вдруг нашло странное настроение, которое иногда в людных местах неожиданно находило на него. Как будто что-то спало с его глаз, и все люди, даже близко знакомые, вдруг стали новыми, с какими-то странно-чуждыми и все выдающими лицами. И он с удивлением приглядывался к этим лицам и видел ярко отпечатанный на них душевный холод и беспросветное довольство собою. Что тянет этих людей к нему, и кто это сам он — этот мелкий, тщеславный человечек, гордящийся красотою и увлекательностью своего припечатанного к бумаге чувства?.. Осокин все сильнее чувствовал, что между ним и окружающими есть какая-то крепкая, тайная связь, есть безмолвное соглашение, которое каждый держал про себя и ни за что не высказал бы другому.

Вечер кончился. Толпа густым потоком повалила к выходу.

Осокин спустился в толпе по лестнице. Вдруг наверху, около перил, какой-то молодой сильный мужской голос крикнул на всю лестницу:

— Осо-окин!.. Ура!

Словно искра пробежала по всей веренице; раздался взрыв оглушительных рукоплесканий.

— Осо-окин!.. Осокин!..

Осокин, бледный и растерянный, остановился на площадке лестницы. Со всех сторон кричали:

— Спасибо!.. Спасибо вам!

Закусив губу и тяжело дыша, он молча смотрел на рукоплескавших и слушал обращенные к нему крики.

Рукоплескания становились гуще, сильнее и настойчивее. Толпа, спускавшаяся с площадки дальше по лестнице, остановилась и оборотилась к Осокину, загораживая ему дорогу. Все как будто ждали, чтоб Осокин сказал что-нибудь.

Осокин все больше бледнел и молча, не кланяясь, смотрел на кричавших. Что ему было сказать? Он знал, что́ в таких случаях следовало говорить; дрожащим от волнения голосом он должен был объявить, что эта минута — лучшая в его жизни, что она со-

ставляет самую высшую награду за его труд. Но Осокин чувствовал, напротив, что эта минута — нечто ужасное, что она болезненно-ярко осветила перед ним все те сомнения и колебания, которые давно уже нарастали в душе.

Глаза его блеснули. Он вскочил на подоконник и стал говорить.

— Шш-шш-шш!.. — нетерпеливо понеслось по лестнице. Вокруг стихло.

— Господа!.. — начал Осокин, задыхаясь. — Я вижу, я всем вам очень чем-то угодил. Мне хотелось бы выяснить, чем именно заслужил я те восторги и овации, которыми вы сегодня так щедро осыпали меня... Идет великая рать бойцов на великое освободительное дело. Я — рядовой этой рати, ну, может быть, один из ее... барабанщиков, что ли? Но разве такие почести, какие вы сегодня воздали мне, выпадают на долю простым барабанщикам? Нет, дело тут в чем-то другом... За что же вы благодарите меня? За «чудные звуки», за наслаждение, которое я даю вам своими... «прелестными произведениями»? В таком случае, господа, вы ошиблись адресом. Идите к тем, для кого эти «чудные звуки» составляют цель и высшую правду; для меня же они — высшая ложь, самое ужасное *проклятие* искусства, и благодарить меня за доставляемое наслаждение — это злая насмешка или обидное признание моего бессилия. Я вовсе не хотел доставлять вам наслаждение, — я хотел вас мучить, терзать... Но нет, вы и не скажете, что благодарите меня за доставляемое наслаждение, — по крайней мере большинство из вас. Вы благодарите меня, конечно, за те «чувства добрые», которые я пробудил в вас великою силою искусства.

Да, сила искусства велика, но сила его — вовсе не в способности пробуждать «добрые чувства». Проклятая и развращающая сила искусства заключается в том, что оно самым невероятным образом перерождает и уродует всякое чувство, всякое душевное движение, вызываемое действительностью. Художник замахивается на жизнь бичом, но в момент удара бич его превращается в мягкую гирлянду душистых ландышей. Он подносит к людским сердцам огонь, способный зажечь и двинуть камень, а людские сердца в ответ начинают тлеть чуть теплым огоньком мягкой

и бездеятельной душевной потрясенности. Подобно буферу вагона, искусство дает человеку возможность легко и приятно переживать все самые тяжелые душевные толчки. И вот за это-то буферное действие искусства вы в действительности так горячо и благодарите нас... Господа, будем говорить начистоту! Конечно, вас привлекает и захватывает в нас не красота. Чтó красота! Мы вам даем возможность переживать чувства посильнее и поприятнее чисто эстетических. Вы переживаете с нами два самых высших счастья, какие только знает жизнь, — счастье борьбы и счастье всезахватывающей любви к человеку. И как дешево можно от нас получить это счастье — для этого не нужно ни бороться, ни любить! Притом счастье это, обработанное нашими руками, так гладко, тепло и комфортабельно! В жизни оно гораздо более шероховато и более жгуче. Раненый боец, уверяю вас, совершенно не замечает своей красивой позы, а только ощущает ужасно неприятную боль в ране; когда человек гибнет в правой борьбе, он вовсе не окружен тем всеобщим сочувствием, которое возбуждается к нему в читателях нашим изображением этой борьбы.

О, счастье их велико — счастье побежденных и измученных, но горячо верящих в грядущую победу... Но это счастье отличается от вашего счастья больше, чем лесной пожар от потрескивающего в камине мирного огонька. Есть они, есть эти люди, суровые и бодрые, но — неужели это случайность? — как раз для них-то мы совершенно не нужны и в лучшем случае представляем лишь приятный десерт. А за десерт кто же станет так восторженно благодарить! Так благодарят лишь за хлеб, дающий жизнь... И вы благодарите нас именно за даваемую вам жизнь, которой нет в ваших собственных душах, за ту сытость, которую вы испытываете благодаря нам. Но ведь эта сытость — язва, насмерть убивающая душу, и получать за нее благодарности — самое тяжкое оскорбление!.. Чтó можете вы еще пережить в жизни? Художники — начиная с Толстого, Гюго, Достоевского и кончая нами, малыми, — дали вам легко и приятно пережить все самые тяжелые душевные катастрофы. И вы ими пресытились. Вы устали бороться, не боровшись, вы устали любить, не любивши. Вы все пережили бездеятельным чувством — и что же дивиться, что в суровой

жизни вы скисаетесь быстрее, чем молоко во время грозы?

«Все это жестоко и несправедливо, — скажете вы. — Мы чувствуем светлые искры, зароненные в наши сердца, и за эти-то искры и благодарим...» Но в таком случае позвольте, господа! В чем же проявились эти возжженные искры? Чем заслужили вы право благодарить за них и... и чем заслужил я право принимать ваши благодарности? Это-то последнее, может быть, самое важное из всего; самое важное то, что здесь мы с вами тесные союзники. Жизнь вызывает в нас порыв броситься в битву, а мы этот порыв претворяем в красивый крик и несем его к вам... Давно сказано: «Слово писателя есть его дело». Может быть! Но суть-то в том, что дело это все-таки остается лишь словом, и в душе мы с вами прекрасно понимаем всю чудовищную неестественность этого деласлова. Понимаем и молчим, потому что так выгоднее и приятнее. Там внизу дико бурлит и грохочет громадная жизнь. Наши арфы отзываются на этот грохот слабым, меланхолическим стоном и будят гармонический отклик в струнах ваших душ. Получается нежная, прекрасная музыка, и на душе становится тепло и уютно. Но неужели же вы не чувствуете, сколько душевного разврата в этой музыке, неужели вы не чувствуете, что принимать за нее благодарности стыдно? Нет, господа, простите, я не совсем еще потерял стыд, и вашей благодарности я не принимаю!..

1900

МАТЬ

Из записной книжки

Сегодня утром я шел по улицам Старого Дрездена. На душе было неприятно и неловко: шел я смотреть ее, прославленную Сикстинскую мадонну. Ею все восхищаются, ею стыдно не восхищаться. Между тем бесчисленные снимки с картины, которые мне приходилось видеть, оставляли меня в совершенном недоумении, чем тут можно восхищаться. Мне нравились только два ангелочка внизу. И вот, — я знал, —

я буду почтительно стоять перед картиною, и всматриваться без конца, и стараться натащить на себя соответственное настроение. А задорный бесенок будет подсмеиваться в душе и говорить: «Ничего я не стыжусь, — не нравится, да и баста!..»

Я вошел в Цвингер. Большие залы, сверху донизу увешанные картинами. Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть, и ищешь в путеводителе спасительных звездочек, отмечающих «достойное». Вот небольшая дверь в угловую северную комнату. Перед глазами мелькнули знакомые контуры, яркие краски одежд... *Она!* С неприятным, почти враждебным чувством я вошел в комнату.

Одиноко, в большой, идущей от пола золотой раме, похожей на иконостас, высилась у стены картина. Слева, из окна, полузавешанного малиновою портьерою, падал свет. На диванчике и у стены сидели и стояли люди, тупо-почтительно глазея на картину. «Товарищи по несчастью!» — подумал я, смеясь в душе. Но сейчас же я поспешил задушить в себе смех и с серьезным, созерцающим видом остановился у стены.

И вдруг — незаметно, нечувствительно — все вокруг как будто стало исчезать. Исчезли люди и стены. Исчез вычурный иконостас. Все больше затуманивались, словно стыдясь себя и чувствуя свою ненужность на картине, старик Сикст и кокетливая Варвара. И среди этого тумана ярко выделялись два лица — Младенца и Матери. И перед их жизнью все окружающее было бледным и мертвым... Он, поджав губы, большими, страшно большими и страшно черными глазами пристально смотрел поверх голов вдаль. Эти глаза видели вдали все: видели вставших на защиту порядка фарисеев, и предателя-друга, и умывающего руки чиновника-судью, и народ, кричащий: «Распни его!» Да, он видел этим проникающим взглядом, как будет стоять под терновым венцом, исполосованный плетьми, с лицом, исковерканным обидою, животною мукою, как там, через несколько зал, на маленькой картине Гвидо Рени...

И рядом с ним — она, серьезная и задумчивая, с круглым девическим лицом, со лбом, отуманенным дымкою предчувствия. Я смотрел, смотрел, и мне казалось: она живая, и дымка то надвигается, то схо-

дит с ее молодого, милого лица... А в уме бессмысленно повторялось начало прочитанной внизу подписи:

«Fece Rafaello a'monaci neri...»[1]

Из мертвого тумана женский голос спрашивал по-немецки:

— Что это там внизу, яйцо?

Мужской голос отвечал:

— Это папская тиара.

А дымка проносилась и снова надвигалась на чистый девический лоб. И такая вся она была полная жизни, полная любви к жизни и земле... И все-таки она не прижимала сына к себе, не старалась защитить от будущего. Она, напротив, грудью поворачивала его навстречу будущему. И серьезное, сосредоточенное лицо ее говорило: «Настали тяжелые времена, и не видеть нам радости. Но нужно великое дело, и благо ему, что он это дело берет на себя!» И лицо ее светилось благоговением к его подвигу и величавою гордостью. А когда свершится подвиг... когда он свершится, ее сердце разорвется от материнской муки и изойдет кровью. И она знала это...

Вечером я сидел на Брюлевской террасе. На душе было так, как будто в жизни случилось что-то очень важное и особенное. В воздухе веяло апрельскою прохладою, по ту сторону Эльбы береговой откос зеленел весеннею травкою. Запад был затянут оранжевою дымкою, город окутывался голубоватым туманом. По мосту через Эльбу, высоко, как будто по воздуху, пронесся поезд, выделяясь черным силуэтом на оранжевом фоне зари.

Я сидел, и вдруг светлая, поднимающая душу радость охватила меня, — радость и гордость за человечество, которое сумело воплотить и вознести на высоту *такое* материнство. И пускай в мертвом тумане слышатся только робкие всхлипывания и слова упрека,— есть Она, есть там, в этом фантастическом четырехугольнике Цвингера. И пока она есть, жить на свете весело и почетно. И мне, неверующему, хотелось молиться ей.

---

[1] «Сделано Рафаэлем для черных монахов» *(ит.)*.

Темиело. Я шел через площадь. На иебе рисовались два чериые, как будто закоптелые шпица церквн св. Софнн. Вот он и молчалнвый Цвннгер. Окна темны, внутрн тишина н безлюдье. И мие стало страино: неужелн н в той комиате может быть темно, неужели ее лнцо ие светится?

1902

ЗВЕЗДА

Восточная сказка

Это случилось в давиие времена, в далеком, неведомом краю.

Над краем царнла вечиая, черная ночь. Гиилые туманы поднималнсь над болотнстою землею и стлались в воздухе. Люди рождались, росли, любили и умнрали в сыром мраке.

Но иногда дыхаине ветра разгоняло тяжелые испарення земли. Тогда с далекого неба на людей смотрелн яркне звезды. Наступал всеобщий праздник. Люди, в одиночку сндевшие в темных, как погреб, жнлищах, сходилнсь на площадь н пели гимны небу. Отцы указывалн детям на звезды и учнли, что в стремлении к ннм — жизнь и счастье человека. Юиоши и девушкн жадно вглядывались в небо и неслись к иему душою нз давнвшего землю мрака. Звездам молнлись жрецы. Звезды воспевали поэты. Ученые нзучнли пути звезд, их число, величину и сделали важное открытие: оказалось, что звезды медленно, но иепрерывно приближаются к земле. Десять тысяч лет назад — так говорили вполие достоверные источннки — с трудом можно было различнть улыбку на лнце ребеика за полтора шага. Теперь же всякий легко различал ее за целых три шага. Не было иикакого сомнения, что через несколько миллиоиов лет небо засняет яркнмн огиями, и на земле иаступит царство вечного лучезарного света. Все терпелнво ждалн блаженного временн н с надеждою на него умнрали.

Так долгие годы шла жизнь людей, тихая и безмятежная, и согревалась она кроткою верою в далекие звезды.

Однажды звезды на небе горели особенно ярко. Люди толпились на площади и в немом благоговении возносились душою к вечному свету.

Вдруг из толпы раздался голос:

— Братья! Как светло и чудно там, в высоких небесных равнинах! А у нас здесь как сыро и мрачно! Томится душа моя, нет ей жизни и воли в вечной тьме. Чтó до того, что через миллионы лет жизнь наших дальних потомков озарится непреходящим светом? Нам, нам нужен этот свет. Нужен больше воздуха и пищи, больше матери и возлюбленной. Кто знает, быть может, есть путь к звездам. Быть может, мы в силах сорвать их с неба и водрузить здесь, среди нас, на радость всей земле. Пойдемте же искать пути, пойдемте искать света для жизни!

В собрании было молчание. Шепотом люди спросили друг друга:

— Кто это?

— Это — Адеил, юноша безрассудный и непокорный.

Опять было молчание. И заговорил старый Тсур, учитель умных, свет науки:

— Милый юноша! Всем нам понятна твоя тоска. Кто в свое время не болел ею? Но невозможно человеку сорвать с неба звезду. Край земли кончается глубокими провалами и безднами. За ними крутые скалы. И нет через них пути к звездам. Так говорят опыт и мудрость.

И ответил Адеил:

— Не к вам, мудрые, и обращаюсь я. Ваш опыт бельмами покрывает глаза ваши, и мудрость ваша ослепляет вас. К вам взываю я, молодые и смелые сердцем, к вам, кто еще не раздавлен дряхлою старческою мудростью!

И он ждал ответа.

Одни сказали:

— Мы бы рады пойти. Но мы свет и радость в очах родителей наших и не можем причинить им печали.

Другие сказали:

— Мы бы рады пойти. Но мы только что начали строить наши дома, и нам нужно достроить их.

Третьи сказали:

— Привет тебе, Адеил! Мы идем с тобою!

И поднялись многие юноши и девушки. И пошли за Адеилом. Пошли в темную, грозную даль. И тьма поглотила их.

Прошло много времени.

Об ушедших не было вести. Матери оплакали безрассудно погибших детей и жизнь потекла по-прежнему. Опять в сыром мраке родились, росли, любили и умирали люди с тихою надеждою, что через тысячи веков на землю низойдет свет.

Но вот однажды над темным краем земли небо слабо осветилось мелькающим светом. Люди толпились на площади и спрашивали:

— Что это там?

Небо с каждым часом светлело. Голубые лучи скользили по туманам, пронизывали облака, широким светом заливали небесные равнины. Угрюмые тучи испуганно клубились, толкались и бежали вдаль. Все ярче разливались по небу торжествующие лучи. И трепет небывалой радости пробегал по земле.

Пристально вглядывался в даль старый жрец Сатзой. И сказал задумчиво:

— Такой свет может быть только от вечной небесной звезды.

И возразил Тсур, учитель умных, свет науки:

— Но как могла звезда спуститься на землю? Нет нам пути к звездам, и нет звездам пути к нам.

А небо светлело, светлело. И вдруг над краем земли сверкнула слепяще яркая точка.

— Звезда! Идет звезда!

И в бурной радости побежали люди навстречу.

Яркие, как день, лучи гнали перед собою гнилые туманы. Разорванные, взлохмаченные туманы метались и приникали к земле. А лучи били по ним, рвали на части и вгоняли в землю. Осветилась и очистилась даль земли. Люди увидели, как широка эта даль, сколько вольного простору на земле и сколько братьев их живет во все стороны от них.

И в бурной радости бежали они навстречу свету.

По дороге тихим шагом шел Адеил и высоко держал за луч сорванную с неба звезду. Он был один.

Его спросили:

— Где же остальные?

Обрывающимся голосом он ответил:

— Все погибли. Прокладывали пути к небу сквозь провалы и бездны. И погибли смертью храбрых.

Ликующие толпы окружили звездоносца. Девушки осыпали его цветами. Гремели клики восторга:

— Слава Адеилу! Слава принесшему свет!

Он вошел в город, и остановился на площади, и высоко в руке держал сиявшую звезду. И по всему городу разлилось ликование.

Прошли дни.

По-прежнему ярко сияла на площади звезда в высоко поднятой руке Адеила. Но давно уже не было в городе ликования. Люди ходили сердитые и хмурые, потупив взоры, и старались не смотреть друг на друга. Когда им приходилось идти через площадь, глаза при виде Адеила загорались мрачною враждою. Не слышно было песен. Не слышно было молитв. На место разогнанных звездою гнилых туманов над городом невидимым туманом сгущалась черная, угрюмая злоба. Сгущалась, росла и напрягалась. И под гнетом ее нельзя было жить.

И вот с воплем выбежал на площадь человек. Горели глаза его, лицо исказилось от разрывавшей душу злобы. В безумии бешенства он кричал:

— Долой звезду! Долой проклятого звездоносца!.. Братья, разве не души всех вас вопят моими устами: долой звезду, долой свет,— он лишил нас жизни и радости! Мы мирно жили во мраке, мы любили наши милые жилища, нашу тихую жизнь. И смотрите, что такое случилось? Пришел свет,— и нет уж отрады ни в чем. Грязными, уродливыми кучами теснятся дома. Листья деревьев бледны и склизки, как кожа на брюхе лягушки. Посмотрите на землю,— она вся покрыта кровавою грязью. Откуда эта кровь, кто знает? Но она липнет к рукам, ее запах преследует нас за едою и во сне, он отравляет и обессиливает наши смиренные молитвы к звездам. И нигде нет спасения от дерзкого, всепроникающего света! Он врывается в наши дома, и вот мы видим: все они облеплены грязью; грязь въелась в стены, затянула окна, вонючими кучами громоздится в углах. Мы больше не можем целовать наших возлюбленных: при свете Адеиловой звезды

они стали отвратительнее могильных червей; глаза их бледны, как мокрицы, мягкие тела покрыты пятнами и отливают плесенью. И друг на друга уж не можем мы больше смотреть, — не человека видим мы перед собою, а поругание человека... Каждый наш тайный шаг, каждое скрытое движение освещает неумолимый свет. Невозможно жить! Долой звездоносца, да погибнет свет!

И подхватили другие:

— Долой! Да живет тьма! Только горе и проклятие приносит людям свет звезд... Смерть звездоносцу!

И грозно заволновалась толпа. И бешеным ревом старалась опьянить себя, задушить ужас перед великою хулою своею на свет. И двинулась на Адеила.

Но смертельно ярко сияла звезда в руке звездоносца, и люди не могли подойти к нему.

— Братья, стойте! — вдруг раздался голос старого жреца Сатзоя. — Тяжкий грех берете вы на душу, проклиная свет. Чему мы молимся, чем мы живем, как не светом? Но и ты, сын мой, — обратился он к Адеилу, — и ты совершил не меньший грех, снесши звезду на землю. Правда, великий Брама сказал: «Блажен, кто стремится к звездам». Но дерзкие своею мудростью люди неправильно поняли слово Всемирночтимого. Ученики учеников его растолковали истинный смысл темного слова Всемудрого: к звездам человек должен стремиться лишь помыслами, а на земле тьма столь же священна, как на небе свет. И вот эту-то истину презрел ты своим вознесшимся умом. Раскайся же, сын мой, брось звезду, и да воцарится на земле прежний мир!!

Усмехнулся Адеил.

— А ты думаешь, если я ее брошу, мир на земле не погиб уже навеки?

И с ужасом почуяли люди, что правду сказал Адеил, что прежний мир уже не воротится никогда.

Тогда выступил вперед старый Тсур, учитель умных, свет науки.

— Безрассудно поступил ты, Адеил, и сам видишь теперь плоды твоего безрассудства. По законам природы жизнь развивается медленно. И медленно приближаются в жизни далекие звезды. При их постепенно приближающемся свете постепенно перестраивается и жизнь. Но ты не хотел ждать. Ты на свой страх со-

рвал звезду с неба и ярко осветил жизнь. Что же получилось? Вот она кругом перед нами,—грязная, жалкая и уродливая. Но разве мы раньше не догадывались, что она такова? И разве в этом была задача? Не велика мудрость сорвать с неба звезду и осветить ею уродства земли. Нет, возьмись за черную, трудную работу переустройства жизни. Тогда ты увидишь, легко ли очистить ее от накопившейся веками грязи, можно ли смыть эту грязь хотя бы целым морем самого лучезарного света. Сколько в этом детской неопытности! Сколько непонимания условий и законов жизни! И вот вместо радости ты принес на землю скорбь, вместо мира — войну. А ты мог бы, и теперь можешь быть полезным жизни: разбей звезду, возьми из нее лишь осколок, — и осколок этот осветит жизнь как раз настолько, сколько нужно для плодотворной и разумной работы над нею.

И ответил Аденл:

— Ты верно сказал, Тсур! Не радость принесла сюда звезда, а скорбь, не мир, а войну. Не этого ждал я, когда по крутым скалам карабкался к звездам, когда вокруг меня обрывались и падали в бездну товарищи... Я думал: хоть один из нас достигнет цели и принесет на землю звезду. И в ярком свете наступит на земле яркая, светлая жизнь. Но когда я стоял на площади, когда я при свете небесной звезды увидел вашу жизнь, я понял, что безумны были мои мечты. Я понял: свет нужен вам лишь в недосягаемом небе, чтоб преклоняться перед ним в торжественные минуты жизни. На земле же вам всего дороже мрак, чтоб прятаться друг от друга, и, главное, радоваться на себя, на свою темную, проеденную плесенью жизнь. Но еще больше, чем прежде, почуял я, что невозможно жить этою жизнью. Каждой каплею своей кровавой грязи, каждым пятном сырой плесени она немолчно вопиет к небу... Впрочем, могу вас утешить: светить моей звезде недолго. Там, в далеком небе, висят звезды и светят сами собою. Но сорванная с неба, снесенная на землю звезда может светить, лишь питаясь кровью держащего ее. Я чувствую, жизнь моя, как по светильне, поднимается по телу к звезде и сгорает в ней. Еще немного, и жизнь моя сгорит целиком. И нельзя никому передать звезду: она гаснет вместе с жизнью несущего ее, и каждый должен добывать

звезду вновь. И к вам обращаюсь я, честные и смелые сердцем. Познав свет, вы уж не захотите жить во мраке. Идите же в далекий путь и несите сюда новые звезды. Долог и труден путь, но все-таки для вас он будет уж легче, чем для нас, впервые погибших на нем. Тропинки проложены, пути намечены. И вы воротитесь со звездами, и не иссякнет больше их свет на земле. А при неугасающем их свете невозможною станет такая жизнь, как теперь. Высохнут болота. Исчезнут черные туманы. Ярко зазеленеют деревья. И те, которые теперь в ярости кидаются на звезду, волею-неволею возьмутся за переустройство жизни. Ведь и вся злоба их теперь оттого, что при свете, — они чувствуют, — им невозможно жить так, как они живут. И жизнь станет великою и чистою. И прекрасна будет она при лучезарном свете питаемых нашею кровью звезд. А когда наконец опустится к нам звездное небо и осветит жизнь, то застанет людей достойными света. И тогда уж не нужна будет наша кровь, чтоб питать этот вечный, непроходящий свет...

Голос Адеила оборвался. Последние кровинки сбежали с бледного лица. Подогнулись колени звездоносца, и он упал. Упала вместе с ним звезда. Упала, зашипела в кровавой грязи и погибла.

Ринулась со всех сторон черная тьма и замкнулась над погасшею звездою. Поднялись с земли ожившие туманы, заклубились в воздухе. И жалкими, робкими огоньками светились сквозь них на далеком небе далекие, бессильные и неопасные звезды.

Прошли годы.

По-прежнему в сыром мраке рождались, росли, любили и умирали люди. По-прежнему мирною и спокойною казалась жизнь. Но глубокая тревога и неудовлетворенность подтачивали ее во мраке. Люди старались и не могли забыть того, что осветила мимолетным своим светом яркая звезда.

Отравлены были прежние тихие радости. Ложь въелась во все. Благоговейно молился человек на далекую звезду и начинал думать: «А вдруг найдется другой безумец и принесет звезду сюда, к нам?» И язык заплетался, и благоговейное парение сменялось трусли-

вою дрожью. Отец учил сына, что в стремлении к звездам — жизнь и счастье человека. И вдруг мелькала мысль: «А ну как в сыне и вправду загорится стремление к звездному свету, и, подобно Аделу, он пойдет за звездою и принесет ее на землю!» И отец спешил объяснить сыну, что свет, конечно, хорош, но безумно пытаться низвести его на землю. Были такие безумцы, и они бесславно погибли, не принесши пользы для жизни.

Этому же учили людей жрецы. Это же доказывали ученые. Но напрасно звучали проповеди. То и дело разносилась весть, что некий юноша или некая девушка ушли из родного гнезда. Куда? Не по пути ли, указанному Аделом? И с ужасом чувствовали люди, что если опять засияет на земле свет, то придется волею-неволею взяться наконец за громадную работу, и нельзя будет уйти от нее никуда.

Со смутным беспокойством вглядывались они в черную даль. И казалось им, что над краем земли уж начинает мелькать трепещущий отсвет приближающихся звезд.

1903

ДВА КОНЦА

I

КОНЕЦ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА

I

Был вечер субботы. Переплетный подмастерье Андрей Иванович Колосов, в туфлях и без сюртука, сидел за столом и быстро шерфовал куски красного сафьяна. Его жена, Александра Михайловна, клеила на комоде гильзы для переплетов. Андрей Иванович уже пять дней не ходил в мастерскую: у него отекли ноги, появилась одышка и обычный кашель стал сильнее. Все эти дни он мрачно лежал в постели, пил дигиталис и придирался к Александре Михайловне. Сегодня отеки совершенно спали, и Андрей Иванович

почувствовал себя настолько лучше, что принялся за работу, которую взял с собой из мастерской на дом.

Александра Михайловна с утра зорко следила за его настроением: ей нужно было иметь с ним один важный разговор, и она выжидала для этого благоприятного случая; все время она была очень предупредительна к Андрею Ивановичу, старалась предугадать его малейшее желание.

В комнату вошла шестилетняя Зина, дочь Колосовых, в накинутом на голову большом материном платке. Она передала матери полубутылку коньяку.

— Хозяин велел сказать, что в последний раз дает в долг, — шепотом сказала она, робко косясь на спину Андрея Ивановича.

Александра Михайловна мигнула ей, чтоб она молчала, и стала накрывать на стол. Достала остатки обеда, подала самовар и заварила чай.

— Ну, Андрюша, довольно работать! Иди ужинать.

Александра Михайловна подошла к Андрею Ивановичу и, поколебавшись, поцеловала его в голову: она не была уверена, в настолько ли хорошем расположении Андрей Иванович, чтобы позволить ей это.

Андрей Иванович терпеливо снес поцелуй и пересел к столу. Увидев коньяк, он просиял.

— Вот спасибо, Шурочка, что припасла, — с умилением произнес он. — Недурно коньячку теперь выпить.

Андрей Иванович опрокинул в рот рюмку, с наслаждением крякнул и взял кусок солонины.

— Э-эх! Ей-богу, как выпьешь рюмочку, то как будто душа в раю находится... Дай-ка хрену!

Они стали ужинать. Зина ела молча; когда Андрей Иванович обращался к ней с вопросом, она вспыхивала и спешила ответить, робко и растерянно глядя на отца: вчера Андрей Иванович жестоко высек Зину за то, что она до восьми часов вечера бегала по двору. Вчера всем досталось от Андрея Ивановича: жене он швырнул в лицо сапогом, квартирную хозяйку обругал; теперь он чувствовал себя виноватым и был особенно мягок и ласков.

— Что же это Ляхов не идет? — спросила Александра Михайловна. — Обещал сейчас же с получки деньги занести, а до сих пор нет.

— Ну, где же сразу! Раньше в «Сербию» нужно зайти, выпить. Ему порядок известен.

Пришла от всенощной квартирная хозяйка. Соседка Колосовых, папиросница Елизавета Алексеевна, воротилась с фабрики. Сквозь тонкую дощатую стену слышно было, как она переодевалась.

— Александра Михайловна, можно у вас кипятку раздобыться? — спросила она сквозь стену.

— Пожалуйста, Лизавета Алексеевна!

В комнату вошла невысокая девушка с очень бледным лицом и строгими, неулыбающимися глазами.

Андрей Иванович конфузливо поздоровался. Елизавета Алексеевна сурово пожала его руку и, отвернувшись, заговорила с Александрой Михайловной. Андрей Иванович чувствовал себя неловко: Елизавета Алексеевна была вчера дома, когда он бросил в Александру Михайловну сапогом.

— Вы бы, Лизавета Алексеевна, напились чаю с нами, — сказал он. — Что вам там одним пить.

— Спасибо. Мне еще к завтраму сочинение нужно писать.

— Ну, что сочинение! Напьетесь и сядете писать.

— Я вместе с чаем буду писать. — Елизавета Алексеевна налила в чайник кипятку. — Как ваше здоровье? — спросила она, не глядя на Андрея Ивановича.

— Слава богу, поправляюсь. Хочу в мастерскую идти. В понедельник — Сретенье, во вторник, значит, и пойду. Пора, а то все лежу... Вон и жена всякое уважение теряет: сейчас в макушку меня поцеловала, как вам это нравится!

— Это я любя тебя, — улыбнулась Александра Михайловна.

— А я остался недоволен. Что же это такое, если жена мужа в макушку целует? Это значит — жена выше мужа; ну, а это власть вполне неуместная, хе-хе!

Елизавета Алексеевна ушла, Андрей Иванович потянулся.

— Поработаю еще немножко, пока Ляхов придет. Ты не убирай самовара.

Он сел к столу, поточил нож о литографский камень и снова взялся за работу. Александра Михай-

ловна подсела к столу с другой стороны и стала резать бумагу для гильз. Помолчав, она заговорила:

— К Корытовым в угол новая жиличка въехала. Жена конторщика. Конторщик под новый год помер, она с тремя ребятами осталась. То-то бедность! Мебель, одежду — все заложили, ничего не осталось. Ходит на водочный завод бутылки полоскать, сорок копеек получает за день. Ребята рваные, голодные, сама отрепанная.

Александра Михайловна украдкою взглянула на Андрея Ивановича. Андрей Иванович недовольно сдвинул брови: по тону Александры Михайловны он сразу заметил, что у нее есть какая-то задняя мысль.

Она продолжала:

— Говорит мне: то-то дура я была! Замужем жила, ни о чем не думала. Ничего я не умею, ничему не учена... Как жить теперь? Хорошо бы кройке научиться, — на Вознесенском пятнадцать рублей берут за обучение, в три месяца обучают. С кройкой всегда деньги заработаешь. А где теперь учиться? О том только и думаешь, чтоб с голоду не помереть.

Андрей Иванович с усмешкою спросил:

— Тебе-то какая печаль? Все сплетни в домах знаешь, кто что делает. Настоящая гаванская чиновница! Видно, самой делать нечего.

— «Какая печаль»... Будет печаль, как самой придется бутылки полоскать, — сказала Александра Михайловна, понизив голос.

Андрей Иванович выдохнул воздух через ноздри и взглянул на Александру Михайловну.

— Послушай, Саша, опять ты этот разговор заводишь? — угрожающе произнес он. — Я тебе уж раз сказал, чтоб ты не смела со мною об этом говорить. Я это запретил тебе, понимаешь ты это или нет?

— Андрюша, ну, ты подумай же сам! Ты вот все хвораешь, — ведь не ровен час, все может случиться. Куда я тогда денусь и что стану с ребенком делать?

— Ах, оставь ты, пожалуйста, свои глупости! Ты все хочешь доказать, что у меня чахотка. Никакой у меня чахотки нет, просто хроническое воспаление легких, мне сам доктор сказал. Вот придет лето, поживу в Лесном, и все пройдет.

— Так почему же мне все-таки не поучиться, пока есть время?

— Потому, что твое дело — хозяйство. У тебя и так все не в порядке: посмотри, какой самовар грязный, посмотри, какая пыль везде. Словно в свином хлеве живем, как мужики! Ты лучше бы вот за этим смотрела!

Александра Михайловна замолчала. Андрей Иванович, сердито нахмурившись, продолжал шерфовать. Его огромная, всклокоченная голова с впалыми щеками мерно двигалась взад и вперед, лезвие ножа быстро скользило по камню, ровно спуская края сафьяна.

— Тебе же бы от этого помощь была, — снова заговорила Александра Михайловна. — Ты вот все меньше зарабатываешь: раньше семьдесят — восемьдесят рублей получал, а нынче хорошо, как сорок придется в месяц, да и то когда не хвораешь; а теперь и совсем пустяки приносишь; хозяин вон вперед уж и давать перестал, а мы и в лавочку на книжку задолжали, и за квартиру второй месяц не платим; погребщик сегодня сказал, что больше в долг не будет отпускать. А тогда бы все-таки помощь была тебе.

— Саша! Ради бога, оставь ты говорить о том, чего не понимаешь, — сказал Андрей Иванович, стараясь сдержаться. — Я работаю с утра до вечера, содержу тебя, — могу же я иметь хоть то удовольствие, чтоб обо мне заботились! Я хочу, чтоб у меня дома был обед, чтоб мне давали с собой готовый фрыштик. А твои гроши никому не нужны, я и без тебя обойдусь. Ты прежде всего должна быть порядочной женщиной; а если женщина поступает в работу, то ей приходится забыть свой стыд и стать развратной, иначе она ничего не заработает. Ты этого не знаешь, а я довольно насмотрелся в мастерской на девушек и очень много понимаю.

— А вот Елизавета Алексеевна ведь тоже работает.

— Елизавета Алексеевна не тебе чета.

— Так позволь мне хоть в воскресную школу с нею ходить: я еле писать умею. Ум никогда не помешает.

— Тебе ум будет только мешать, — сердито сказал Андрей Иванович.

— Ум никогда никому не может мешать, — упрямо возразила Александра Михайловна.

— Саша, ну, я наконец... прошу! — грозно и выразительно произнес Андрей Иванович. — Замолчи, ради бога! Что-то ты уж и теперь больно умна стала.

Александра Михайловна заволновалась и быстро заговорила:

— А вон прошлое воскресенье ты весь день с каким-то оборванцем пропутался. По всему видно, — жулик, ночлежник, а ты ему пальто отдал.

Андрей Иванович с презрением следил за логическими скачками Александры Михайловны.

— «Жулик»! Который человек беден, тот и называется жулик. А пальто мне не нужно, потому что у меня другое есть, новое.

— Можно было татарину продать; полтора рубля дал бы, а то и два. Нам деньги самим нужны.

— Ты все ценишь на деньги. Деньги — вздор, хлам! Ты говоришь о деньгах, а я говорю о человеке, о честности. Ты одно, а я другое. Он — бывший переплетчик, значит, мой товарищ, а товарищу я всегда отдам последнее.

— Он все равно пропьет пальто.

— Это тебе неизвестно. Мы только с тобою — хорошие люди, а все остальные — жулики, дрянь!

— Ты вот все разным оборванцам отдаешь...

Андрей Иванович грозно крикнул:

— Да замолчишь ли ты наконец?! Чучело!

— Работать ты мне не позволяешь, а сам о нас не заботишься. Смотри, — у ребенка совсем калоши продырявились, а погода мокрая, тает; шубенка вся в лохмотьях, как у нищей; стыдно на двор выпустить девочку.

Андрей Иванович положил нож, скрестил руки на груди и стал слушать Александру Михайловну.

— Тогда бы ты уж должен больше о нас заботиться... На черный день у нас ничего нету. Вон, когда ты у Геббарда разбил хозяйской кошке голову, сколько ты? — всего два месяца пробыл без работы, и то чуть мы с голоду не перемерли. Заболеешь ты, помрешь,— что мы станем делать? Мне что, мне-то все равно, а за что Зине пропадать? Ты только о своем удовольствии думаешь, а до нас тебе дела нет. Товарищу ты последний двугривенный отдашь, а мы хоть по миру иди; тебе все равно!

Александра Михайловна вдруг оборвала себя. Ан-

дрей Иванович смотрел тяжелым, неподвижным взглядом, в его зрачках горело то дикое бешенство, перед которым Александра Михайловна всегда испытывала прямо суеверный ужас.

— Я тебе говорю, чтобы ты мне никогда не смела говорить того, что ты мне сейчас сказала, — сдавленным голосом произнес Андрей Иванович. — Я это запрещаю тебе!!! — вдруг рявкнул он и бешено ударил кулаком по столу. — Погань ты этакая! От чьих трудов ты такая гладкая и румяная стала? Я для вас надрываюсь над работою, а ты решаешься сказать, что я о вас не думаю, что мне все равно?

Александра Михайловна была бледна. В ее красивых глазах мелькнуло что-то тупое, упрямое и злобное.

— А зачем же ты тогда...

— Молчать!!! — гаркнул Андрей Иванович и вскочил на ноги. Он быстро оглядел стол, ища, чем бы запустить в Александру Михайловну.

В дверь раздался стук. Елизавета Алексеевна приотворила дверь.

— Александра Михайловна, можно у вас еще кипятку взять?

— Пожалуйста, Лизавета Алексеевна, — обычным голосом ответила Александра Михайловна.

Андрей Иванович загородил собою дверь.

— Кипятку нет, самовар остыл.

Елизавета Алексеевна вспыхнула.

— Простите! — И она закрыла дверь.

Андрей Иванович, стиснув зубы, молча заходил по комнате.

— Что у тебя до сих пор Зина не уложена? — грубо сказал он. — Уже одиннадцатый час. Убери самовар. Ляхов не придет.

Андрей Иванович сел к столу и налил себе коньяку. Выпил рюмку, потом другую. Александра Михайловна видела, что он делает это назло ей, так как она уговаривала его не пить много. Если он теперь напьется, ей несдобровать.

Она молча уложила Зину, убрала самовар. Потом тихо, стараясь не шуметь, разделась и легла на двуспальную кровать, лицом к стене.

Андрей Иванович сидел у стола, положив кудлатую голову на руку и устремив блестящие глаза в ок-

но. Он был поражен настойчивостью Александры Михайловны: раньше она никогда не посмела бы спорить с ним так упорно; она пытается уйти из-под его власти, и он знает, чье тут влияние; но это ей не удастся, и он сумеет удержать Александру Михайловну в повиновении. Однако, чтоб не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого себя.

Небольшая лампа с надтреснутым колпаком слабо освещала коричневую ситцевую занавеску с выцветшими разводами; на полу валялись шагреневые и сафьянные обрезки. В квартире все спали, только в комнате Елизаветы Алексеевны горел свет и слышался шелест бумаги. Андрей Иванович разделся и лег, но заснуть долго не мог. Он кашлял долгим, надрывающим кашлем, и ему казалось, что с этим кашлем вывернутся все его внутренности.

II

Ляхов явился на следующий день после обеда.

Андрей Иванович лежал на кровати злой и молчаливый: Александра Михайловна подала к обеду только три ломтика вчерашней солонины; когда Андрей Иванович спросил еще чего-нибудь, она вызывающе ответила, что больше ничего нет, так как нигде не верят в долг; это была чистейшая выдумка, — при желании всегда можно было достать. Андрей Иванович ничего не сказал, но запомнил себе дерзость Александры Михайловны.

Ляхов пришел немного навеселе. Это был стройный и сильный парень, с мускулистым затылком и беспечным удалым взглядом. Нос его был залеплен поперек кусочком пластыря.

— Василий Васильевич, что это? Где вы себе нос ушибли? — встретила его Александра Михайловна, скрывая улыбку.

Ляхов поздоровался и потрогал указательным пальцем пластырь.

— Это у меня вчера на Тучковом мосту с одной барышней недоразумение вышло. — Он поднял брови и почесал затылок.

Оживившийся Андрей Иванович спустил ноги и сел на кровати.

— «Недоразумение!..» — засмеялся он.

— Действием! Недоразумение действием, — пояснил Ляхов. — Увязался за нею, стал ей комплименты говорить... А она...

— Ай-ай-ай! — Александра Михайловна смеялась и качала головой. — Погодите, вот увижу Катерину Андреевну, я ей расскажу, что вы вчера на Тучковом мосте делали.

Катерина Андреевна, работница картонажной мастерской, была сожительница Ляхова.

— Ну что, как здоровье твое? — обратился Ляхов к Андрею Ивановичу, став серьезным.

— Поправляюсь понемножку. После Сретенья выйду на работу. Что в мастерской у нас хорошенького?

Ляхов неохотно ответил:

— Что хорошенького! Все то же!.. Деньги принес тебе.

Он достал из кошелька четыре рубля пятьдесят копеек и подал Андрею Ивановичу.

— Ни копейки вперед не дает хозяин. Мы уже с Ермолаевым поругались с ним за тебя... Уперся: нет! Такой жох.

Андрей Иванович пересчитал деньги и сумрачно сунул их в карман жилетки. Ляхов быстро спросил:

— Тебе, Андрей, деньжат не нужно ли? У меня есть.

— Ну, вот еще! Нет, мне не нужно, — поспешно и беззаботно ответил Андрей Иванович. — Что ж, в «Сербию», что ли, пойдем?

Он отозвал Александру Михайловну в кухню, отдал ей четыре рубля, а себе оставил пятьдесят копеек.

— Андрюша, ты б лучше не ходил, — просительно сказала Александра Михайловна. — Ведь тебе нельзя пить, доктор запретил!

— Это ты меня, что ли, учить будешь, как я обязан поступать? — злобно ответил Андрей Иванович и воротился к Ляхову.

В «Сербии», по случаю праздника, было людно и шумно. Половые шныряли среди столов; из «чистого» отделения неслись звуки органа, гремевшего марш

тореадоров из «Кармен»; ярко освещенный буфет глядел уютно и приветливо.

У Андрея Ивановича сразу стало весело на душе. Целую неделю он провел дома, в опротивевшей обстановке, в мелких и злобных дрязгах с Александрой Михайловной. Теперь от шумной веселой толпы, от всей любимой, привычной атмосферы «Сербии» на него пахнуло волею и простором.

Андрей Иванович и Ляхов прошли в заднюю комнату, где всегда можно было встретить знакомых. Они сели к столику около камина, украшенного большим тусклым зеркалом в позолоченной раме, и заказали полдюжины портеру.

Ляхов расказывал о своем вчерашнем романе на Тучковом мосту. Подошел знакомый артельщик, Иван Иванович Арсентьев, солидный человек с цыганским лицом и с зонтиком; Андрей Иванович усадил его к своему столу.

— Да мне, собственно, уж идти пора, — возражал Арсентьев.

— Ну, ну, пустяки какие! Выпьете стаканчик портеру и пойдете. За ваше здоровье!

Они чокнулись втроем и выпили. Андрей Иванович сейчас же снова налил стаканы.

— Что это, никак у тебя новая палка? — обратился он к Ляхову. — С обновочкой! Покажи-ка!

— Палочка, брат... сенаторская! — с гордостью ответил Ляхов. Он поднял палку, с силою махнул ею в воздухе. Палка была крепкая и гладкая, с массивной головкой, вся из черного дерева.

Андрею Ивановичу она очень понравилась; он любил хорошие вещи.

— Хороша палочка! Дай поправлюсь немножко, обязательно заведу такую... А-а, Муравейчик, здравствуй! — вдруг рассмеялся Андрей Иванович. — Куда бежишь? Садись с нами, выпьем, — расходы пополам!

«Муравейчик» — молодой переплетный подмастерье Картавцов — торопливо проходил через комнату, держа под мышкой две бутылки пива.

— Не могу, Андрей Иванович, гости дома, — ответил он поспешно.

Андрей Иванович, смеясь, оглядывал приземистую фигуру Картавцова с выгнутыми ногами и круглой стриженой головой на короткой шее.

— Ну, ну, какие там гости, все ты врешь! «Гости»!.. Кто же для гостей две бутылки ставит?.. Придет он домой, — обратился Андрей Иванович к Арсентьеву, — запрутся вдвоем с женою и выпьют пиво, вот им и праздник!

— Ей-богу, Андрей Иванович, тетка из Твери приехала, — скороговоркой произнес Картавцов и поспешил к выходу, переваливаясь на ходу и шевеля лопатками.

Ляхов вдогонку крикнул:

— Ты бы для тетки-то на третью бутылку раскошелился!

— Ей-богу, чудачок! — засмеялся Андрей Иванович, обратившись к Арсентьеву.— Я его Муравейчиком называю. Никогда ни копейки не поставит на угощение! Работает, работает, суетится,— в субботу всю получку домой несет. Жена у него такая же,— коротенькая, крепкая, тоже у нас работает в мастерской... Принесут домой деньги — считают, рассчитывают: это вот на керосин, это на сахар, это в сберегательную кассу... Настоящие немцы! Кто заболеет из товарищей или помрет,— подойдешь к нему с подписным листом... «Я... я потом!» — и убежит; а потом в самом конце листа мелко-мелко напишет: «Григорий Картавцов — десять копеек»... Вот Васька, он у нас молодчина! — сказал Андрей Иванович и хлопнул Ляхова по коленке.— Ни над чем для товарища не задумается... Будь здоров, Васька! За товарищество!

Они выпили уже по четыре стакана. У Андрея Ивановича слегка затуманилось в голове и на душе стало тепло. Он с довольной улыбкой оглядывал посетителей, и все казались ему приятными и симпатичными.

В дверях показался невысокий, худощавый человек с испитым, развязным лицом и рыжеватыми, торчащими усами; картуз у него был на затылке, пальто внакидку: под мышкой он держал цитру в холщовом мешке. Вошедший остановился на пороге и, посвистывая сквозь зубы, оглядел комнату.

— Сенька! — окликнул его Андрей Иванович.— Иди скорее к нам! Вот нам кого не хватало! Иди, садись!.. Это, господа, Захаров, бывший переплетчик. Он нам такую музыку изобразит на цитре! И сыграет и споет,— все вместе... Голубчик, как я рад! Садись! — повторял Андрей Иванович и тряс руку Захарова.

Захаров положил мешок под стул, сел и уперся руками в колени. Ляхов встрепенулся и щелкнул пальцами.

— Эге! На цитре играете? Тащите цитру!

— Да неохота чтой-то играть,— ответил Захаров и предупредительно принял из рук Андрея Ивановича стакан портера.

— Ну, неохота! Всячески ты же нам должен сыграть... Пей, пей раньше!

Андрей Иванович ужасно обрадовался Захарову: это был тот самый «оборванец», которому Андрей Иванович подарил пальто и который, по уверению Александры Михайловны, обязательно должен был его пропить; между тем пальто было на нем.

— Чего там — «неохота»!.. Валяй!..

Ляхов вытаращил глаза и, размахивая рукою, запел басом:

Давно готова лодка,
Давно я жду тебя...

Захаров отнекивался. Только после долгих упрашиваний он вынул цитру и, разложив на столе, стал настраивать. Арсентьев, солидно опершись на зонтик, брезгливо оглядывал его отрепанный пиджачишко и дырявые штиблеты.

Захаров взял несколько аккордов, тряхнул волосами, закинул голову и запел тонким, очень громким фальцетом:

Смотря на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегу Невы...

Взгляды присутствующих обратились на него. Захаров пел с чувствительным дрожанием и медленно поводил закинутой головою. Подошел отставной чиновник, худой, с жидкой бородкою и красными, мягко смотрящими глазами. Он умиленно сказал:

— Как ты, милый мой, славно играешь! Ну-ка, вот тебе на струны!

Чиновник протянул пятиалтынный. Захаров кивнул головою, сунул монету в жилетный карман и залился еще слаще:

До гроба вы клялись любить поэта...
Страшась людей, боясь людской молвы,
Вы не исполнили священного обета,
Свою любовь — и ту забыли вы...

Чиновник слушал и оглядывал окружающих влажными, умиленными глазами.

— Самодельный инструмент-то! — обратился он к Андрею Ивановичу.

Андрей Иванович с гордостью ответил:

— Он у нас на все руки мастер... Садитесь, пожалуйста, к нам,— что же вам стоять!

Чиновник переставил на их стол бутылку с пивом и сел.

— А ну-ка, милый мой, сыграй «Выйду ль я на реченьку»,— национальную!.. Знаешь? — сказал он Захарову.

— Извините, этой не знаю. «По улице мостовой» могу.

Захаров выпил стакан портеру, рванул струны,— они заныли, зазвенели, и задорно-веселая песня полилась. Чиновник раскачивал в такт головою, моргал и с блаженной улыбкою оглядывал слушателей. Ляхов поднялся с места и, подперев бока, притоптывал ногами.

Подошла пожилая женщина в длинной, поношенной тальме и в платочке.

— Какая у вас прелестная музыка! Вы мне позволите послушать?

У нее было круглое и довольно еще миловидное лицо, но у углов глаз было много морщинок. Она держалась жеманно и разыгрывала даму. Это была фальцовщица из той же мастерской, где работали Андрей Иванович и Ляхов.

Красавица ты моя,
Есть словечно до тебя! —

пропел Ляхов и схватил ее сзади за талию. Он сел к столу и посадил фальцовщицу к себе на колени.

— Тебя Авдотьей Ивановной, что ли, звать? Ну-ка, Авдотья Ивановна, опрокинем по бокальчику?

Авдотья Ивановна, жеманясь, возразила:

— Ах нет, я не для этого! Я только к тому, что какая у вас прекрасная музыка.

Портер, однако, выпила.

— Конфетка ты моя!.. Зазнобушка! — ломался Ляхов и крепко прижимал ее к себе.

Захаров вдруг запел невероятно циничную песню, от которой покраснел бы ломовой извозчик, с припевом:

Амигдон, Амигдон!
Амигдон-мигдон-мигдон!

Он пел под общий хохот, топорщил усы и выкатывал глаза на Авдотью Ивановну. Та слушала с широкой улыбкой, неподвижно глядя ему в глаза, и медленно моргала.

К ней подошел половой.

— Позвольте деньги за пиво!

— За какое пиво? — растягивая слова, спросила фальцовщица.— Что ты, дурак, пристаешь? Принеси сюда мое пиво.

— Пиво выпито-с, нужно деньги заплатить.

— Что тебе надо? — Авдотья Ивановна ждала, чтобы Ляхов взял ее пиво за свой счет.— Болван! Никакого не понимает обращения. На!..

Она встала, достала из кармана восемь копеек и бросила половому. Когда Авдотья Ивановна снова хотела сесть, Ляхов неожиданно выдернул из-под нее стул, и она упала.

— Ну, что вы шутите? — проговорила фальцовщица, подинмаясь.

Ляхов схватил ее сзади под мышки, поднял три раза на воздух и повалил лицом на Арсеитьева. Арсентьев недовольно отстранился. Андрей Иванович с отвращением следил за фальцовщицей. Он грубо сказал:

— Слушай, Васька, можно бы ее убрать отсюда! Ей в нашей компании совсем не место!

— Любовь-то мою убрать?! Как же это можно? Я без нее с тоски иссохну!.. Дунька, садись!

Ляхов снова посадил ее к себе на колени.

— Вот еще выпьем с тобой по стаканчику и пойдем! К тебе, что ль, пойдем! Одна живешь? — спрашивал он, нисколько не понижая голоса.— Пойдем мы с тобою, дверь на клю-уч...

Авдотья Ивановна как будто не слышала циничных мерзостей, которые ей говорил Ляхов.

— Какая у вас прекрасная музыка! Будьте столь любезны, сыграйте нам еще что-нибудь хорошенькое! — обратилась она к Захарову.

Тот ответил ей грязною остротою. Андрей Иванович сидел темнее ночи. Остальные смеялись.

Захаров снова заиграл на цитре и тонким фальцетом запел «Маргариту».

Мар-га-рита, пой и веселися,
Мар-га-рита, смейся и резвися,
Мар-га-рита, все мои мечты,
Чтобы дверь открыла, рыла, рыло ты!

Ляхов вскочил, заложил большие пальцы за жилетку и начал перебирать ногами, поводя и подрагивая задом.

За соседним столом сидели за водкою два дворника. Один из них, с рыжей бородою и выпученными глазами, был сильно пьян. Заслышав музыку, он поднялся и стал плясать, подогнув колени и согнувшись в дугу. Плясал не в такт, щелкал пальцами и припевал:

Гуляю день, гуляю ночь,
Гуляю всю неделюшку,
Ах, занимаюсь я гульбой!..

— Садись на место! Ишь заплясал,— засмеялся его сосед и насильно усадил рыжебородого дворника на стул.— Не для нас с тобой музыка заказана.

Дворник злобно таращил глаза на канканировавшего Ляхова.

— Дурак этакий! Плясать взялся! Нешто так нужно плясать? Архаровец!

Ляхов крикнул:

— Ты что, утопленник, заговорил? Сиди да лакай водку!

Кругом хохотали. Дворник озлился.

— Утопленник? Я тебе сейчас покажу утопленника!

— Я, брат, с живыми людьми рад говорить, а с утопленником — извини, не могу.

— Залепил нос себе, сукин сын! Я тебе шейного пластыря наклею!

— Молчи, утопленник ладожский!

Дворник рванулся со стула. Ляхов, бледный, с весело смеющимися глазами, стоял и ждал.

Сосед обнял дворника за плечи и усадил на место.

Ляхов воротился к своим. На его стуле сидела Авдотья Ивановна и со своею широкою улыбкой, словно не понимая, слушала циничные издевательст-

ва Захарова. Ляхов вдруг увидел, какое у нее поблекшее, морщинистое лицо, какая некрасивая, растерянная улыбка... Он зашел сзади, поднял на стуле фальцовщицу и изо всей силы швырнул ее вместе со стулом к выходной двери. Авдотья Ивановна ударилась грудью в спинку стула, на котором сидел рыжебородый дворник, и оба они, вместе со стульями, повалились в кучу.

Зазвенели и раскатились по полу упавшие бутылки. Вбежали половые, фальцовщица хрипло крикнула:

— Городовой!

Ляхов, хохоча про себя, поспешно сел к столу и стал пить пиво.

Дворник, путаясь в юбках Авдотьи Ивановны, в бешенстве вскочил и бросился ее бить. Его с трудом оттащили. Авдотья Ивановна несколько раз пробовала встать, но не могла: она наступала на свои юбки и тальму, может быть, была пьяна. Половые подняли ее и вытолкали на улицу.

У чиновника покраснел нос, он жалобно заморгал глазами.

— Женщину! — произнес он, качая головою.— За что он так с женщиной поступил? — обратился он к Андрею Ивановичу.— Силу показал над кем!

— Гр-рязь этакая! Ее давно следовало вышвырнуть вон! — ответил Андрей Иванович.

Чиновник грустно сказал:

— Нет, это не годится! Я люблю веселость и спокойный характер, а к чему обижать людей?

— Ей тут было не место! Ну, скажите, пожалуйста, разве может порядочная женщина слушать такие песни? Она должна покраснеть и уйти, а эта сидит, пялит глаза: «Ах-х, какая у вас прекрасная музыка!» Это неприлично для женщины, раз она не публичная женщина.

— Нет, я люблю веселость и спокойный характер,— грустно повторял чиновник.

— Всячески же ее присутствие тут было неблаговидно,— поддержал Андрея Ивановича Арсентьев.

Захаров засмеялся.

— В гнилой трубе две трубы! Настоящая ассенизация!

— Ну, черт с нею! — сказал Андрей Иванович.— Еще разговаривать об ней! Плюньте вы на нее! —

обратился он к чиновнику. — Выпьем лучше с вами! А?

Фальцовщица исчезла, и к Андрею Ивановичу воротилось хорошее расположение духа. Он заказал водку и солянку.

Ляхов взял руку Захарова и с размаху хлопнул ладонью по его ладони.

— Молодчина, Сенька, ей-богу! Ловко играешь, сукин ты сын этакий! Ну-ка, хлопнем!

— Будьте здоровы! — ответил Захаров, чокаясь. Он опрокинул в рот рюмку водки и молодцевато провел рукою по волосам.— Вы знаете, как сказано в поэзии: «Лови, лови часы любви, минуты наслажденья...» Вы не смотрите, что это пустяковина; это не зря сказано... Канарейку поймай-ка! Другой ее этак — цоп! Разве можно так? Нужно брать тонко!..

Чиновник отошел от них. Он стоял у соседнего стола, качал головой и говорил сидевшим за пивом трем наборщикам:

— Я люблю веселость и спокойный нрав... А за что же женщину бить? Разве это благородно?

III

Народу все прибывало. Лампы-«молнии» с хрустальными подвесками тускло освещали потные головы и грязные, измазанные горчицею скатерти. Из кухни тянуло запахом подгорелого масла и жареной рыбы. В спертом, накуренном воздухе носились песни, гам и ругательства.

Андрей Иванович пил рюмку за рюмкой. В душе было горячо, хотелось всех любить, хотелось сплотить всех вокруг себя и говорить что-нибудь хорошее, сильное и важное.

Полбутылка портеру, которую половой, откупорив, заткнул пробкою, согрелась, и пробка с выстрелом вылетела из горлышка; пена брызнула в стороны, пробка ударилась в низкий потолок и упала на сидевшего за соседним столом наборщика.

Наборщик, бледный молодой человек, с очень высоким узким лбом — сердито оглянулся.

— Послушайте, я вас попрошу поосторожнее! — угрожающе произнес он, отирая голову.

Андрей Иванович добродушно ответил:

— Мы нечаянно,— что там!

— «Поосторожнее»! — передразнил Ляхов.— Ты это портеру говори, а не нам! Объявился с претензиями!

Наборщик медленно повернул к Ляхову свое бледное лицо и молча смотрел на него.

— Поглядел бы раньше, швырял ли в него кто пробкой. Нет, сейчас в амбицию вломился,—«поосторожнее»! Прохвост паршивый!

Андрей Иванович пересел к наборщику.

— Ну, что там! Сказано, нечаянно... Чего вы?.. Разве не бывает различных несчастных обстоятельств? Выпьем лучше вместе для знакомства.

Ляхов, развалясь на стуле, говорил:

— Что ж, пойдем из-за полбутылки к мировому!

— «Нечаянно»!.. Я рад,— совершенно справедливо,— ответил наборщик Андрею Ивановичу,— но к чему же ругаться, как этот господин?

Андрей Иванович воскликнул:

— Друзья! Выпьем!.. Ну, неужто мы из-за этого станем поднимать скандал? Позвольте спросить, чем вы занимаетесь?

— Наборщики.

— Ну, а мы переплетчики! Все мы трудящие люди, из-за чего же ради мы будем ссориться? Из-за полбутылки портера?.. Друзья, друзья!.. Пойдем, Вася, к ним! — Он потащил Ляхова к наборщикам.—Ну, помиритесь, поцелуйтесь!.. Человек, еще полдюжины портеру!

— Позвольте, почему вы рассердились?—спросил Ляхов, садясь к наборщикам. — Вы должны были раньше поглядеть, отчего случилось дело. А вы сейчас же начинаете ворочать глазами и говорить различные угрожающие выражения.

— Совершенно справедливо! А только для чего вы...

— Нет, позвольте, я вам сейчас все объясню! Мы сидим, портер хлопнул, чем мы виноваты? Вы к бутылке должны были со своим замечанием отнестись, а не к нам...

Андрей Иванович взял провинившуюся бутылку портера.

— Ну, ну, дурак! — И он совал бутылку к губам наборщика. — Мирись сейчас же с бутылкой! Целуйся с ней без разговоров!

— Я рад-с! Очень прнятно познакомиться! — Наборщик галантно раскланялся с бутылкой н три раза поцеловал ее накрест.

— Да он с нею уже давно знаком!—сказал его сосед. — Эка, подумаешь, в первый раз знакомится!

Андрей Иванович грозно крнкнул половому:

— Гаврюшка! Я тебе сказал — еще полдюжнны портеру!

Половой подошел.

— Буфетчнк не отпускает, Андрей Иванович; с вас и то полтора рубля следует. Потрудитесь раньше заплатить.

— Убирайся к черту! Скажн буфетчнку, пусть запишет.

— За вамн н то уж шесть рублей запнсано.

Андрей Иванович суиул руку в карман жилетки, там было всего пятьдесят копеек. Он спроснл Ляхова:

— У тебя много, Вася?

Ляхов обшарил карманы н набрал семьдесят копеек. Арсеитьев подиялся н протянул руку Андрею Ивановнчу.

— До свиданья! Время идти, — сказал он.

Андрей Иванович придержал его руку.

— Слушайте, нет ли у вас до завтра двух целковых?

Лнцо Арсентьева сделалось холодным н скучающим.

— Нету прн себе, Андрей Ивановнч! С удовольствием бы.

Андрей Иванович качал головой н с презреннем смотрел ему в глаза.

— Ж-жох ты эдакий! Раз что мы угощаем, так разве бы я вам завтра не отдал? Неохота идти сейчас домой за деньгами, только н всего.

Он отвернулся от Арсентьева. Взгляд его упал иа Захарова; Андрей Ивановнч проснял; он подсел к нему на стул и обнял Захарова рукою.

— Вот что, Сенька, слушай! Я сейчас напишу жене записку, а ты сходи н отнеси. Пусть поглядит иа тебя, хлындра. Этакие грязиые взгляды: зачем, говорит, ты ему пальто отдал. Он его пропьет!.. Пускай посмотрит, пропил лн ты... Я ей напншу, чтоб прислала с тобой два рубля. Ладно, а?

Захаров согласился. Андрей Иванович, шлепая калошами, пошел к буфету, заплатил рубль двадцать копеек и, взяв у буфетчика карандаш, написал на клочке бумаги: «Саша! Пришли немедленно с посланным два рубля: очень необходимо».

Захаров ушел. Подали еще портеру. Андрей Иванович сидел с наборщиками, целовался с ними и ораторствовал:

— Вы трудящие люди, и мы трудящие люди!.. Об вас Некрасов сказал: «Вы все здоровьем хлипки, все зелены лицом!» Почему? Потому что вам приходится дышать свинцовой пылью. Мы — золотообрезчики, мы дышим бумажной пылью... И нам и вам в чахотке помирать!.. Четыре года назад мой названый брат Фокин просил меня, чтобы я его научил делать золотые обрезы. Я его стал отговаривать, что это вредно для груди. «Ну,— говорит,— тебе жалко, чтоб я столько же не зарабатывал, как ты». Жалко? О нет, мне не жалко!.. Научил его, а теперь он уж три года как на Смоленском лежит. Романов сейчас от чахотки помирает. У меня хроническое воспаление легких, скоро тоже чахотка будет... Верно ли?.. Товарищи! И вы и мы работаем для просвещения! Мы должны друг другу дать руки!

— Вер-но! — повторял, поникнув головою, бледный наборщик с высоким лбом и стукал стаканом по столу.

Ляхов отстал от компании. Он сидел на другом конце комнаты с нарумяненною девушкою в шляпе с широкими полями и пышными перьями. Вскоре он вместе с нею исчез из «Сербии».

Захаров воротился. Он встряхивался, словно его сейчас окатили водою, и с размахом швырнул на стол свою фуражку с надорванным козырьком.

— Ффу-фу-фу-фу-фу! Ну и побывал же я в баньке!

Андрей Иванович спросил:

— Принес?

— Черта с два принес! Не знал, как ноги унесть!

— Почему так?

— Убирайтесь, говорит, вон отсюда!.. Жена-то ваша. Я спрашиваю: какой же будет ответ? «Никакого ответа не будет!»

Андрей Иванович с блуждающей улыбкою смотрел на Захарова. Не веря ушам, он медленно переспросил:

— Так и сказала?

— А ты как думал? Так, брат, и отрезала! — иронически подтвердил Захаров; он с чего-то стал говорить Андрею Ивановичу «ты».

Андрей Иванович выпил залпом два стакана портеру и вышел из «Сербии».

Шел дождь, ветер бурными порывами дул с моря. На проспекте было пустынно, мокрые панели блестели под фонарями масленым блеском. Андрей Иванович быстро шагал, распахнув пальто навстречу ветру.

IV

После того как Андрей Иванович и Ляхов ушли в «Сербию», Александра Михайловна перемыла посуду, убрала стол и села к окну решать задачу на именованные числа. По воскресеньям Елизавета Алексеевна, воротившись из школы, по просьбе Александры Михайловны занималась с нею. Правду говоря, большого желания учиться у Александры Михайловны не было; но она училась, потому что училась Елизавета Алексеевна и потому, что учение было для Александры Михайловны запретным плодом.

Она попробовала решить задачу, взглянув предварительно в решения. Ничего не вышло. Александра Михайловна погрызла карандаш, подумала и, отложив задачник, потянулась.

Было скучно. По оконным стеклам текли струи воды, в квартире стояла тишина; Зины не было, — она бегала по двору. Александра Михайловна достала из комода деньги, которые ей оставил Андрей Иванович, и стала их распределять, на что их употребить. Два рубля решила отдать хозяйке за квартиру, рубль заплатить по книжке в мелочную лавочку, остальное оставила на расходы. Покончив расчеты, Александра Михайловна спрятала деньги, зевнула и стала ходить по комнате. Из всех углов ползла на нее мертвая, томительная скука, но Александра Михайловна привыкла к ней и мало тяготилась ею.

Сняла кофточку, распустила по белым, полным плечам свою густую косу и стала причесываться перед зеркалом. Сделала себе китайскую прическу, потом греческую, потом начала прикидывать, как бы

вышло, если бы подрезать спереди гривку. Александре Михайловне давно хотелось пустить себе на лоб гривку и завивать ее, но Андрей Иванович строго запретил ей это.

Темнело. Александра Михайловна вышла в кухню, к квартирной хозяйке. Старуха хозяйка, Дарья Семеновна, жила в кухне вместе с дочерью Дунькой, глуповатой и румяной девушкой, которая работала на цементном заводе. Они пили кофе, Александра Михайловна подсела к ним, но от предложенного кофе решительно отказалась.

Стали беседовать о вчерашней драке, разыгравшейся на лестнице между живописцем вывесок и пьяным приказчиком. Хозяйка сообщила несколько новых подробностей; она узнала их утром от жены живописца. Но вскоре разговор истощился; вчера они уже часа три говорили об этой драке.

Дарья Семеновна послала Дуньку в лавочку за керосином. Александра Михайловна спохватилась, что Зина до сих пор бегает на дворе. Она попросила Дуньку на обратном пути разыскать Зину и привести домой, а сама пошла к себе.

Походила по комнате, стала напевать шансонетку, которую слышала летом на открытой сцене в Крестовском:

Радость наша —
Доктор Яша
Воротился из вояжа!..

На дворе зажгли фонарь. Тусклый свет лег на потолок около шкапа. На проспекте звенела конка. Александра Михайловна села в кресло и задремала.

Воротилась Дунька и привела с собою Зину. Александра Михайловна, зевая, зажгла лампу. Зина иззябла, руки у нее были красные, ноги мокрые. Александра Михайловна начала ее бранить, что она так долго не возвращалась домой. Зина слушала и весело топала ногами; матери она нисколько не боялась и была при ней совсем другою, чем при отце.

— Ай! Затопи печку, мама! — крикнула она в самый разгар поучений.

— Что ты орешь? — строго заметила Александра Михайловна. — Главное — «ай»! Как будто в самом деле есть чего!.. Не бегала бы по двору до ночи, так

и не было бы холодно. На дворе грязь, слякоть, а она бегает.

Смеясь, Зина крикнула еще громче:

— Караул! Холодно!

Александра Михайловна дала ей два шлепка. Зина захныкала.

— Когда тебе говорят, ты должна слушать, а не смеяться.

— Да! Когда мне холодно! — плаксиво возразила Зина.

— Печка топлена, от жары, слава богу, деваться некуда. Поменьше бы бегала по двору, так ничего бы и не было. Вот погоди, воротится отец, я ему расскажу; ты, должно быть, забыла, как он тебя третьего дня отпорол.

В дверях показалась Елизавета Алексеевна, воротившаяся из школы.

— Александра Михайловна, хотите заниматься?

— Да, да, сейчас!

Она суетливо собрала тетрадки, книги и пошла к Елизавете Алексеевне в ее комнату.

Комната Елизаветы Алексеевны была очень маленькая, с окном, выходившим на кирпичную стену. На полочке грудою лежали книги, и среди них желтели обложки сочинений Достоевского и Григоровича — приложений к «Ниве».

Александра Михайловна сказала:

— Задачи у меня не вышли, Лизавета Алексеевна; думала-думала, проверяла-проверяла, — не сходятся с решением! — И она с недоумением пожала полными плечами.

Елизавета Алексеевна стала решать вместе с нею. Они занимались около часу. Елизавета Алексеевна объясняла, сдвинув брови, серьезная и внимательная, с матово-бледным лицом, в котором, казалось, не было ни кровинки. Она была дочерью прядильщицы. Когда Елизавета Алексеевна была ребенком, мать, уходя на работу, поила ее настоем маковых головок, чтоб не плакала; их было шестеро детей, все они перемерли, и выжила одна Елизавета Алексеевна.

В комнате Александры Михайловны Зина громко пела в пустую кастрюлю, которую держала перед ртом:

Чудный месяц плывет над рекою,
Все спокойно в ночной тишине...

Александра Михайловна решила наконец обе задачи. Елизавета Алексеевна спросила:

— Ну что, не соглашается Андрей Иванович пустить вас работать?

— Нет! — вздохнула Александра Михайловна. — Слыхали вчера? Чуть было не избил, что посмела сказать.

— Он хочет, чтоб вы его хлеб ели, — сказала Елизавета Алексеевна, понизив голос.

— Да добро бы еще хлеб-то этот был бы! А то ведь сам все болеет, ничего не зарабатывает; везде в долгу, как в шелку, никто уж больше верить не хочет. А обедать ему давай, чтоб был обед! Где же я возьму? Сам денег не дает и мне работать не позволяет.

— Так чего вам заботиться? Без денег нельзя обеда приготовить, он сам может это понять.

— Он этого не хочет понимать: чтоб был обед, только и всего! Сегодня подала солонины, — надулся: ты, говорит, не хочешь постараться... Поди-ка сам постарайся! Придешь в мелочную, лавочник тебе и не отвечает, словно не слышит; сколько обид наглотаешься, чтоб фунт сахару получить.

— Ни за что бы не стала для него стараться! — воскликнула Елизавета Алексеевна. — Хочет, чтоб вы его хлеб ели, — пусть добывает денег!

— У него разговор короток: давай! А не дашь, он себя покажет, каков он есть король.

Александра Михайловна была рада говорить без конца. Андрей Иванович совершенно подчинил себе ее волю, и она не смела при нем пикнуть; теперь она начинала чувствовать себя полноправным человеком. И чем больше она говорила, тем яснее ей становилось, что она права и страдает, а Андрей Иванович тираничен и несправедлив.

Елизавета Алексеевна прошлась по комнате и нервно повела плечами.

— Никогда замуж не пойду!.. Словно ребенок какой, ничего не смей, на все из чужих рук смотри!

— А я рада, что ли, что пошла? Ведь они перед свадьбой всегда прикидываются: говорят, что и любят тебя, и холить будут, и пить-то ничего не пьют...

Александра Михайловна помолчала.

— Вы думаете, ему есть до нас какая-нибудь забота. Ему только товарищи и дороги; последний кусок он отнимает у своей девочки, чтоб отдать товарищу; для товарища он ни над чем не задумается... Пять лет назад его прогнали от Гебгарда, — за что? Товарищ его Петров поставил золотые обрезы просушиваться, а хозяйская кошка чихнула и испортила обрезы. Петров переделал, поставил в книжку за поправку по шесть копеек,— хозяин вычеркнул и написал: «Я не виноват»... Ну, что с хозяином сделаешь? Всегда так было и будет. Поругался про себя Петров, и больше ничего. И дело-то всего в полтиннике было. А мой Андрей Иванович взбеленился: «Это, говорит, он еще слонов у нас тут разведет, — ходить будут по мастерской да чихать во все стороны?.. Не виноват хозяин? Кошка виновата?..» Поймал кошку и разбил ей голову о пресс. А кошка дорогая была, ангорская, пятнадцать рублей стоила... Ну и прогнали его. Что ж хорошего вышло? Два месяца без работы пробыл, совсем обнищали...

Хозяйка заглянула в дверь.

— Михайловна, человек тебя спрашивает.

Александра Михайловна вышла. В кухне стоял человек с рыжеватыми, торчащими, как щетина, усами, в знакомом Александре Михайловне пальто. Это был Захаров. Он галантно расшаркался.

— Записка вам от вашего супруга!

Александра Михайловна прочла записку. У нее опустились руки. Часто дыша, она с негодованием оглядела Захарова.

— Зачем ему нужно два рубля?

— Не знаю-с! Просто просил меня Андрей Иванович принести, а для чего — положительно не знаю.

— Как вам это нравится, Елизавета Алексеевна?! Пишет, чтоб я ему еще прислала два рубля! Где я их возьму? Ах ты боже мой, боже мой! а?.. Вы где с ним пьянствуете, в «Сербии»? На коньяк денег не хватило вам? Зачем ему деньги?

Захаров смущенно переминался.

— Окончательно не могу вам этого сказать. А только просил меня Андрей Иванович принести.

— Да кто вы такой?

— Я знакомый его.

— Знакомый? Какой такой знакомый?

— Значит... познакомились с ним, с супругом вашим.

— Хорош знакомый, которого жена в первый раз видит!

— Удивительно,—сконфуженно произнес Захаров.

— А вы меня видали?

— Н-нет.

— Так что же для вас удивительного?

Захаров вздохнул.

— Да на что ему деньги-то нужны, ответьте мне!

— Он мне не сказал на что. Просто просит вас прислать ему два рубля. «Пусть, говорит, пришлет». Н-ну... Желает, чтобы вы прислали ему два рубля. Вот вам мой короткий ответ.

— Да на что, на что ему?

— Не знаю.

— Как же не знаете? Ведь вы вместе сидите, вместе пьете? На что они ему? Пропить ли, вам ли подарить?.. На что?

— Окончательно ответить вам — не знаю.

— Ну, уж, пожалуйста, не врите!

Захаров беспомощно пожал плечами и снова вздохнул.

— Я к вам по его поручению пришел, как посланец, больше ничего! Ничего не знаю, ничего не понимаю. А вы как Иоанн Грозный,— «в ногу гонца острый конец жезла своего он вонзает».

— Какой Иоанн Грозный? Чего вы глупости говорите? Кто вы сами-то такой, — я вас не знаю! Ступайте вон отсюдова!

Захаров заморгал глазами.

— Это вы мне намекаете, что я должен удалиться? Какой же прикажете дать ответ?

— Никакого ответа не будет!

Александра Михайловна круто повернулась и ушла к Елизавете Алексеевне.

V

Глаза Александры Михайловны блестели, она задыхалась от волнения и сознания отчаянной смелости своего поступка. Елизавета Алексеевна сидела бледная.

— Как вам это понравится! — воскликнула Александра Михайловна. — Дома гроша нет, сам не работает, а пришли ему два рубля с этим оборванцем! Это тот самый оборванец, которому он пальто свое отдал,— я сразу поняла. Мало пальта показалось, еще деньгами хочет его наградить — богач какой! Пускай свой ребенок с голоду помирает, — оборванцы пьянчужки ему милее!

Хозяйка, Зина и Дунька вошли в комнату. Дарья Семеновна жалостливо сказала:

— Ну, Михайловна, убьет он теперь тебя до смерти!

— Пускай убивает, мне что!

— Побегу за этим усатым, посмотрю!—Дунька быстро накинула платок и исчезла.

Александра Михайловна гордо и радостно повторила:

— Пускай убивает! Весело мне, что ли, жить? Одни только тычки да колотушки и видишь, словно ребенок малый!.. Жив был отец, — отец тиранил, замуж вышла, — муж.

Елизавета Алексеевна молчала, в волнении кусая губы. Зина, быстро дыша, оглядывала присутствующих и начинала плакать. Хозяйка вздыхала.

— Пойти прибрать в твоей комнате все тяжелое. Пьяный человек, не ровен час... Пойдем, Михайловна!

Они отобрали два горшка с геранью, литографский камень, ножи и все отнесли в кухню. Испуг окружающих передался Александре Михайловне. Она все больше падала духом.

Вошла Елизавета Алексеевна и решительно сказала:

— Слушайте, Александра Михайловна, уходите с Зиной со двора! Я ему скажу, что вас нет дома.

— Нет, что уж! — апатично ответила Александра Михайловна. — Он тогда со злобы все у нас перебьет, порвет, ни одной тряпки не оставит. Все равно уж!.. А вот я вас хотела просить, Лизавета Алексеевна,— возьмите Зину к себе; а то он, чтоб мне назло сделать, начнет ее сечь, изувечит ребенка.

В квартиру, как вихрь, влетела Дунька.

— Идет Андрей Иванович! — крикнула она, за-

дыхаясь.— Пьяный-пьяный! Шатается и под нос себе лопочет! Уж с пришпехта повернул... Ой, боюсь!

Все засуетились. Зина заплакала.

— Иди, Зина, к Лизавете Алексеевне, — поспешно сказала Александра Михайловна.

— Идите вы тоже ко мне! — резко проговорила Елизавета Алексеевна. — Он ко мне постесняется войти.

Александра Михайловна испуганно твердила:

— Нет, нет! Ради бога, голубушка, идите с Зиной и не показывайтесь! Увидит вас, еще больше обозлится. Он мне и так утром говорил, что это вы меня подучаете его не слушаться.

Елизавета Алексеевна увела Зину к себе. Перепуганная Дунька пошла вместе с ними.

— Ты-то чего, дура, боишься? — презрительно сказала Елизавета Алексеевна. — Тебя он не смеет трогать.

— Голубушка, Лизавета Алексеевна, боюсь,— повторяла Дунька, дрожа.

Властно и громко зазвенел звонок. Хозяйка отперла. Слышно было, как Андрей Иванович вошел к себе в комнату и запер за собою дверь на задвижку.

— Давай деньги! — хрипло произнес он.

В комоде поспешно щелкнул замок. Александра Михайловна послушно достала деньги и отдала Андрею Ивановичу.

— Еще! — отрывисто сказал он. — Все деньги давай! Четыре рубля!

Александра Михайловна робко возразила:

— Андрюша, я два рубля уже истра...

Раздался звук пощечины и вслед за ним короткий всхлипывающий вздох Александры Михайловны. Зина сидела на постели Елизаветы Алексеевны и чутко прислушивалась; она рванулась и заплакала. Елизавета Алексеевна, бледная, с дрожащими губами, удержала ее.

За стеною слышалась молчаливая возня и сдержанное всхлипывание. Зина, дрожа, смотрела блестящими глазами в окно и бессознательно стонала.

Вдруг Александра Михайловна крикнула:

— Андрей, пусти!!! Я сейчас... посмотрю...

За стеною стало тихо.

— Нашла! — иронически протяиул Андрей Иванович.

Он стал пересчитывать деиьги. Знна дрожала еще снльнее, упорио глядела в окно, охала н растнрала рукою колени.

— Как иоги больно! — тосклнво сказала оиа.

Елизавета Алексеевна спросила:

— Отчего у тебя ногн болят?

— У меия всегда ногн болят, когда папа маму бьет, — ответила Зниа с блуждающею улыбкою, дрожа и прнслушнваясь.

— Ну, а теперь я покажу тебе, как меня перед людямн позорить! — сказал Аидрей Иваиович.

Александра Мнхайловиа пронзительно вскрикнула.

За стеною началось что-то днкое. Глухо звучалн удары, разбитая посуда звеиела, падали стулья, и нз шума иеслнсь отрывнстые, стонущие рыдаиия Алексаидры Михайловны, похожие иа безумный смех. Несколько раз оиа пыталась выбежать, но дверь была заперта.

— О-о господи! — тяжело вздохиула хозяйка иа кухне.

— Ай-ай-ай, Лизавета Алексеевна, боюсь! — плакала Дуиька, стараясь держаться ближе к Елнзавете Алексеевне.

Елизавета Алексеевна бросилась к запертой двери н стала стучать в иее кулаком. Напрягая свой слабый голос, она крикнула:

— Андрей Иваиовнч! Отворите сейчас же, а то я побегу за дворннкамн!

— Что?! — грозио спросил Аидрей Иванович, подходя к дверн. — Убнрайся к...

Раздался вопль Александры Мнхайловны н шум упавшего тела.

Елнзавета Алексеевна бросилась вииз по лестнице к дежурному дворннку. Двориик, кутаясь в тулуп, сидел на скамейке у ворот. Он равнодушно ответнл:

— Я дежурный, не могу от ворот уйти.

Елнзавета Алексеевиа побежала в двориицкую. У дверей стоял, щелкая подсолнухн, молодой дворннк. Узиав, в чем дело, ои усмехнулся под нос н моментальио исчез где-то за дровами. Сегодня, по слу-

чаю праздника, в доме все были пьяны и чуть не из каждой квартиры неслись стоны и крик истязуемых женщин и детей. Наивно было соваться туда.

Елизавета Алексеевна и сама это понимала. Никого ей не дозваться. Она в отчаянии остановилась посреди двора. С крыш капало, от помойной ямы тянуло кислою вонью, за осклизшей деревянной решеткой палисадника бились под ветром оголенные ветки чахлых берез.

Из подъезда выбежал Андрей Иванович, с всклокоченными волосами, в пальто внакидку; глаза его горели. Он быстро прошел к воротам, не заметив Елизаветы Алексеевны. Она поспешила наверх.

Александра Михайловна, с закинутою, мертвенно-неподвижною головою, лежала на кровати. Волосы спутанными космами тянулись по подушке, левый глаз и висок вздулись громадным кровавым волдырем, сквозь разодранное платье виднелось тело. Вокруг суетились хозяйка и Дунька. Зина сидела на сундуке, дрожала, глядела блестящими глазами в окно и по-прежнему слабо стонала, растирая рукою колени.

Александру Михайловну привели в чувство. Хозяйка поставила самовар, Елизавета Алексеевна сбегала в погребок и принесла бутылку рома. Александра Михайловна напилась горячего чаю с ромом и осталась лежать.

Она была вяла и апатична. Тупо оглядывая окружающих, она рассказывала, как бил ее Андрей Иванович, как он впился ей ногтями в нос и рвал его, а другой рукою закручивал волосы, чтоб заставить ее отдать все деньги... Хозяйка вздыхала и жалостливо качала головою. Елизавета Алексеевна, сдвинув брови, мрачно смотрела в угол. Дунька слушала жадно, с блестящими от любопытства глазами, словно ей рассказывали интересную и страшную сказку.

Просидели все вместе с час. Александру Михайловну стало познабливать, она решила лечь спать. Елизавета Алексеевна ушла из дому.

Александра Михайловна разделась, уложила Зину, потушила лампу, но заснуть не могла. Правое бедро, в которое Андрей Иванович ударил ее каблуком, ныло, распухший нос горел. Она лежала на спине, глядела в темноту и думала о своей жизни. Ей

вспоминался мрачный, горевший ненавистью взгляд Елизаветы Алексеевны, с каким она слушала рассказ, — и в ней самой разгоралась ненависть. До сих пор Александра Михайловна несла тяжесть своей семейной жизни, как неизлечимую болезнь, от которой можно только страдать. Теперь она думала о том, что эти страдания глупо терпеть и что нужно вырваться из них; она думала и о том, что ее жизнь скучна и сера, а Елизавета Алексеевна живет в какой-то другой жизни, яркой и светлой.

На потолке около шкапа тускло светилось пятно от горевшего на дворе фонаря; порывистый ветер хлестал дождем в окно; телефонные проволоки на крыше гудели однообразно и заунывно, словно отдаленный благовест. В воздухе один за другим глухо прозвучали три пушечных выстрела; начиналось наводнение... Зина, спавшая на сундуке, слабо стонала сквозь сон.

В кухне раздался резкий, громкий звонок. Александра Михайловна быстро села на постели и с бьющимся сердцем стала вслушиваться. Ее взяло отчаяние: опять Андрей Иванович, опять истязания...

Но в кухне послышался женский голос. Дверь открылась, и голос окликнул Александру Михайловну:

— Вы спите? Можно к вам?

Александра Михайловна узнала Катерину Андреевну, коробочницу, сожительницу Ляхова.

— Васька-то мой!.. Ах, негодяй, негодяй! — заговорила Катерина Андреевна, задыхаясь.

— В чем дело, Катерина Андреевна? Что случилось?

Александра Михайловна встала и зажгла лампу. Катерина Андреевна быстро ходила по комнате и повторяла:

— Негодяй, негодяй, мерзавец подлый!

Катерина Андреевна была стройная девушка, с красивым, нервным лицом и большими темно-синими глазами. На ней была изящная черная кофточка и шляпка с перьями.

— Опять что-нибудь накуролесил Ляхов? — спросила Александра Михайловна.

Катерина Андреевна с негодующей дрожью повела плечами.

— Такую подобную тварь, а?.. Я давно знала, что он хороводится с различными девками, а тут уж... К иам иа квартиру привел, ко мне! А? Ах, прохвостина этакий, обормот!!.

— К вам привел на квартиру? — с любопытством спросила Александра Михайловиа.

— Самую последнюю тварь! Понимаете, — раскрашенную, которую можно топтать ногами. У-у-у!.. Уж и отхлестала же я им обоим их поганые морды!

Александра Михайловна в полусвете лампы заметила, что и у самой Катерины Андреевны губы в крови и правый глаз распух.

— Ах, иегодяй, иегодяй грязиый!.. Дозволить себе такую подобиую мерзость, а?

— И из квартиры выгнал вас?

— Сам еще придет ко мне, просить будет воротиться, да посмотрим, кто над кем покуражится! Два уже раза я ему прощала, — в ногах валялся, ноги мие целовал... Ну, теперь посмотрим! ,

Александра Михайловна помолчала и заговорила:

— Вам-то хоть хорошо. Вы с ним не связаны, захотели — и ушли, он вам ничего не может сделать. Работу вы имеете и без него можете прожить, — вам его содержание не иужно.

Катерииа Андреевна рассмеялась.

— Его содержание!.. Я его содержала, на свои деньги! Свои он все пропивал, до последней копеечки. Посмотрим теперь, как он без меия проживет.

— А вот как у меия-то,— вяло продолжала Алексаидра Михайловна, — живи, как крепостная, на все из чужих рук смотри. Муж мой сам денег мало зарабатывает; что заработает, сейчас пропьет. Я его уж как просила, чтобы ои мне позволил работать, — нет! Хочет, чтоб я его хлеб ела.

Катерина Андреевиа остановилась перед столом, глядела блестящими глазами на огонь лампы и злорадно улыбалась.

— Пускай только придет теперь, он у меня узнает, можио ли меня оскорблять! — сказала она.— Ах, подлец, подлец!

— Они сегодня с мужем вместе пьянствовали в «Сербии». Не хватало им денег на коньяк, — пришел муж, меия избил до полусмерти и все, все деньги отобрал, ни гроша в доме не оставил. А вы ведь зна-

ете, какой он теперь больной, много ли и всего-то выработает!.. Чем же жить? Сколько раз я ему говорила, просила, — пусть позволит хоть что-нибудь делать, хоть где-нибудь работать, все-таки же лучше, — нет!

— Поступайте к нам в мастерскую. У нас много можно выработать — полтора рубля в день. Научиться скоро можно.

— Так не позволяет мне муж, я что же вам говорю?

— Ах, мерзавец этакий, а?! — Катерина Андреевна передернула плечами и снова заходила по комнате. — Мне сегодня и ночевать негде, я к вам пришла, — можно у вас остаться?

— С удовольствием, милости просим! Только воротится муж, опять меня бить начнет. Вам будет беспокойно.

— Ничего, я как-нибудь...— рассеянно ответила Катерина Андреевна.— А они-то теперь там... На моей кровати! О, негодяй, обормот подлый, пускай только покажется мне на глаза!

В двенадцать часов воротилась Елизавета Алексеевна. Катерина Андреевна поместилась у нее.

Александра Михайловна снова улеглась спать, но заснуть не могла, она ворочалась с боку на бок, слышала, как пробило час, два, три, четыре. Везде была тишина, только маятник в кухне тихо тикал, и попрежнему протяжно и уныло гудели на крыше телефонные проволоки. Дождь стучал в окна. Андрея Ивановича все не было. На душе у Александры Михайловны было тоскливо.

VI

Андрей Иванович воротился домой в десятом часу утра, — воротился хмурый, смирный и задумчивый. Молча напился кофе и сейчас же лег спать.

Александра Михайловна сварила молочную рисовую кашу, накормила Зину, Катерину Андреевну и поела сама. К обеду же приготовила только жиденький суп с крошечным куском жилистого мяса.

К двум часам Андрей Иванович проспался и встал веселый, ласковый. Александра Михайловна стала

накрывать на стол. Она повязала свой синяк платком, усиленно хромала на ушибленную ногу и держалась как деревянная. Андрей Иванович ничего словно не замечал и весело болтал с Катериной Андреевной .

Катерина Андреевна вышла в кухню напиться. Андрей Иванович поморщился и сказал:

— Что ты, Саша, фальшивишь? Не так уж нога у тебя ушиблена, я сразу понимаю. Ну, пойди сюда, дурочка! Дай я тебя поцелую.

— Где уж тут фальшивить! Поневоле захромаешь, как начнут тебя ногами топтать, словно рогожу. — Она ответила угрюмо, но лицо ее невольно для нее самой вдруг прояснилось от ласки Андрея Ивановича.

— Ну, пойди, пойди сюда! — Андрей Иванович охватил ее за талию и ущипнул в бок. — А ты знай вперед, что настойчивой быть нельзя. Раз что муж тебе что-нибудь приказывает, то ты должна исполнять, а не рассуждать. Ты всегда обязана помнить, что муж выше тебя.

— А вот ты деньги все опять прокутил, — на что жить будем? Обеда даже не на что сварить, еле-еле кусочек мяса выклянчила в мясной. Ведь не о себе я стараюсь, мне что!

— Ничего, Шурочка, деньги пустяки! Сегодня нет, завтра будут. Наживем!.. Эка, стоит о деньгах печалиться!

После обеда пришел в гости слесарь электрического завода Иван Карлович Лестман; это был эстонец громадного роста и широкоплечий, с скуластым лицом и белесою бородкою, очень застенчивый и молчаливый. Он благоговел перед Андреем Ивановичем.

Стали вечером играть в стукалку, потом сели пить чай. У Александры Михайловны было на душе очень хорошо: Андрей Иванович был с нею нежен и предупредительно-ласков, и она теперь чувствовала себя с ним равноправною и свободною. Андрей Иванович, опохмелившийся остатками вчерашнего коньяку, тоже был в духе. Он сказал:

— Шурочка, ты бы пошла позвала к нам Елизавету Алексеевну. Что ей там одной сидеть? Пускай чайку попьет с нами.

Странное было его отношение к Елизавете Алек-

сеевне: Андрей Иванович видел ясно, что Александра Михайловна бунтует против него под ее влиянием, и часто испытывал к Елизавете Алексеевне неистовую злобу. Тем не менее его так и тянуло к ее обществу, и он бывал очень доволен, когда она заходила к ним.

У Елизаветы Алексеевны была мигрень. Осунувшаяся, с злым и страдающим лицом, она лежала на кровати, сжав руками виски. Лицо ее стало еще бледнее, лоб был холодный и сухой. Александра Михайловна тихонько закрыла дверь; она с первого взгляда научилась узнавать об этих страшных болях, доводивших Елизавету Алексеевну почти до помешательства.

— Опять голова болит! — объявила Александра Михайловна. — Раза по три в неделю у нее голова болит, что же это такое.

— Эх, бедняга! — с соболезнованием сказал Андрей Иванович.

Лестман покачал головою.

— Все от ученья. Такой больной не есть хорошо много учиться, раньше нужно доставать здоровья.

— «Здоровье доставать»... Как вы будете здоровье доставать? — возразил Андрей Иванович. — Тогда нужно отказаться от знания, от развития; только на фабрике двенадцать часов поработать, — и то уж здоровья не достанешь... Нет, я о таких девушках очень высоко понимаю. В чем душа держится, кажется, щелчком убьешь,— а какая сила различных стремлений, какой дух!

— Ну, а что ж хорошего вот этак все больной валяться? — сказала Катерина Андреевна. — И к чему учиться-то? Не понимаю! Ничего ей за это дороже не станут платить.

Андрей Иванович поучающе возразил:

— Дело не в деньгах, а в равноправенстве. Женщина должна быть равна мужчине, свободна. Она такой же человек, как и мужчина. А для этого она должна быть умна, иначе мужчина никогда не захочет смотреть на нее, как на товарища. Вот у нас девушки работают в мастерской,— разве я могу признать в них товарищей, раз что у них нет ни гордости, ни ума, ни стыда? Как они могут постоять за свои права? А Елизавету Алексеевну я всегда буду уважать, все равно что моего товарища.

В кухне раздался звонок. В комнату вошел Ляхов с котелком на затылке и с тросточкой. Он был сильно пьян. Катерина Андреевна побледнела.

— У вас Катька? — спросил он, не здороваясь. — Ты здесь? Иди домой, где ты пропадаешь?! — крикнул он на нее.

Катерина Андреевна стояла, нервно сжимая рукою край стола, и в упор смотрела на Ляхова.

— Пошла я с тобой, как же! — ответила она, задыхаясь. — Ах ты негодяй, негодяй! Еще домой зовет после подобной мерзости!

— Я тебе приказываю, понимаешь ты это?!

— Я тебе, слава богу, не жена! Ты мне не можешь приказывать! Кто ты такой? Я тебя не знаю!.. Ах ты, негодяй грязный!

— Пойдешь ты или нет? — Ляхов грубо схватил ее за руку около плеча.

— Отстань!

Андрей Иванович угрожающе кринул:

— Что это, Васька, за безобразие? Оставь ее!

Ляхов опустил руку и с усмешкой оглядел Андрея Ивановича.

— Аль тебе ее захотелось?

— Дело не об этом, а о том, что не смей скандала делать.

— Она, брат, ко всякому пойдет, к кому угодно!.. Что уж, очень хочется тебе? Ну, ладно, бери, черт с нею! Эка добра какого... На!..

Он засмеялся и с силою толкнул Катерину Андреевну на Андрея Ивановича.

— Да что же это такое! Андрей Иванович, пошлите за дворником! — воскликнула Екатерина Андреевна.

Андрей Иванович стиснул зубы и вскочил с места.

— Ты тут перестанешь скандалить или нет?

— Так не хочешь домой идти? — обратился Ляхов к Катерине Андреевне.

— Не хочу! И никогда не приду!

Ляхов усмехнулся.

— Ну, ладно! Погоди же ты, я тебя еще не так осрамлю... Чтоб ноги твоей у меня больше не было! — крикнул он и свирепо выкатил глаза. — Что за юбки такие у меня в квартире понавешаны? Чтоб этой вонючей гадости у меня в квартире не было... Я этого

не позволю! — И, ни с кем не простившись, он вышел из комнаты.

Андрей Иванович с отвращением смотрел ему вслед.

— Свинья пьяная!.. Вы не подчиняйтесь ему, что за безобразие! Слава богу, вы с ним не связаны.

— Ему? Подчиняться? Н-никогда!!. Сам придет ко мне, в ногах будет валяться, — да посмотрим, захочу ли я его простить!

Лестман с сожалением глядел на Катерину Андреевну.

— Лучше ваши вещи бернте от него прочь, а то он всем им делает капут.

Катерина Андреевна всплеснула руками.

— И вправду! Как же я их добуду? Александра Михайловна, дорогая моя, съездите, возьмите у него мои вещи!

— Я боюсь: он меня еще побьет,— нерешительно сказала Александра Михайловна.

Андрей Иванович вспыхнул.

— Тебя побьет? Будь покойна! Пусть только пальцем посмеет тронуть!

Решили, что Александра Михайловна поедет за вещами вместе с Лестманом. Через полчаса они привезли их, — но, боже мой, в каком виде! Платье и белье были изрезаны на мелкие кусочки, от посуды остались одни черепки, у самовара был свернут кран и вдавлен бок.

Катерина Андреевна вспыхнула, закусила губы и разрыдалась.

VII

Прошло две недели. Была суббота. Андрей Иванович воротился после шабаша прямо домой и принес Александре Михайловне весь заработок. Уж вторую неделю он приносил домой деньги целиком до последней копейки.

Поужинали и напились чаю. Андрей Иванович сидел у стола и угрюмо смотрел на огонь лампы. Всегда, когда он переставал пить, его в свободное от работы время охватывала тупая, гнетущая тоска. Что-то вздымалось в душе, куда-то тянуло, но он не

знал куда, и жизнь казалась глупой и скучной. Александра Михайловна и Зина боялись такого настроения Андрея Ивановича; в эти минуты он сатанел и от него не было житья.

Андрей Иванович послал жену купить «Петербургский листок», прочел его от передних до задних объявлений. Потом стал просматривать взятый им из мастерской сборник куплетов «Серебряная струна»... Нет, все было скучно и плоско...

Пришла Катерина Андреевна.

Она жила теперь на отдельной квартире, но Ляхов не оставлял ее в покое. Он поджидал ее при выходе из мастерской, подстерегал на улице и требовал, чтоб она снова шла жить к нему. Однажды он даже ворвался пьяным в ее квартиру и избил бы Катерину Андреевну насмерть, если бы квартирный хозяин не позвал дворника и не отправил Ляхова в участок. Катерина Андреевна со страхом покидала свою квартиру и в мастерскую ходила каждый раз по разным улицам.

— Ведь этакий острожник, а?! — негодовала она. — Вот связалась на свою погибель! Это ведь такой бешеный, ему и зарезать нипочем человека.

Андрей Иванович мрачно слушал, терзаемый тоской и скукою.

Раздался звонок. Мужской голос спросил Елизавету Алексеевну. Ее не было дома. Гость сказал, что подождет, и прошел в ее каморку. Андрей Иванович оживился: ему вообще нравились знакомые Елизаветы Алексеевны, а этот к тому же по голосу был как будто уже знакомый Андрею Ивановичу. Он прислушался: гость сидел у стола и, видимо, читал книгу. Андрею Ивановичу не сиделось.

— Что ему там одному сидеть? — обратился он к Александре Михайловне. — Подогрей-ка самовар да сходи возьми полбутылку рому. Пускай чайку попьет у нас.

Андрей Иванович пошел в комнату Елизаветы Алексеевны. Гость, правда, был знакомый. Это был Барсуков, токарь по металлу из большого пригородного завода; Андрей Иванович около полугода назад несколько раз встречался с Барсуковым у Елизаветы Алексеевны и подолгу беседовал с ним.

— Это вы, Дмитрий Семенович! — воскликнул Ан-

дрей Иванович. — То-то я слушаю, — что это, как будто голос знакомый?.. Здравствуйте! Что же вы тут одни сидите? Заходите к нам, выпейте стаканчик чаю!

— Да я уж, собственно, пил, — ответил Барсуков и с усмешкою прервал себя: — А впрочем... хорошо! Что ж так сидеть?

Он пошел с Андреем Ивановичем в его комнату. Андрей Иванович суетливо оправил на столе скатерть.

— Что это как вас долго не было видно? Садитесь... Сейчас жена ромцу принесет, мы с вами выпьем по рюмочке.

Барсуков подошел к Екатерине Андреевне, назвал себя и тряхнул ее руку, потом присел к столу.

— Да вы, голубчик, оставьте, не суетитесь. Я пить все равно не буду.

Он увидел лежащую на столе «Серебряную струну», перелистал ее и, отложив в сторону, взял с комода еще пару книг.

Андрей Иванович законфузился.

— Э, не смотрите: ерунда! Я их так себе, от скуки, из мастерской взял. Глупые идеи, нечего читать: одна только критика, для смеху... Ну, а вот оно и подкрепление нам!

Александра Михайловна принесла ром.

Андрей Иванович откупорил бутылку, отер горлышко краем скатерти и налил две рюмки.

— Пожалуйте-ка, Дмитрий Семенович!.. За ваше здоровье!

— Нет, спасибо, я не пью!

— Ну, ну, пустяки какие! По маленькой ничего не значит.

— Каждый раз у нас с вами та же канитель повторяется. И по маленькой не пью, спасибо!

— Ну во-от!.. — разочарованно протянул Андрей Иванович. — Что же мне, не одному же пить! Маленькая не вредит, — что вы? Выпьем по одной! Ром хороший, рублевый, — он проясняет голову.

Барсуков с усмешкою пожал плечами, поднялся и неловко зашагал по комнате.

— Что же это такое? Одному и пить как-то неохота... Катерина Андреевна, выпьемте с вами!

Она засмеялась и кокетливо покосилась на Барсукова.

— Вот еще! Что это вы, Андрей Иванович, так меня конфузите!

— Так ведь я же вам не голый ром, я вам в чай подолью.

— Нет, нет, уж пожалуйста!

— Да вы погодите, я вам сделаю жженку. Весь спирт сгорит, один только букет останется.

Он поместил ложечку над чашкою Катерины Андреевны, положил в ложечку сахар, обильно полил его ромом и зажег... Синее пламя, шипя, запрыгало по сахару.

— Ну вот, попробуйте теперь! — самодовольно сказал Андрей Иванович. — Самый дамский напиток... Будьте здоровы!

Он коснулся рюмкою края чашки, выпил рюмку и крякнул.

— Нет, Дмитрий Семенович, позвольте вам сказать откровенно: я на этот счет с вашими мнениями не согласен. Какой вред от того, чтобы выпить иногда? Мы не мальчики, нам невозможно обойтись без этого.

Барсуков стоял у печки, заложив руки за спину.

— Почему? — сдержанно спросил он.

— Почему? Потому что жизнь такая! — Андрей Иванович вздохнул, положил голову на руки, и лицо его омрачилось. — Как вы скажете, отчего люди пьют? От разврата? Это могут думать только в аристократии, в высших классах. Люди пьют от горя, от дум... Работает человек всю неделю, потом начнет думать; хочется всякий вопрос разобрать по основным мотивам, что? как? для чего?.. Куда от этих дум деться? А выпьешь рюмочку-другую, и легче станет на душе.

— Для чего же это бежать от дум-то? Не мешало бы, напротив, осмыслить всякие явления, понять их: почему это должно быть привилегией интеллигенции? Вином думы заливать, — далеко не уйдешь.

— Я не спорю против этого! — поспешно сказал Андрей Иванович. — Я сам всегда это самое говорю, — что нужно стремиться к свету, к знанию, к этому... как сказать? — к прояснению своего разума. А что только выпить не мешает, — изредка, конечно:

от тоски! Когда уж очень на душе рвет! То-олько!.. А как серый народ у нас, особенно фабричные по трактам, — их я сам строго осуждаю: напьются так, что вместо лиц одни свиные рыла видят везде, — знаете, как известные гоголевские типы, ревизоры... К чему это? Это — безобразие, стыд! Настоящая Азия! Я очень даже негодую за это на русского человека.

Барсуков помолчал.

— В нынешнее время и по трактам, — который народ идет в кабак, а который в школу, — возразил он. — Азии-то этой, может быть, все меньше становится с каждым годом.

Андрей Иванович безнадежно махнул рукою.

— Ну, где там! Довольно этой Азии у нас, на тысячу лет хватит! Вы меня извините за выражение, только я о русском человеке очень худо понимаю: он груб, дик! Дай ему только бутылку водки, больше ему ничего не нужно. О другом у него дум нет.

Барсуков удивленно поднял брови.

— Как это так — нет? Мало вы, я вижу, знаете. Пригляделись бы, осмотрелись бы кругом, — может быть, и увидели бы. Везде жизнь начинается, везде начинают шевелиться; каждый хочет жить своим умом, хочет понимать, особенно из молодых. Стоячая вода всем надоела. Что действительно — старики это считают излишним, а молодые уже совершенно других убеждений.

Андрей Иванович скептически повел головой.

— Нет, не согласен! Конечно, я не говорю: механики, наборщики, ну там конторщики, наш брат, — переплетчик, — об этих я не говорю. Эти — люди, можно даже сказать, замечательные, образованные, со знаниями. Или вот, скажем, вы или Елизавета Алексеевна. А я говорю о сером народе, о фабричных, о мужиках. Это ужасно дикий народ! Тупой народ, пьяный!

Барсуков слушал, крутил бородку и посмеивался.

— Да вы, может, не там смотрите? — насмешливо спросил он. — Конечно, если по трактирам искать, то трудно найти, или по кабакам... А вы бы в другом каком месте поискали, — в школу бы, скажем, сходили, на курсы. Может быть, увидели бы поучительное... «Дикие», «тупые»! — резко произнес он и перестал смеяться. — Проработает парень двенадцать часов на

заводе, выйдет, как собака, усталый, башка трещит, а бежит на курсы, другой раз и перекурить не успеет. Это от дикости, что ли? К ночи только домой воротится, а утром рано вставай, опять на работу. От дикости это? От дикости он на последний грош газетку выписывает?

Барсуков своею неловкою походкою зашагал по комнате.

— То-то, должно быть, против дикости и старики у нас бунтуются, — с усмешкой продолжал он. — Очень недовольны, что их «просвещенных» понятий больше не уважают! Начнет этакий старик поучения читать: вот, дескать, была у нас в Торжке девушка, и вселились в нее черти; отвезли ее к какой-то там святой бабушке, продержали год, — как рукой сняло; вышла на волю, поела скоромного пирожка, и опять в нее черти вселились... А молодой смеется, спрашивает: пирожок-то, значит, чертями был начинен?.. Старик скажет: гром оттого, что Илья-пророк по небу катается, а молодой ему: какой-такой Илья-пророк? Это — электричество!.. Какая дикость! «Электричество»! А? На курсы вздумал бегать, электричество изучать, кислороды всякие! Уж подлинно — Азия!

— У вас какие же на этих курсах лекции преподают? — спросил заинтересованный Андрей Иванович.

— Разное преподают, — неохотно ответил Барсуков. — Химию, физику, русский язык... алгебру, геометрию...

Он сел к столу и лениво стал прихлебывать чай.

— Полезные предметы, — сказал Андрей Иванович тоном знатока.

— Предметы необходимые... Знаете, сходимте как-нибудь вместе на курсы! — предложил Барсуков и оживился. — Стоит наблюдения. Я курсы кончил, а другой раз нарочно хожу. Вы мало знаете, потому и говорите. Какие живые ребята есть, сознательные! Так и рвутся до знания, все хотят знать в корень. Такого куда ни брось — не заржавеет... И откуда силы берет! Днем на работе, вечером на курсах, придет домой — отдыха не знает, сейчас за книгу, другой раз всю ночь просидит... Это, батенька, не то, что у интеллигенции: ходит себе мальчонка, — в гимназию там,

в университет; заботы ни о чем нет у него, все папаша предоставляет. «Ванечка, миленький, только учись, пожалуйста!» Протащат этак по всем наукам, а там уж и местечко готово: пожалуйте, пожалуйте жалованье!..

— Черт возьми! Ей-богу, надобно бы сходить посмотреть! — воодушевился Андрей Иванович.

— Много поучительного... Старики уж так косятся! — улыбнулся Барсуков. — «Ученые! — говорят, — курсанты! В студенты, что ли, записались? Ничего этого не нужно; грамоту да письмо знаешь — и довольно». Объяснять им, на что человеку знание нужно? Этого они не поймут, — ну, а между прочим, сами замечают, что в нынешнее время везде на заводах больше ценят молодого рабочего, чем который двадцать лет работает, — особенно в нашем машиностроительном деле, старик, тот только «по навыку» может: на двухтысячную дюйма больше или меньше понадобилось, он уж и стоп. А для молодого это пустяки.

Барсуков оживился. Он рассказывал много и долго. Андрей Иванович слушал, и разные чувства поднимались в нем; он и гордился и радовался; и грустно ему было: где-то в стороне от него шла особая, неведомая жизнь, серьезная и труженическая, она не бежала сомнений и вопросов, не топила их в пьяном угаре; она сама шла им навстречу и упорно добивалась разрешения. И чем больше Андрей Иванович слушал Барсукова, тем шире раздвигались перед ним просветы, тем больше верилось в жизнь и в будущее, — верилось, что жизнь бодра и сильна, а будущее велико и светло.

— Нет, в нынешнее время о многом начинают думать, — сказал Барсуков. — Никто не хочет на чужой веревочке ходить. Хотят понять условия своей жизни, ее смысл...

Он прошелся по комнате, задумчиво остановился у печки.

— В летошнем году у нас на курсах один, Сергей Александрович, читал русскую литературу. Между прочим, решал вопрос: какая разница между научной литературой и художественной? Научная литература, — если, например, исследовать жилище рабочего: сколько кубического воздуха, какой процент де-

тей умирает, сколько рабочий в год выпивает водки... А художественная литераура то же самое изображает чувствительно: умирает рабочий, — дети голодные, жена плачет, грязь кругом, сырость, есть нечего. И он думает: для чего он всю жизнь трудился, выбивался из сил, для чего он жил? — Барсуков сурово сдвинул брови. — Он жил, а жизни не видел, видел только ее призрак сквозь копоть фабричного дыма... Какая же была цель его существования?

Андрей Иванович порывисто встал и быстро зашагал по комнате.

— Нет, ей-богу, на курсы ваши поступлю! Дай только немножечко поправлюсь, сейчас же запишусь!

Два года назад Андрей Иванович однажды уже сделал опыт — записался в школу; но, походив два воскресенья, охладел к ней; не все там было «чувствительно»,— приходилось много и тяжело работать, а к этому у Андрея Ивановича сердце не лежало; притом его коробило, что он сидит за партой, словно мальчишка-школьник, что кругом него — «серый народ»; к серому же народу Андрей Иванович, как все мастеровые аристократических цехов, относился очень свысока. Но теперь Андрею Ивановичу все это казалось очень привлекательным.

— Совершенно все это в моем духе!.. Ей-богу, вот думаешь-думаешь так о жизни... Какой смысл?.. Зачем?..

Андрей Иванович подвыпил, ему хотелось теперь не слушать, а говорить самому. Выпивая рюмку за рюмкой, он стал говорить о свете знания, о святости труда, о широком и дружественном товариществе.

Катерина Андреевна тоже выпила уж три чашки крепкой жженки. Глаза ее блестели, на щеках выступил румянец. Она подсела ближе к Барсукову, брала его за локоть, горячим взглядом смотрела в глаза и спрашивала:

— А вы читали «Макарку-душегуба»? Правда, интересная книга?

Пробило десять часов. Елизавета Алексеевна не возвращалась. Барсуков стал уходить. Подвыпивший Андрей Иванович целовал его и жал руки.

— Вы заходите, Дмитрий Семенович! Я так вам рад!.. Голубчик! Знаете, есть в груди вопросы, как говорится (Андрей Иванович повел пальцами перед

жилетом)... как говорится, — насущные... Накипело в ней от жизни, хочется с кем-нибудь разделить свои мнения... Да! Вот еще! Я вас, кстати, хочу попросить: нет ли у вас сейчас чего хорошенького почитать? Недосуг было это время раздобыться.

— Да вот, не хотите ли, я Елизавете Алексеевне Гросса принес, «Экономическую систему Карла Маркса»? Полезная брошюра. Тогда ей отдадите.

Барсуков ушел. Катерине Андреевне тоже пора было домой, но она боялась идти одна, чтоб не встретиться с Ляховым. Александра Михайловна взялась ее проводить, и они ушли.

Андрей Иванович быстро расхаживал по комнате. Он чувствовал такой прилив энергии и бодрости, какого давно не испытывал. Ему хотелось заниматься, думать, хотелось широких, больших знаний. Он сел к столу и начал читать брошюру. В голове кружилось, буквы прыгали перед глазами, но он усердно читал страницу за страницей.

Александра Михайловна проводила Катерину Андреевну до ворот ее дома и стала прощаться.

— Ну куда вы, Александра Михайловна? Зайдите ко мне хоть на четверть часика! Посмотрите, как я живу. Ведь вы еще не были у меня.

Они прошли через двор к деревянному флигелю и стали подниматься по крутым ступеням лестницы. Было темно, и пахло кошками. На площадке они столкнулись с квартирною хозяйкою Катерины Андреевны.

— Это вы, Катерина Андреевна? Идите скорей, вас уж час целый жених ждет. Самовар я наставила.

И хозяйка пошла вниз. Александра Михайловна остановилась и испуганно спросила:

— Ляхов?

— Н-нет, — в замешательстве ответила Катерина Андреевна. — Писец один, из больничной конторы. Елизаров.

— Писец?

— Да... Он сказал, что поживет со мною так три месяца, и если я буду вести себя прилично, то женится на мне.

— Немножко скоро у вас дело делается! — Александра Михайловна кусала губы, чтоб не расхохотаться.

Катерина Андреевна мечтательно смотрела своими большими глазами в тусклое окно лестницы.

— Ляхов так жил со мною, а этот жениться обещает. Тогда не нужно будет на работу ходить, можно будет детей иметь, свое хозяйство вести... Пойдемте, я вас познакомлю. Он хороший!

Они вошли в квартиру. У стола сидел человек с черными усиками, двойным подбородком и черными, похожими на пуговицы глазами. Держался он странно прямо, как будто вместо спинного хребта у него была палка. На столе стояла бутылка портвейну, виноград и кондитерские пирожные, на постели лежала гитара.

Катерина Андреевна быстро подошла и весело заговорила:

— Это ты, Ваня!.. Здравствуй! Вот если бы я знала, кто у меня сидит! Александра Михайловна, это мой жених. А это моя хорошая подруга, Александра Михайловна Колосова.

Елизаров галантно и солидно расшаркался, пожал Александре Михайловне руку.

— Садитесь! — продолжала Катерина Андреевна. — Как раз и самовар поспел... Умный мальчик, что без меня чаю не пил!

Она бросила на Елизарова смеющийся, ласкающий взгляд. Елизаров покручивал большим пальцем и мизинцем острый кончик правого уса.

— Я один без дам никогда на это не решусь! — Он обратился к Александре Михайловне: — Погода сегодня дурная-с!

— Да, холодно на дворе.

— Да, холодно-с! Дождь — не дождь, снег — не снег идет. Как говорится, неприятная погода... Не угодно ли виноградцу? Будьте любезны! Катюша, а ты что же?

Александра Михайловна просидела с полчаса. Катерина Андреевна болтала и смеялась, не спуская с Елизарова блестящих, манящих к себе глаз. Елизаров солидно посмеивался, крутил свои усики и говорил любезности.

Александра Михайловна ушла в одиннадцать часов. Елизаров остался у Екатерины Андреевны.

На первой неделе великого поста, в четверг, были именины Андрея Ивановича. Он собрался праздновать их, как всегда, очень широко. Александра Михайловна плакала и убеждала его быть на этот раз поэкономнее; Андрей Иванович начал доказывать, что и без того покупается лишь самое необходимое, но потерял терпение, обругал Александру Михайловну и велел ей, не рассуждая, идти и купить, что нужно.

К восьми часам вечера стали собираться гости. Пришли четыре товарища Андрея Ивановича по мастерской, Лестман, Арсентьев, один приказчик, несколько замужних женщин и модисток. Пришла и Катерина Андреевна.

— Я слышал, вы помирились с Ляховым? — спросил ее Андрей Иванович. — Мне вчера Ляхов говорил в мастерской.

— Где помирились, господи! Не знаю, куда спрятаться от него!.. Вчера подстерег меня у Мытнинского моста, не дает пройти; скажи, говорит, что простишь меня! Что ж мне было делать? Когда на меня кричат, я могу противиться, а когда просят, — как ответить? Обещался вечером прийти ко мне прощенья просить. Я на весь вечер ушла к подруге и ночевать осталась у нее... Уж и подумать боюсь, что будет, когда опять встречу его. Право, он меня убьет!

Праздник был в разгаре. Сменили уж третий самовар. На столе то и дело появлялись новые бутылки пива. Товарища Андрея Ивановича, переплетного подмастерья Генрихсена, хорошего гитариста, упросили сходить домой и принести гитару. Стали танцевать кадриль.

Танцевальной залой служила кухня. Тучный Генрихсен сидел, отдуваясь, на постели хозяйки, прихлебывал пиво и играл кадриль на мотивы из «Прекрасной Елены». Андрей Иванович дирижировал. В свое время он был большим сердцеедом и франтом и чувствовал себя теперь в ударе.

Грациозно размахивая руками, он семенящим шагом подвигался вперед рядом со своею дамою.

— Сильвупле! — командовал он. — Оренбур!.. — При этом все делали шэн и вертелись с дамами раз

по десяти. — Комансэ! — выкрикивал Андрей Иванович.

Каждый танцевал, не руководствуясь командою Андрея Ивановича; да он и сам ее не понимал. Но всем было приятно танцевать под французские выкрики. Стоял женский смех, ноги сухо шаркали по полу.

После кадрили стали танцевать польку. Катерина Андреевна была царицею бала. Стройная и изящная, с глазами, блестевшими от оживления и портвейна, она была обворожительна; ее приглашали наперерыв. Андрей Иванович по причине одышки не танцевал польки. Он любезничал с дамами, угощал их портвейном, а когда их уводили танцевать, он, скрывая улыбку, следил за Елизаветой Алексеевной. Елизавета Алексеевна все время танцевала, и Андрею Ивановичу было смешно смотреть, как в толпе прыгало и мелькало ее бледное лицо, по-всегдашнему серьезное и строгое, с сдвинутыми бровями.

Полька кончилась. Потные танцоры, обмахиваясь платками, пили и закусывали в комнате Колосовых. Вдруг в дверях появился Ляхов.

Все смутились. Большинство знало об его истории с Катериной Андреевной. Ляхов вошел бледный и печальный, приблизился к Андрею Ивановичу и поздравил его с ангелом. Потом, словно не замечая Катерины Андреевны, молча сел в угол.

Катерина Андреевна была бледна и дрожала. Она повела плечами и обратилась к Александре Михайловне:

— Как у вас от окна дует! Дайте мне, пожалуйста, платок: такой холод!

Понемногу смущение улеглось.

Снова раздались говор, смех, шутки. Пили, чокаясь стаканами. Приказчик из мануфактурного магазина Семыкин, молодой человек с ярко-красным галстуком, тщетно умолял выпить хоть *рюмку* пива двух сестер, модисток Вереевых. Они смеялись и отказывались. Семыкин выпивал стакан пива и возобновлял свои мольбы. Ляхов сидел, забившись в угол за комодом, и молча пил стакан за стаканом.

Александра Михайловна попросила сестер Вереевых спеть что-нибудь. Они закраснелись и замахали руками.

— Ах, что вы, что вы, Александра Михайловна! Ни за что!

Их стали упрашивать. Сестры долго отнекивались, наконец согласились. Сели рядом и откашлялись.

— А горлышко-то прочистить? — сказал Семыкин, подсел к ним и подал рюмку с пивом.

Сестры засмеялись, потом сделали серьезные лица, переглянулись и запели цыганскую песню. Голоса у них были слабые, но звучали приятно; пели они в один голос:

Вьются песенки цыган,
Прикрывая свой обман,
За стаканом пьют стакан,
В голове — туман...

— Туман! — басом сказал Семыкин.

Младшая Вереева возразила:

— Конечно, туман! Когда пьют, тогда в голове становится туман.

— Разве это не правда? — спросила старшая.

— Вполне справедливо. Ну-ка, туманцу рюмочку! — И Семыкин протянул рюмочку с пивом. Сестры прыснули.

В комнате было жарко и душно. Александра Михайловна открыла форточку. Кисейная занавеска заколебалась, в комнату подуло сырым, туманным холодом.

После веселого романса сестры спели несколько грустных песен. Головы кружились от выпитого пива, и на душе у всех стало тихо, нежно.

Помнишь ли, милая, ветви тенистые,
Ивы над темным прудом?
Волны плескались кругом серебристые,
Там мы сидели вдвоем.
Там поклялись мы при лунном сиянии
Вечно друг друга любить...
Помнишь ли, милая, наши свидания?
Как же их трудно забыть!

Слушатели были задумчивы... В раскрытую форточку тянуло гнилою сыростью, в тесной комнате пахло пивом и табаком, лица у всех были малокровные, истощенные долгим и нездоровым трудом, — а песня говорила о какой-то светлой, ясной жизни и о светлой любви среди природы.

Пел соловей свои песни могучие,
Стан твой сжимал я рукой...

Вдруг все взгляды обратились в угол за комодом. Пение смолкло. Ляхов, подперев голову руками и впившись пальцами в волосы, рыдал, низко наклонясь над столом. Он рыдал все сильнее. Мускулистые плечи судорожно дрожали от рыданий.

— Василий Васильевич, что это с вами? Успокойтесь! — сказала испуганная Александра Михайловна. — Выпейте воды холодной!

Она побежала в кухню и принесла из-под крана воды.

Ляхов вышел на середину комнаты, бледный, всклокоченный, с распухшими глазами.

— Скажи, Андрей, зачем ты меня сюда допустил? Разве мне тут место?.. У вас тут хорошо и благородно, совесть у всех спокойна, вы можете песни петь, смеяться... А я — я вижу, какой я... подлец... и грязный негодяй...

Рыдания не дали ему говорить. Ляхов схватился за лоб и оперся о комод. Он рвал на себе галстук и манишку, чтоб дать волю дыханию.

Андрей Иванович положил ему руку на плечо и страдающим голосом сказал:

— Ну, Вася, полно, что ты? Успокойся!

— Женщины, женщины! — рыдая, проговорил Ляхов. — Теперь только я вижу, как много они дают нам хорошего и как жестоко мы их оскорбляем...

Он вдруг бухнулся в ноги Катерине Андреевне.

— Ай!!! — Она истерически вскрикнула и отшатнулась.

— Катя! Прости меня! Я поступил подло и скверно... Но я не могу жить без тебя... Если ты меня не простишь, я повешусь либо брошусь в Неву... Катечка!

С торчащими вихрами волос, с разорванным воротом, он, рыдая, ползал по полу и целовал подол юбки Катерины Андреевны. Взволнованная Катерина Андреевна отодвигалась от него и робко оправляла юбку.

— Я для тебя, Катя, хуже разбойника, хуже гадины... Скажи, — что мне делать, чтоб ты простила? Все сделаю, что велишь. Топчи, плюй на меня... Только прости, Катя!

Андрей Иванович, бледный и нахмуренный, стоял,

прислонясь спиною к комоду. Александра Михайловна и младшая Вереева смигивали слезы. Вдруг Катерина Андреевна, с заблестевшими глазами, порывисто охватила шею Ляхова и горячо поцеловала его.

Ляхов вскочил на ноги, схватил ее в объятия и осыпал поцелуями. Кругом зашевелились и заговорили.

— Ну, вот и слава богу! — с облегченною улыбкою сказала Александра Михайловна, украдкою отирая слезы. — Давно бы так!

Андрей Иванович провозгласил:

— Черт возьми, нужно выпить для примирения! Тут уже всем следует коньяку, иначе нельзя!.. Катерина Андреевна, позвольте вашу рюмку.

Катерина Андреевна, со счастливым, раскрасневшимся лицом, протянула рюмку.

Все стали чокаться с Катериной Андреевной и Ляховым. Они стали на время главными лицами вечера, словно новобрачные на свадьбе.

Стали опять танцевать. Опять Катерина Андреевна была царицею бала. Все приглашали ее наперерыв, и больше всех Ляхов. И всегда хорошенькая, она теперь, упоенная счастьем, была прекрасна. После вальса Ляхов проплясал трепака. Потом все перешли в комнату и попробовали петь хором; но вышло очень нестройно и безобразно. Упросили снова петь сестер Вереевых.

Ляхов продолжал пить стакан за стаканом, рюмку за рюмкой; он вообще пил всегда очень быстрым темпом. Лицо его становилось бледнее, глаза блестели. Несколько раз он уже оглядел Катерину Андреевну загадочным взглядом. Сестры кончили петь «Мой костер в тумане светит». Ляхов вдруг поднял голову и громко сказал:

— Катька! Ты у меня кольцо в два с полтиной украла... Отдай назад!

Александра Михайловна рассмеялась и бросилась к нему.

— Василий Васильевич, что это! Вот те раз! Вы позабыли, ведь вы *помирились, помирились,* — вспомните-ка!

— Ты мое кольцо стащила, когда от меня ушла! Давай назад! — грубо крикнул Ляхов.

Катерина Андреевна вспыхнула.

— Господи, да что это такое!

— Стыдно вам так говорнть, Васнлнй Васильевич! — сказала Александра Михайловна.

— Нет, не стыдно! Вы не знаете, какая она. Она беременная была, когда я ее взял.

— Слушай, Васька, нам это вовсе не интересно знать! — крикнул Андрей Иванович.

— Она мне должна быть до гробовой доски благодарна, что я ее взял: я ее грех покрыл.

— Как же это вы покрылн? Женились, что ли? — спросила Александра Михайловна.

— Я сказал, что ребенок мой.

— Эка, — «покрыли»! Все равно в воспитательный его отдалн.

Ляхов с презрением и ненавистью оглядывал Катерину Андреевну.

— У нее таких, как я, столько было, сколько у меня пальцев на руках. Ведь она все равно что первая с улицы: любой помани,— оиа сейчас пойдет к иему ночевать. Вон на святках, когда мы на Зверинской жили...

И он бесстыдно начал вывертывать всю подноготную их совместной жизни. Катерина Андреевна, онемев от неожиданности и негодования, сидела и кутала лицо в платок.

Елизавета Алексеевна вскочила с места.

— Александра Михайловна, да как вы ему позволяете?

— Если вы, Василий Васильевич, не перестанете, то ступайте отсюдова! — сказала Александра Михайловна, побледнев.

— Фью-фью-фью-фью! — Ляхов засвистел и насмешливо оглядел обеих.— Слышншь, Андрей, как твоя жена выгоняет твоего друга?

— Я с нею вполне согласен! Это безобразие, конфуз! Сейчас же извиняйся в своем поступке, если хочешь тут оставаться!

— Так ты за жену, против друга?.. Ты должен ей в зубы дать за то, что она смеет гнать твоего гостя вон.

Андрей Иванович гаркнул:

— Ступай вон!

— Не пойду! — спокойно ответил Ляхов, плотнее уселся на стуле и усмехнулся.

— И вам не стыдно, Ляхов?! — воскликнула Александра Михайловна.

— Не стыдно! — хвастливо ответил Ляхов.

— Kurat! (Черт!) Ты пойдес вон! — в бешенстве крикнул Лестман, поднялся во весь рост и стиснул кулаки. Тяжелый, свирепый и сосредоточенный хмель охватил его. Остальные мужчины тоже поднялись.

Ляхов оглядел всех, засмеялся и встал со стула.

— Черт ли мне тут с вами оставаться! Набрали шлюх к себе, смотрю, — что это! Ни одной нет честной женщины!.. Сволочь уличная, барабанные шкуры! Наплевать мне на вас на всех!..

И он, шатаясь, вышел.

IX

На следующий день Андрей Иванович пришел в мастерскую угрюмый и злой: хоть он и опохмелился, но в голове было тяжело, его тошнило, и одышка стала сильнее. Он достал из своей шалфатки неоконченную работу и вяло принялся за нее.

Переплетная мастерская Семидалова, где работал Андрей Иванович, была большим заведением с прочной репутацией и широкими оборотами; одних подмастерьев в ней было шестнадцать человек. Семидалов вел дело умело, знал ходы и всегда был завален крупными заказами. С подмастерьями обращался дружески, очень интересовался их личными делами и вообще старался быть с ними в близких отношениях; но это почему-то никак ему не удавалось, и подмастерья его недолюбливали.

Андрей Иванович лениво скоблил скребком передок зажатой в пресс псалтыри in-quarto. Из-под скребка поднималось облако мелкой бумажной пыли, пыль щекотала нос и горло. Андрей Иванович старался сдерживаться, но наконец прорывался тяжелым кашлем; он кашлял долго, с натугою, харкая и отплевываясь, и, откашлявшись, снова принимался скрести. Рядом с ним приземистый Картавцов, наклонившись, околачивал молотком фальцы на корешке толстой «Божественной комедии». В длинной, низкой мастерской было душно и шумно. В углу мерно стучал газомотор, под потолком вертелись колеса, передаточные ремни слабо и жалобно пели; за спиною Андрея Ивановича обрезная машина с шипящим шумом резала толстые пач-

ки книг; дальше, у позолотных прессов с мерцавшими синими огоньками, мальчики со стуком двигали рычагами. Пол был усеян обрезками бумаги, пахло клейстером и газом.

Генрихсен, с пачкою книг по мышкой, медленно прошел к своему месту, положил книги на верстак и сел, бережно подперев голову рукою. Его полное бритое лицо с короткими усами было бледно и измято, волосы торчали в стороны. Он не шевелился, застыв в деревянной задумчивости. Андрей Иванович кивнул ему головою и вопросительно щелкнул себя по шее. Генрихсен нахмурился и сердито развел руками: он не опохмелялся, и опохмелиться было не на что. Увы, у самого Андрея Ивановича не было в кармане ни гроша. Генрихсен положил голову на другую руку и снова одеревенел.

Налево от Андрея Ивановича, за широким столом, два подмастерья, Ермолаев и Новиков, подклеивали штрейфенами большие, в девять кусков, карты России. Они рассматривали готовую карту. Новиков, молодой парень, поджав подбородок и подмигивая, говорил что-то, а Ермолаев заливался густым, басистым хохотом.

Андрей Иванович положил скребок, потянулся и, засунув руки в карманы, подошел к столу.

— Чего это вы? — сумрачно спросил он.

Новиков почтительно посторонился.

— Да вот, Андрей Иванович, все о путешественниках тужим! — Он юмористически-огорченно указал на карту. — Порастерялись у нас тут кой-какие городки, вот мы и огорчаемся: купит путешественник карту, а города-то и нет, куда ехать. Как быть?

— Листы-то в литографии какие вдоль печатаны, какие поперек, — объяснил Ермолаев. — Там этого не разбирают, сырыми-то они разными оказываются... Город Луга? К черту, срезать! Кому нужно, тот и без карты найдет!.. Казань? Девалась неизвестно куда!.. Вот так карта, ха-ха-ха!

Андрей Иванович молча смотрел работу и сквозь зубы спросил:

— Почем положил хозяин?

— Тринадцать копеек. Сам, говорит, взял по двадцать.

— По двадцать? Врет! — уверенно сказал Андрей Иванович.

Ермолаев перестал смеяться и добродушно возразил:

— Ну, врет! С чего ему врать? На копейку клею пойдет, а на три коленкору, три копейки барыша; тридцать рублей на заказ. Чего же ему? Довольно!

— Гм! Чертодалову-то нашему довольно?.. Уж не знаю! — усмехнулся Новиков и взглядом обратился к Андрею Ивановичу за одобрением.

Подошел Генрихсен, постоял, тупо и сонно глядя на них, и подвинулся к усердно работавшему Картавцову.

— Послушьте! Что, у вас двадцать копеек нету до субботы?

Картавцов растерянно положил молоток и стал поспешно шарить по карманам.

— Нету, Генрих Федорович!

Андрей Иванович мрачно следил за Картавцовым.

— Почему же у тебя нет? — резко спросил он. — Или уж все деньги в сберегательную снес?

Широкое лицо Картавцова стало еще более растерянным и жалким. Андрей Иванович не выносил его скопидомства и систематически преследовал за него Картавцова, то добродушно, то злобно, смотря по настроению.

— Он прослышал, что вы вчера именинник были,— вмешался Новиков.— Нет, говорит, поостерегусь, ни гроша не возьму с собою: вдруг кто на похмелье двугривенный попросит! Дашь, а он до субботы помрет... Всего капиталу решишься, придется по миру идти!

— У тебя, Генрихсен, залогу нет ли? Под залог он даст! — захохотал Ермолаев.

Все, вслед за Андреем Ивановичем, стали по привычке травить Картавцова. Многие сами имели при себе деньги, но об этом они не помнили.

Картавцов густо краснел и хмурился.

— Да нету же у меня, господи! Ну, ей-богу, нет, вот!

— Почему же у тебя нету? — продолжал допрашивать Андрей Иванович. — Ты денег не пропиваешь, значит, должны быть у тебя; а у кого есть деньги, тот с пустым карманом не уйдет из дому, потому что это неловко.

Картавцов, страдальчески нахмурившись, молчал

и с преувеличенным стараинем околачивал на книге фальцы.

— Това-а-рищ... — с презрением протяиул Андрей Иванович.— Хоть поиздохии все кругом, ему только одна забота, — побольше домой к себе натаскать. Настоящнй муравей! Зато, дай десять лет пройдет, сам хозяином станет, мастерскую откроет... «Григорий Антоныч, будьте милостивы, иельзя ли работки раздобыться у вас?..»

Вошел мастер, Александр Дмитриевич Волков, мужчина с выхолениыми светло-русыми усами и остриженый под гребенку. Все взялись за работу. Он спросил:

— Ляхова опять иет? Черт знает что такое! Вот субъект! Лобшицу в поиедельиик заказ сдавать, а ои тянет. Возьмите, Колосов, вы его работу, псалтыри потом коичите.

В это время вошел Ляхов с опухшим лицом, пьяиый.

— Ну, слава богу, явнлся иакоиец! — сердито сказал мастер. — Вы что же, Ляхов, в мастерскую только для прогулки приходите, для моциоиу? Когда у вас заказ Лобшица будет готов?

— Когда срок прндет, тогда и будет готов! — грубо ответил Ляхов, вытаскивая из шалфатки пачку книг.

— Да вы опять пьяиы! — воскликиул мастер.

— Не иа ваши ли деиьги пил?

Мастер покраснел от гиева и закусил усы.

— Ну-ну, посмотрим! Вам, видно, штрафоваться еще ие иадоело!.. Прекрасио!

И он быстро вышел в коитору.

Андрей Иванович чистил щеточкою выскобленый обрез. Ляхов бросил иа верстак книги и большими шагами подошел к нему.

— Ты у меня сейчас будешь лежать под верстаком! — объявил он.

— Что так? Почему? — спроснл Андрей Иваиович.

— Ты чего ие в свое дело суешься? Зачем ты меня вчера с Катькой поссорил?

Ляхов грозно и выжидающе в упор глядел на Андрея Иваиовича.

— Я тебя поссорил? — удивился Андрей Иваиович.

Вдруг Ляхов со всего размаху ударил Андрея Ивановича кулаком в лицо.

Удар пришелся в нос. В голове у Андрея Ивановича зазвенело, из глаз брызнули слезы; он отшатнулся и стиснул ладонями лицо. Сильные руки схватили его за борты пиджака и швырнули на пол. Ляхов бросился на упавшего Андрея Ивановича и стал бить его по щекам.

Ошеломленный неожиданностью и болью, не в силах подняться, Андрей Иванович беспомощно протягивал руки и пытался защищаться. В глазах у него замутилось. Как в тумане, мелькнуло перед ним широкое лицо Картавцова, от его удара голова Ляхова качнулась в сторону. Андрей Иванович видел еще, как Ляхов бешено ринулся на Картавцова и сцепился с ним, как со всех сторон товарищи подмастерья бросились на Ляхова...

Когда Андрей Иванович пришел в себя, Ляхова в мастерской уже не было; Генрихсен и мастер брызгали ему в лицо холодною водою, хозяин взволнованно расхаживал по узкому проходу между верстаками и прессами.

Андрей Иванович сидел на табуретке, прижавшись головою к рукаву поддерживавшего его Ермолаева, и рыдал, как женщина.

— Хам этакий, негодяй! — повторял Ермолаев, задыхаясь от негодования.

Картавцов, с блестящими глазами, с широкою ссадиною на левой скуле, стоял, тяжело переводя дыхание.

— Сейчас же на расчет его! — сказал хозяин. — И десять рублей штрафу за буйство!.. Подавайте, Колосов, к мировому, я сам буду свидетелем... Этакий скот! Черт знает что такое!.. За что это он вас?

Андрей Иванович, не отвечая, рыдал. Товарищи участливо окружили его и наперерыв старались услужить. Мальчики и чернорабочие с любопытством толпились вокруг, в дверь заглядывали сбежавшие сверху фальцовщицы.

Хозяин сказал:

— Вот что, Колосов, поезжайте лучше домой, успокойтесь. Стоит обижаться на этого пьяного зверя! Даю вам слово, завтра же его не будет у меня в мастерской.

Ермолаев отвез Андрея Ивановича домой на извозчике.

X

Андрей Иванович пролежал больной с неделю. Ему заложило грудь, в левом боку появились боли; при кашле стала выделяться кровь. День шел за днем, а Андрей Иванович все не мог освоиться с тем, что произошло: его, Андрея Ивановича, при всей мастерской отхлестали по щекам, как мальчишку, — и кто совершил это? Его давнишний друг, товарищ! И этот друг знал, что он болен и не в силах защититься! Андрей Иванович был готов биться головою об стену от ярости и негодования на Ляхова.

Но рядом с этим ему довелось пережить теперь немало и очень сладких минут. Случай с Андреем Ивановичем вызвал в мастерской всеобщее горячее участие к нему. Хозяин прислал ему на лечение из больничной кассы двадцать пять рублей, товарищи все поголовно перебывали у Андрея Ивановича, приносили ему коньяку, апельсинов, ругали Ляхова и желали Андрею Ивановичу поскорей поправиться. Андрея Ивановича — отзывчивого, действительно готового для товарищей на все, — невыразимо трогало малейшее проявление товарищеского чувства к нему; в простом слове участия к его горю он был готов видеть торжество какого-то широкого братства. По уходе гостя он долго лежал, задумавшись, с застывшею на лице светлою улыбкою, счастливый и гордый. О Картавцове Андрей Иванович вспоминал не иначе как с умилением: этого Картавцова он всегда так беспощадно и жестоко преследовал, — а тот, забыв все обиды, первый бросился ему на выручку...

Через неделю Андрей Иванович вышел на работу.

Он вошел в мастерскую, стараясь ни на кого не смотреть, стыдясь того оскорбления, которое он получил. Начатые им псалтыри — заказ неспешный — лежали в его верстаке нетронутыми. Андрей Иванович начал вставлять книги в тиски.

— Здравствуй, Колосов! — раздался за его спиною голос.

Андрей Иванович вздрогнул, как от удара кнутом, и быстро обернулся. Перед ним стоял Ляхов, заискивающе улыбался и протягивал руку. Ляхов был в своей рабочей блузе, в левой руке держал скребок. Андрей Иванович, бледный, неподвижно смотрел на Ляхова:

он был здесь, он по-прежнему работал в мастерской! Андрей Иванович повернулся к нему спиной и медленно пошел в контору.

Хозяин был в конторе. Увидев Андрея Ивановича, он смутился.

— А-а, Колосов, здравствуйте! — ласково произнес он. — Ну, как вы себя чувствуете?

Андрей Иванович, тяжело дыша, глядел на хозяина.

— Ляхов остается у вас? — с трудом сказал он.

— Нет! — решительно ответил Семидалов. — Я ему сказал, что оставлю его лишь в том случае, если вы его простите. Откровенно говоря, лишиться мне его теперь очень невыгодно: вы знаете, какой он хороший золотообрезчик, а пасха на носу, заказов много... Но, во всяком случае, все дело совершенно зависит от вас.

— *Я его не прощаю!* — раздельно произнес Андрей Иванович.

Семидалов недовольно пожал плечами.

— Ваше дело!.. Правду говоря, мне немного странно, что вы относитесь так к вашему старинному товарищу; вы должны бы знать, что у него действительно были большие неприятности; невеста его бросила, он все время пьяный валяется по углам, — со стороны смотреть жалко; притом он сам себе теперь не может простить, что так оскорбил вас. Все это не мешало бы принять в расчет.

— Вам тоже не мешало бы принять в расчет, что он завтра же может опять избить меня в вашей мастерской. А я, Виктор Николаевич, человек больной.

— Ну, знаете, если об этом говорить, то ведь в конце концов он может вас избить и на улице и у вас на квартире. — Семидалов старался не встретиться с упорным, пристальным взглядом Андрея Ивановича.

— На улице против этого есть полиция, в квартире это будет мое дело... Ну, да все равно! Позвольте мне на расчет, — сорвавшимся голосом произнес Андрей Иванович.

— Что вы, что вы, Колосов? Полноте! Я от своего слова никогда не отказываюсь. Я вам дал его и сдержу. Если вы мне заявите, что не хотите работать с Ляховым... А-а, Вильгельма Адольфович! — прервал он себя и встал, любезно улыбаясь.

В контору вошел издатель детских книг Лобшиц, постоянный заказчик заведения.

— Вы, Колосов, зайдите ко мне в контору после обеда, — скороговоркой сказал Семидалов. — Мы с вами еще потолкуем как следует.

Подмастерья и фальцовщицы расходились обедать.

Андрей Иванович спустился на улицу. Прошел Гребецкую, повернул налево и вышел к Ждановке. Был яркий солнечный день, в воздухе чуялась весна; за речкой, в деревьях Петровского парка, кричали галки, рыхлый снег был усыпан сучками; с крыш капало.

Андрей Иванович, присев на низкие деревянные перила набережной, неподвижно смотрел вдаль... Ляхова хозяин не прогонит, — это Андрей Иванович понял сразу; и его первым решением было — сейчас же уйти самому; теперь новая, мучительная мысль пришла ему в голову: *да ведь его уход для хозяина вовсе не страшен,* напротив, хозяин будет очень рад избавиться от него! Андрей Иванович вспомнил, как недовольно морщился Семидалов, когда он просил у него вперед денег или пропускал по болезни несколько дней; еще две недели назад, когда Андрей Иванович попросил уволиться на полдня, чтоб сходить к доктору, хозяин с пренебрежительной усмешкой ответил: «Можете хоть совсем уволиться!..» Очень он накажет Семидалова своим уходом! Его и так держат из милости... Где же ему тягаться с Ляховым, у которого дело так и кипит в руках?

И главное, Андрей Иванович видел, что ему некуда уйти от Семидалова. Кто возьмет его такого — больного и слабого? Придется умереть с голоду. Само по себе это бы еще не испугало Андрея Ивановича. Но как только он представил себе, в каком он тогда положении окажется дома, Андрей Иванович почувствовал, что уйти ему от Семидалова невозможно: без работы, даже без надежды получить ее, как сможет он укрощать Александру Михайловну? Тогда придется работать ей, а он... он будет жить на ее содержании? Нет, лучше что угодно, только не это!

К трем часам Андрей Иванович воротился в мастерскую. Хозяин, видимо, поджидал его и сейчас же велел позвать к себе. Андрей Иванович, с накипавшими рыданиями обиды и злобы, вошел в контору.

Семидалов торжественно произнес:

— Ну, Колосов, решайте, оставаться у меня Ляхову или нет! Я сейчас узнал от него, что он помирился со своей невестой и после пасхи женится. Неужели даже ради этой радости вы не согласитесь его простить?

Дверь открылась, и вошел Ляхов. Опустив глаза, он медленно сделал два шага к Андрею Ивановичу и тихо сказал:

— Можете ли вы меня, Колосов, простить?

Андрей Иванович, тяжело дыша, растерянно оглядывал Ляхова.

— Могу ли я... простить?

Ляхов стоял, смиренно опустив голову. Но Андрей Иванович видел, как насмешливо дрогнули его брови, видел, что Ляхов в душе хохочет над ним и прекрасно сознает свою полнейшую безопасность. Судорога сдавила Андрею Ивановичу горло. Он несколько раз пытался заговорить, но не мог.

— Помнишь, Вася, — наконец сказал он, — помнишь, восемь лет назад мы с тобой однажды поссорились? После этого мы обещались, что всегда будем уступать тому, кто из нас пьянее... и никогда не тронем друг друга пальцем. Я это обещание... сдержал...

Андрей Иванович замолчал и отвернулся, судорожно всхлипывая.

— Какое зверство! — продолжал он, весь дрожа от рыданий. — Ты, сильный, крепкий, — ты решился бить своего больного товарища... За что?..

Ляхов быстро заморгал глазами и потянул в себя носом.

— Ну, Андрей... прости! — Его голос дрогнул и губы жалко запрыгали.

Андрей Иванович услышал, как дрогнул голос Ляхова. Счастливый жар обдал сердце. Но вдруг он вспомнил, что ведь он *должен* простить Ляхова, что ему другого выбора нет... Андрей Иванович стиснул зубы.

— Ну что же, Колосов, прощаете вы своего товарища? — спросил Семидалов. — Он вас жестоко обидел, но вы видите, как он раскаивается... Миритесь, миритесь, господа! — с улыбкою сказал он и подошел к ним. — Ну, пожмите друг другу руки в знак примирения!

Он соединил руки Андрея Ивановича и Ляхова. Они

обменялись рукопожатиями. Хозяин весело воскликнул:

— Вот и прекрасно! За те дни, которые вы пролежали по вине Ляхова, вы получите из его заработка... Желаю вам всегда жить в дружбе. Вот Ляхов скоро женится на своей Кате, — вы у него будете на свадьбе шафером.

— Женатые шаферами не бывают! — ответил Андрей Иванович, с ненавистью оглядел Семидалова и вышел из конторы.

XI

Для Андрея Ивановича начались ужасные дни. «Ты — нищий, тебя держат из милости, и ты должен все терпеть», — эта мысль грызла его днем и ночью. Его могут бить, могут обижать, — Семидалов за него не заступится; спасибо уж и на том, что позволяет оставаться в мастерской; Семидалов понимает так же хорошо, как и он сам, что уйти ему некуда.

И Андрей Иванович продолжал ходить в мастерскую, где бок о бок с ним работал его ненаказанный обидчик. Все шло совсем по-обычному. Товарищи попрежнему здоровались, разговаривали и пили с Ляховым, и никто даже не вспоминал о той страшной обиде, которую ни за что ни про что нанес Ляхов их больному товарищу. Андрей Иванович стал молчалив и сосредоточен; за весь день работы он иногда не перекидывался ни с кем ни словом. Ляхов пытался с ним заговорить, всячески ухаживал за ним, но Андрей Иванович не удостаивал его даже взгляда.

Он мог бы простить Ляхова — о, он простил бы его с радостью, горячо и искренно,— но только если бы это было результатом его свободного выбора. Теперь же само желание Ляхова получить прощение смахивало на милостыню, которую он по доброй воле давал обиженному Андрею Ивановичу. А для Андрея Ивановича ничего не могло быть ужаснее милостыни.

Здоровье его после побоев Ляхова не поправлялось. С каждым днем ему становилось хуже; по ночам Андрей Иванович лихорадил и потел липким потом; он с тоскою ложился спать, потому что в постели он кашлял, не переставая, всю ночь — до рвоты, до крови; сна

совсем не было. Во время работы стали появляться мучительные боли в груди и левом боку; поработав с час, Андрей Иванович выходил в коридор, ложился на пол, положив под себя папку, и лежал десять — пятнадцать минут; отдышавшись, снова шел к верстаку. И часто он с отчаянием думал о том, что его «хроническое воспаление легких», по-видимому, переходит в чахотку.

Вырабатывал теперь Андрей Иванович страшно мало. Даже не пропустив за неделю ни одного дня — а это бывало редко, — он приносил в субботу домой не более четырех-пяти рублей. Настоящая нужда была теперь дома, и Александре Михайловне не нужно было притворяться, что нельзя достать в долг, — в долг им, правда, перестали верить. Платить за комнату десять рублей было теперь не по средствам; они наняли за пять рублей на конце Малой Разночинной крошечную комнату в подвальном этаже; в двух больших комнатах подвала жило пятнадцать ломовых извозчиков. Воздух был промозглый, сырой, в углах стояла плесень, капитальная стена была склизка и холодна на ощупь. Зина худела и жаловалась на ломоту в ногах, Андрей Иванович стал кашлять еще больше. И всетаки он не позволял Александре Михайловне искать работы.

Жизнь Александры Михайловны и Зины обратилась в беспросветный ад. Они не знали, как стать, как сесть, чтоб не рассердить Андрея Ивановича. Александра Михайловна постоянно была в синяках, Андрей Иванович бил ее всем, что попадалось под руку; в самом ее невинном замечании он видел замаскированный упрек себе, что он не может их содержать. Мысль об этом заставляла Андрея Ивановича страдать безмерно. Но у него еще была одна надежда, и он держался за нее, как утопающий за обломок доски.

У Александры Михайловны был троюродный брат по матери, очень богатый водочный заводчик Тагер; он знал ее ребенком. Года три назад Александра Михайловна решилась сделать ему родственный визит и напомнить о себе. Тагер признал ее и принял очень ласково, расспрашивал о муже, о семье и на прощание просил ее в случае нужды обращаться к нему. Год назад Андрей Иванович начал кашлять, доктор советовал ему переменить занятие. Андрей Иванович вспомнил

о Тагере и через Александру Михайловну попросил у него места. Тагер дал Александре Михайловне карточку к своему приятелю, владельцу многочисленных винных складов в Петербурге. Тот предложил Андрею Ивановичу место в пятьдесят рублей, но в разговоре назвал его «ты». Андрей Иванович вспыхнул.

— Вы, кажется, на вид как будто благородный человек, черный сюртук носите, — сказал он. — К чему же эта серая мужицкая повадка — «ты» людям говорить? Вы не в деревне, а в Петербурге.

Разумеется, дело расстроилось. Теперь Андрей Иванович снова послал Александру Михайловну к Тагеру. На этот раз Тагер встретил ее очень холодно и объявил, что, к сожалению, «соответственного» места не имеет для ее мужа. Через неделю Андрей Иванович послал Александру Михайловну снова. Тагер принял ее в передней, не протягивая руки, и сказал, что будет иметь ее мужа в виду и, если что навернется подходящее, известит ее. Александра Михайловна рассказала Андрею Ивановичу, как ее принял Тагер. Андрей Иванович выслушал, закусив губы от негодования и ненависти... и через три дня снова послал ее к Тагеру.

— Андрюша, да пойми же, ну как же я пойду? — со слезами стала возражать Александра Михайловна. — Он даже разговаривать со мною не хочет!

— Должна же ты для мужа хоть немножко постараться, — сердито сказал Андрей Иванович. — Попроси его хорошенько.

— Так ты бы сам лучше пошел.

— Чего я сам пойду? Это твое дело. Он родственник тебе, а не мне.

Он таки заставил ее пойти. У Тагера лакей впустил Александру Михайловну в переднюю, пошел с докладом и, воротившись, объявил, что барина нет дома.

Андрей Иванович, в ожидании Александры Михайловны, угрюмо лежал на кровати. Он уж и сам теперь не надеялся на успех. Был хмурый мартовский день, в комнате стоял полумрак; по низкому небу непрерывно двигались мутные тени, и трудно было определить, тучи ли это, или дым. Сырой, тяжелый туман, казалось, полз в комнату сквозь запертое наглухо окно, сквозь стены, отовсюду. Он давил грудь и мешал дышать. Было тоскливо.

Андрей Иванович отвернулся к стене и попробовал заснуть. Но сон не приходил; при закрытых глазах сумрак давил душу, наполнял ее тоской и раздражением. Андрей Иванович лежал неподвижно пять минут, десять. Вдруг где-то очень далеко раздался звонкий, смеющийся голос Зины. Она весело кричала: «Караул!..»

Где она кричит?.. Андрей Иванович продолжал неподвижно лежать и старался заснуть. Но этот голос, так неподходяще весело звучащий среди тоски и тьмы, раздражал Андрея Ивановича; ему казалось, он именно из-за него не может заснуть.

— Караул! Караул! — задорно и весело неслись издалека крики, как будто отражаемые какими-то сводами.

Андрей Иванович порывисто встал, сунул босые ноги в калоши, накинул пальто и пошел на голос. Зина и кухаркина дочь Полька сидели в сенях, запрятавшись за старые оконные рамы, держали перед ртами ладони и кричали: «Караул!» Каменные своды подвала гулко отражали крики.

— Что это ты тут делаешь? Вылезай-ка! — отрывисто сказал Андрей Иванович.

Зина, испачканная пылью и паутиной, торопливо вылезла из-за рамы.

— Почему ты кричала «караул»?

— Я нарочно! — ответила Зина побелевшими губами.

Андрей Иванович широко раскрыл глаза.

— Как это так — нарочно? Ты не знаешь, когда люди кричат «караул»?

Он притащил Зину в комнату и жестоко оттрепал.

— Сидеть на стуле и молчать! — яростно крикнул он. — Чтоб я твоего голоса больше не слышал!

Зина, сдерживая всхлипывания, взобралась на стул и замерла. Гнев несколько облегчил Андрея Ивановича. Он снова лег на кровать, принял морфия и задремал.

Андрей Иванович спал около часу. Проснувшись, он вдруг почувствовал, что у него на душе стало хорошо и весело; и все кругом выглядело почему-то веселее и привлекательнее; Андрей Иванович не сразу сообразил, отчего это.

Зина радостно кричала на кухне:

— Солнышко! Солнышко!

За время сна Андрея Ивановича небо очистилось, и яркие лучи лились в окно. Конфорка самовара и медная ручка печной дверцы играли жаром, кусок занавеси у постели просвечивал своими алыми розами, в столбе света носились золотистые пылинки; чахлые листья герани на окне налились ярко-зеленым светом.

Зина, в своих расползшихся башмачонках, стояла в кухне перед окном и заливалась смехом.

— Ах, как жить на свете хорошо, когда солнышко светит! — повторяла она, жмурилась и хлопала в ладоши.

Андрей Иванович смотрел на Зину через открытую дверь; он смотрел на ее отрепанное платье и распадавшиеся башмаки, на бледное, прозрачно-восковое лицо и думал о том, что у нее тоже есть своя маленькая жизнь, свои радости и горести, не зависимые от его горя.

Александра Михайловна воротилась от Тагера.

— Ну, что? — рассеянно спросил Андрей Иванович.

— Не принял меня.

Андрей Иванович помолчал.

— Черт с ним! Отъелся, брюхо отпустил себе, где же тут еще о людях думать!.. Знаешь, Шурочка, — поколебавшись, прибавил он, — пока что... Место подходящее не сразу найдешь... Придется и тебе тоже работы какой поискать себе.

Александра Михайловна просияла.

— Да как же иначе? Господи! О чем же я все время говорила тебе? Разве так можно жить? Все равно что нищие стали. Где же тебе теперь одному управиться!

— Ах, оставь, пожалуйста! — раздраженно ответил Андрей Иванович. — Я превосходно могу управиться! Дай подлечусь либо подходящее место получу, тогда твоя помощь будет совершенно излишняя. А что действительно сейчас я мало зарабатываю... Вон у Зины башмаков нету, даже на двор выйти не может, — ты бы вот на башмаки ей и заработала. Нужно и тебе немножко потрудиться, не все же на готовый счет жить.

Они долго обсуждали, чем заняться Александре Михайловне. Выбор был небогатый, — Александра Михайловна толком ничего не умела делать; на языке ее несколько раз вертелся упрек, что вот теперь бы и

пригодилось, если бы Андрей Иванович вовремя позволил ей учиться; но высказать упрек она не осмелилась. Решили, что Александра Михайловна поступит папочницей на ту же фабрику, где работала Елизавета Алексеевна.

XII

В мастерской жизнь шла обычным ходом. Ляхов был по-всегдашнему неизменно весел; и хозяин и товарищи относились к нему хорошо; никто не поминал об его безобразном поступке с Андреем Ивановичем, мало кто даже помнил об этом. Но чем больше забывали другие, тем крепче помнил Андрей Иванович.

Склонившись над верстаком, он угрюмо слушал болтовню и шутки товарищей с Ляховым. Прошло всего три недели, как в этой самой мастерской Ляхов зверски избил его, — и они уже забыли, как сами возмущались этим, забыли все... Самих их ведь никто не даст в обиду, — они хорошие работники; а требовать, чтобы была обеспечена безопасность Андрея Ивановича, — с какой стати? За это, пожалуй, можно еще поплатиться!

Теперь Андрей Иванович с презрением и насмешкой вспоминал о том светлом чувстве, какое в нем раньше возбуждала мысль о товариществе. Он смотрел в окно, как по туманному небу тянулся дым из фабричных труб, и думал: везде кругом — заводы, фабрики, мастерские без числа, в них работают десятки тысяч людей; и все эти люди живут лишь одною мыслью, одною целью — побольше заработать себе, и нет им заботы до всех, кто кругом; робкие и алчные, не способные ни на какое смелое дело, они вот так же, как сейчас вокруг него, будут шутить и смеяться, не желая замечать творящихся вокруг обид и несправедливостей. И всегда так будет.

И ему вдруг пришла в голову мысль: он, Андрей Иванович, болеет, товарищи видят, как он мало зарабатывает, и, однако, ни разу не сделали ему подписки. Эти жалкие люди даже на такую мелочь не способны по собственному побуждению. Андрей Иванович хорошо знал, как обыкновенно производятся подобные подписки: когда он, бывало, подходил с подписным ли-

стом, на котором сам первый вписывал рубль, то лишь двое-трое подписывались охотно, остальные же мялись и подписывались только под влиянием упреков и насмешек Андрея Ивановича. А теперь все они очень рады, что некому их заставить. Не пойдет же Андрей Иванович с подписным листом для себя!.. И он с ненавистью слушал басистый, глупый хохот Ермолаева на шутку Ляхова и вспоминал, что этому самому Ермолаеву, когда он в прошлом году лежал в больнице с воспалением легких, он, Андрей Иванович, собрал по подписке двенадцать рублей.

Это разочарование в товарищах мучило Андрея Ивановича еще больше, чем бессильная ненависть к Ляхову, счастливому, здоровому и сильному. Да и в Ляхове он ненавидел теперь не его самого: в нем для Андрея Ивановича сосредоточилось все товарищество, в которое Андрей Иванович верил, которому был готов служить и которое так жестоко обмануло его.

Ляхов продолжал усиленно ухаживать за Андреем Ивановичем. Но Андрей Иванович упорно и резко отталкивал все его подходы. Ляхов попробовал действовать через Катерину Андреевну. Она пришла в воскресенье к Колосовым, сияющая, счастливая, и пригласила их на свое обручение.

— Вы все-таки выходите за Ляхова? — спросила Александра Михайловна.

— Да.

— А как же тот, черненький? — вполголоса осведомилась Александра Михайловна.

Катерина Андреевна поморщилась и повела плечами.

— Ну его, — скучный он! Вася лучше... Так вы уж, Андрей Иванович, не откажите нам, приходите в воскресенье. Вася вас так просит!

— Пускай ждет! Только, право, не знаю, дождется ли!

Андрей Иванович сумрачно усмехнулся.

Катерина Андреевна помолчала.

— Простили бы вы его, Андрей Иванович! Ну что сердиться! Можно ли с пьяного человека взыскивать? Он так жалеет, что оскорбил вас! Все, говорит, готов сделать, чтоб опять получить дружбу Андрея Ивановича. Право, помирились бы!

— Я не женщина, Катерина Андреевна! — сурово

ответил Андрей Иванович. — Вас вот можно как угодно оскорбить, а потом приласкай вас,— вы и забудете все. А я не могу простить, когда попирают мои права, потому что я не раб, не невольник! Он этого никогда не дождется, так и передайте ему, негодяю!

В следующую субботу, после получки, Андрей Иванович зашел в «Сербию» выпить рюмку коньяку. В отрепанном пальто, исхудалый, с частым, хрипящим дыханием, он медленно подошел к буфету, не глядя по сторонам. Как раз возле буфета сидели за столиком Ляхов, Ермолаев и еще трое подмастерьев.

— Андрей Иванович, садитесь к нам, — сказал Генрихсен. — Что так, одному-то, пить.

Андрей Иванович угрюмо буркнул:

— Мне к спеху!

— Горд стал Колосов! — заметил Ермолаев. — Гнушается своими товарищами.

Андрей Иванович оглядел его с ног до головы.

— Горд? О нет, ты ошибаешься, я вовсе не горд...

Ляхов вдруг быстро встал и подошел к нему.

— Андрей! Ну, будет!.. Ради бога! — умоляюще произнес он, протягивая объятия. — Ну, прости меня! Я перед всеми товарищами прошу тебя: прости!

— Тебе и без моего прощения хорошо живется, — с ненавистью ответил Андрей Иванович.

— Ну, ради бога! Андрюша!.. Тебе моя палка нравилась, позволь мне ее подарить тебе в знак примирения! Из черного дерева палка, семь рублей заплачено... На! Прошу тебя, прими!

Андрей Иванович хотел повернуться и уйти, но вдруг остановился.

— Хорошо, я принимаю! — неожиданно сказал он и взял палку. — Но помни, Васька! — Задыхаясь, он постучал концом палки по столу. — Помни: когда я напьюсь так же, как ты в тот день, я всю эту палку обломаю о твою голову!

В голосе и в лице Андрея Ивановича было что-то до того страшное, что Ляхов побледнел; в его выпуклых глазах мелькнул испуг. Андрей Иванович, тяжело опираясь на палку, вышел из трактира.

На темной улице было пустынно и тихо. Чуть таяло. Андрей Иванович задумчиво шел. Он хорошо заметил, как Ляхов испугался его угрозы. И ему было странно, как это ему до сих пор не пришла в голову

мысль о таком исходе. Конечно, он так и поступит: напьется, придет в мастерскую и на глазах у всех изобьет Ляхова до полусмерти; когда же хозяин вознегодует, то Андрей Иванович удивленно ответит ему: «Ведь у вас в мастерской драться позволяется!»

С этой поры мысль о предстоящей отплате заполнила всю душу Андрея Ивановича; он с наслаждением стал лелеять и обдумывать эту мысль, радуясь и недоумевая, как он не пришел к ней раньше.

Александра Михайловна, получив от Андрея Ивановича разрешение работать, ревностно взялась за новое, непривычное дело. По природе она была довольно ленива; но в доме была такая нужда, что Александра Михайловна для лишней копейки согласилась бы на какую угодно работу.

Попасть на фабрику ей не удалось, и она брала работу из фабрики на дом. В этом было много неудобного: пачечницы, работавшие на самой фабрике, могли все время отдавать работе, — между тем у Александры Михайловны много времени шло даром на ходьбу за материалом, носку и выгрузку товара и т. п. Кроме того, приходилось тратиться на освещение. Но самое невыгодное было то, что, несмотря на все это, работавшие на дому получали меньше, чем работавшие на фабрике: вторым платили за тысячу пачек двадцать копеек, первым же только восемнадцать. Причина этого была непонятна, но так делалось во всех фабриках. Притом домашним пачечницам выдавался и клей низшего качества, и бланки, которые хуже клеились. Вообще к ним относились в фабричной конторе так, как будто они были нищие, приходившие за подаянием.

Работая с пяти часов утра до полуночи, Александра Михайловна могла сготовить три-четыре тысячи пачек. Но редко представлялась возможность наработать столько. Если она приносила за день три тысячи пачек, конторщик сердился: «Что это так скоро? На вас бланков не напасешься. Приходи завтра после обеда!» Иногда бланков не выдавали по два, по три дня. Зато, когда у набивщиков было мало пачек, конторщик начинал торопить Александру Михайловну: «Ты мне, милая, поскорее работу сготовь, хотя пять тысяч принеси, все приму; уж ночь не поспи, а постарайся, а то дело станет». И Александра Михайловна не спала ночь, готовя пачки к сроку.

Когда подсчитывали недельный заработок, оказывалось, что Александре Михайловне следует получить два, два с полтиной.

Андрей Иванович не мог без раздражения смотреть на ее работу; эта суетливая, лихорадочная работа за такие гроши возмущала его; он требовал, чтоб Александра Михайловна бросила фабрику и искала другой работы, прямо даже запрещал ей работать. Происходили ссоры. Андрей Иванович бил Александру Михайловну, она плакала. Все поиски более выгодной работы не вели ни к чему.

Александра Михайловна вспомнила, что Катерина Андреевна как-то говорила ей, что у них в картонажной мастерской зарабатывают полтора рубля в день. Она тайком от Андрея Ивановича пошла к Катерине Андреевне. Катерина Андреевна сильно смутилась и ответила, что сейчас все места у них заняты. Александра Михайловна пошла к ее подруге, которую раза два встречала у Катерины Андреевны. Та расхохоталась и объяснила Александре Михайловне, что мастерицы вырабатывают у них те же пятьдесят — семьдесят копеек, как и везде, а Катерина Андреевна действительно получает полтора рубля, но она их получает от хозяина не только за работу, но и... «за свою красоту»...

XIII

Было Благовещение. Андрей Иванович лежал на кровати, смотрел в потолок и думал о Ляхове. За перегородкою пьяные ломовые извозчики ругались и пели песни. Александра Михайловна сидела под окном у стола; перед нею лежала распущенная пачка коричневых бланков, края их были смазаны клеем. Александра Михайловна брала четырехгранную деревяшку, быстро сгибала и оклеивала на ней бланк и бросала готовую пачку в корзину; по другую сторону стола сидела Зина и тоже клеила.

Андрей Иванович весь кипел раздражением.

— Долго еще эта канитель будет тянуться? — сердито спросил он.— Кажется, сегодня праздник, можно бы и не работать!

Александра Михайловна робко возразила:

— Как же быть, Андрюша? Конторщнк велел, чтоб непремеино к завтраму было шесть тысяч.

— «Конторщик велел»... Мало ли что тебе будет приказывать конторщик!.. Брось, пожалуйста, ты ему ие раба. Засиуть иельзя!.. «Велел»... А зачем он целых три дня всего по тысяче давал тебе?

— Тут уж ие приходится рассуждать.

Андрей Иванович шнроко раскрыл глаза и подиялся на постели.

— Как это ие прнходится рассуждать? Ты ие животиое, а человек, тебе для того и разум дан, чтоб рассуждать. Дура!.. Брось, я тебе говорю!.. Слышншь ты? — грозно крикнул он.

Александра Михайловиа покорио отложила работу. Теперь, когда Андрей Иванович миого бывал дома, она совершенно подчинилась ему и ие смела слова сказать иаперекор. Андрей Ивановнч лежал, злобно иахмурив брови. Александра Михайловиа пошла поставить самовар, потом воротилась и, молча сев к столу, стала читать «Петербургскую газету».

Каждое движение, каждый жест Алексаидры Михайловны возбуждали в Андрее Ивановиче неистовую иенависть. Он сдержнвался, чтоб ие заорать иа нее,— ему было протнвио, что у Алексаидры Михайловны толстый живот, что она сморкается громко и что у нее на правом локте заплата.

— Что это ты читаешь?

— Вот тут иапечатаио: «Миеиие жеищин о мужчииах».

— К чему это тебе знать, скажи, пожалуйста? Для тебя такое чтеиие совсем ие подходяще, ты и так не умиа. Дай сюда газету!

Андрей Иванович вырвал у нее газету н стал чнтать. Через десять миит газета опустилась к нему иа грудь. Он задремал. Но кашель вскоре разбудил его. Андрей Иваиович кашлял долго и никак ие мог откашляться; на лбу вздулись жилы, в комиате распростраиился противиый кисловатый запах, которым всегда иесет от чахоточных.

— А что ж, самовар у тебя ко второму прншествию поспеет? — спросил Андрей Иваиович, перестав накоиец кашлять.

— Самовар готов. Я тебя только тревожнть ие хотела, что ты спал.

Александра Михайловна подала самовар. Андрей Иванович, в туфлях и в жилетке, — всклокоченный, угрюмый, — пересел к столу.

— Сходи купи водки пеперментовой, — отрывисто сказал он.— Выпить охота.

— Андрюша, ведь опять жар у тебя будет, как вчера,— просительно возразила Александра Михайловна.

У Андрея Ивановича загорелись глаза.

— Это ты мне намекаешь, что я на твой счет пью? — спросил он, стиснув зубы.— Дрянь ты паршивая! — закричал он и яростно затопал ногами.— Никогда мне водка не вредит, она мокроту разбивает! Ты мне хочешь сказать, что я от тебя завишу... Не надо мне твоей водки, убирайся к черту!

— Мне не жалко, Андрюша, я пойду.

— Не нужно мне твоей водки, понимаешь ты?.. Гадина! Ничего от тебя не стану принимать! С голоду подохну, а от тебя корки хлеба не приму!

Он, задыхаясь, пошел к кровати и лег. Александра Михайловна тихонько оделась, ушла и принесла пеперментовой водки.

Андрей Иванович лежал на постели и глядел горящими глазами в потолок. Александра Михайловна сказала:

— Готово, Андрюша. Иди!

— Я тебе сказал, что мне не нужно твоей водки,— с ненавистью ответил Андрей Иванович.— Поняла ты это или нет?

Он быстро встал с постели, оделся и вышел вон.

У него спиралось дыхание от злобы и бешенства: ему, Андрею Ивановичу, как нищему, приходится ждать милости от Александры Михайловны! Захотелось чего,— покланяйся раньше, попроси, а она еще подумает, дать ли. Как же, теперь она зарабатывает деньги, ей и власть и все. До чего ему пришлось дожить! И до чего вообще он опустился, в какой норе живет, как плохо одет,— настоящий ночлежник! А Ляхов, виновник всего этого, счастлив и весел, и товарищи все счастливы, и никому до него нет дела.

Андрей Иванович остановился на дамбе Тучкова моста. Куда идти? Идти было не к кому... Единственным человеком, в привязанности которого он не сомневался, был чухонец Лестман, но Андрей Иванович

не мог без раздражения думать о нем. Лестман за это время несколько раз проведывал Андрея Ивановича. Придет, сядет — и молчит и нелепо вздыхает, а уходя, предлагает Андрею Ивановичу взаймы денег. Болван! Очень ему нужны его деньги!.. Вечерело; алые пятна зари на западе тускнели, по набережной в синеватой дымке засветилась цепь огоньков. Андрей Иванович стоял, закусив губы, и мрачно смотрел на огоньки. Вдруг он вспомнил о Барсукове. Не поехать ли к нему? Андрей Иванович пренебрежительно усмехнулся, воротился к разъезду и сел на проходившую конку.

Барсуков со всеми его взглядами казался теперь Андрею Ивановичу удивительно наивным и неумным. Ехал он к нему вовсе не для того, чтобы отвести душу,— нет, ему хотелось высказать Барсукову в лицо, что он — ребенок и тешится собственными фантазиями, что жизнь жестока и бессмысленна, а люди злы и подлы и верить ни во что нельзя.

С иронической улыбкою он мысленно обращался к Барсукову:

«Вы желаете знать, отчего происходит различное электричество и что такое чувствительная литература? Все это совершенно излишне, и никакой от этого не будет пользы».

Поезд пригородной дороги, колыхаясь, мчался по тракту. Безлюдные по будням улицы кипели пьяною, праздничною жизнью; над трактом стоял гул от песен, криков, ругательств. Здоровенный ломовой извозчик, пьяный как стелька, хватался руками за чугунную ограду церкви и орал во всю глотку: «Го-о-оо!! Ку-ку!! Ку-ку!!..» Необъятный голос раскатывался по тракту и отдавался за Невою.

— Ванька, зачем забор ломаешь?—зычно крикнул кто-то с империала.

— Пятиалтынный пропил? — спросил другой.

— Го-го-го-гоо!.. — откликнулся ломовик, мощно потрясая ограду.— Ку-ку!! Ку-ку!..— снова понеслось над трактом.

По улице, среди экипажей, шагали в ногу трое фабричных, а четвертый шел перед ними задом, размахивая бутылкою, и с серьезным лицом командовал: «Левой! Левой! Левой!..» У трактира гудела и колыхалась толпа, мелькали кулаки, кто-то отчаянно кричал: «Городово-о-ой!.. Городово-о-ой!..»

Барсуков занимал от хозяйки довольно большую комнату вместе с товарищем. Андрей Иванович застал обоих дома,— они сидели за чаем и читали газету. Товарищ Барсукова, Щепотьев, был стройный парень с энергичным, суровым лицом, с насмешливой складкой в углах губ.

Барсуков встретил Андрея Ивановича очень радушно. Он усадил его пить чай и с участием стал расспрашивать о здоровье. Про его историю с Ляховым он слышал от Елизаветы Алексеевны.

— Здоровье ничего, спасибо! — с угрюмой усмешкою ответил Андрей Иванович.— Если до лета доживу, так отслужу благодарственный молебен... За друзей! За товарищество! Да и за хозяина кстати... Как же! Ведь он мне большую милость оказал: меня в его мастерской избили, а он ничего, не рассердился на меня, позволил остаться...

Андрей Иванович просидел у Барсукова часа два. Он высказал все, что собирался высказать. Барсуков стал ему возражать; в спор вмешался и Щепотьев; Щепотьев был умнее и развитее Барсукова, говорил резко и убедительно. Но Андрей Иванович не сдавался; он мало даже слушал возражения, а с упорною, сосредоточенною злобою продолжал доказывать, что все люди подлецы и все ерунда.

Назад он ехал раздраженный и сердитый. Его собственные доводы убедили его еще сильнее в правильности его теперешних воззрений, и светлый взгляд его собеседников на жизнь и на будущее раздражал его. Как они не понимают, что это ребячество, как могут они находить случай с ним недоказательным!.. О, для самого Андрея Ивановича случай был очень доказателен: никому ни до кого нет дела, кроме как до себя... И вдруг мысль, которою Андрей Иванович до сих пор тешился и успокаивал себя, встала перед ним с полной определенностью: конечно, он изобьет Ляхова в мастерской, и он сделает это завтра же!

XIV

Утром Александра Михайловна понесла корзину с готовыми пачками на фабрику. Андрей Иванович выслал Зину в кухню и ножом открыл замок комода;

в правом углу ящика, под тряпками, он отыскал кошелек и из полутора рублей взял восемьдесят копеек; потом Андрей Иванович захватил палку, которую ему подарил Ляхов, и вышел из дому.

Он зашел в «Сербию», сел в угол к столику и спросил коньяку. Андрей Иванович хорошо знал, как он страшен во хмелю, и хотел раньше напиться. В трактире посетителей было мало; стекольщик вставлял стекло в разбитой стеклянной двери, буфетчик сидел у выручки и пил чай.

Андрей Иванович выпил одну рюмку, сейчас же за нею другую и закусил мятной лепешечкой. В голове слегка зашумело. Он выпил третью рюмку. Лицо побледнело, в голове становилось все туманнее. Глядя горящими глазами в окно, он лихорадочно курил папиросу за папиросой и вспоминал о том испуге, какой охватил Ляхова при его угрозе. Выпил еще две рюмки. Дикое исступление бешенства росло в нем, вздымалось и охватывало душу. В этом было что-то захватывающе-радостное. Горькое сознание беспомощности и одиночества исчезло; Андрей Иванович чувствовал в себе силу, против которой ничто не устоит и которой не нужна ничья помощь.

Он не помнил, как допил бутылку, как прошел улицу. В конторе хозяин разговаривал с двумя заказчиками. Андрей Иванович сорвал с себя в коридоре пальто, бросил его на подоконник и с палкою в руках вошел в мастерскую.

Ляхов сидел у верстака, лицом к окну и, наклонившись, резал на подушечке золото. Среди ходивших людей, среди двигавшихся машин и дрожащих передаточных ремней Андрей Иванович видел только наклоненную вихрастую голову Ляхова и его мускулистый затылок над синею блузою. Сжимая в руке палку, он подбежал к Ляхову.

— Получай должок! — крикнул Андрей Иванович и с размаху ударил Ляхова по голове.

Ляхов втянул голову в плечи, в гневе вскочил и обернулся. Андрей Иванович, с всклокоченной головою, с горящими на исхудалом лице глазами, кинулся на него с палкою. Ляхов побледнел и отшатнулся.

— Кара-у-ул!!! — вдруг заорал он на всю мастерскую, еще глубже втянул голову в плечи и бросился бежать.

Тупой, животный ужас охватил его,— ужас, при котором перестают рассуждать. Сталкивая всех локтями с дороги, Ляхов стрелою пробежал длинную мастерскую, выскочил на площадку и помчался по крутой каменной лестнице наверх, в брошюровочное отделение. Андрей Иванович, задыхаясь, бежал за ним.

— Караул!.. Караул!..— коротко выкрикивал Ляхов на бегу.

Они побежали между верстаками, задевая за пачки листов. Листы дождем сыпались на землю, девушки-фальцовщицы в испуге и удивлении кидались в стороны.

Ляхов влетел в комнату мастера, с ужасом слыша, что Андрей Иванович не отстает. Другого выхода из комнаты не было. Ляхов в отчаянии повернулся и быстро бросился навстречу Андрею Ивановичу. Они столкнулись на пороге, Андрей Иванович полетел навзничь. В том же тупом, нерассуждающем ужасе Ляхов кинулся на него, вцепился рукою в горло и, схватив в кулак валявшийся на полу костяной фальцбейн, стал наносить Андрею Ивановичу удары по голове. С третьего же удара костяшка сломалась, но обезумевший от страха Ляхов ничего не замечал и продолжал наносить удары обломком.

— Это что такое? — раздался громовой голос хозяина.

Ляхов очнулся и поднялся на ноги, бледный и дрожащий. Андрей Иванович сидел, свесив окровавленную голову, ерзал руками по полу и старался вскочить.

— Опять скандалы тут подымать?! — в бешенстве кричал хозяин.

Ляхов бросил костяшку и, ругаясь, пошел вниз.

— Нет, брат... погоди! — хрипел Андрей Иванович. Он поднялся на ноги и, шатаясь, побежал вслед за Ляховым.

— Удержать его, чего смотрите? — крикнул хозяин брошюрантам.— В участок захотелось тебе, скандалист ты этакий?

Андрей Иванович остановился.

— В участок?! — заревел он и устремился на Семидалова.— Сукин ты сын, эскулап!..

Брошюранты схватили Андрея Ивановича.

Товарищи-подмастерья упросили хозяина не отправлять Андрея Ивановича в участок. Он плюнул и позволил им убрать его куда угодно.

Андрея Ивановича, пьяного и залитого кровью, свезли домой. Он ругался и старался вырваться от сопровождавших его Ермолаева и Генрихсена. Его привезли и уложили в постель, но Андрей Иванович не унимался.

— Вы меня пустите или нет? — яростно кричал он, сверкая глазами.— Всех вас, мерзавцев, в одной помойной яме надо утопить,— фараоны вы, мазурики, арапы!.. Подать мне сюда Семидалова — я ему покажу! Това-арищи... Вы рабы, вы невольники против моих мнений... Тьфу-у!!!

Плачущая Александра Михайловна повязала его окровавленную голову полотенцем, но Андрей Иванович тотчас же сорвал повязку. Он бушевал долго; но понемногу стал ослабевать. Наконец, уткнувшись залитым кровью лицом в подушку, примолк и вскоре заснул.

Андрей Иванович проснулся к вечеру. Он хотел подняться и не мог: как будто его тело стало для него чужим, и он потерял власть над ним. Александра Михайловна, взглянув на Андрея Ивановича, ахнула: его худое, с ввалившимися щеками лицо было теперь толсто и кругло, под глазами вздулись огромные водяные мешки, узкие щели глаз еле виднелись сквозь отекшее лицо; дышал он тяжело и часто.

— Водка пеперментовая осталась у тебя? — хрипло спросил Андрей Иванович.

— Да.

— Дай-ка рюмочку! Да сходи принеси соленого огурчика.

Андрей Иванович отер мокрым полотенцем лицо, выпил, закусил соленым огурцом и молча повернулся к стене.

Всю ночь Андрей Иванович не спал. Он лежал и думал. Ему вспоминалась, как сквозь туман, схватка с Ляховым, и Андрей Иванович не мог простить своей глупости: Ляхов силен, как бык, он одною рукою может справиться с ним; следовало действовать совсем иначе,— просто подойти к Ляхову и всадить ему в живот шерфовальный нож. Время еще не ушло. Андрей Иванович так и решил поступить. Вспомнил он без-

мерный ужас, в каком Ляхов побежал от него, и сладкая радость наполнила душу. О, недаром Ляхов боится его,— еще будет дело!

Но в теперешнем состоянии Андрей Иванович чувствовал себя ни на что не годным; при малейшем движении начинала кружиться голова, руки и ноги были словно набиты ватой, сердце билось в груди так резко, что тяжело было дышать. Не следует спешить; нужно сначала получше взяться за лечение и подправить себя, чтоб идти наверняка.

Наутро Андрей Иванович объявил Александре Михайловне, что он решил лечь в больницу и лечиться как следует.

XV

Был десятый час утра. Дул холодный, сырой ветер, тающий снег с шорохом падал на землю. Приемный покой N-ской больницы был битком набит больными. Мокрые и иззябшие, они сидели на скамейках, стояли у стен; в большом камине пылал огонь, но было холодно от постоянно отворявшихся дверей. Служители в белых халатах подходили к вновь прибывшим больным и совали им под мышки градусники.

Александра Михайловна ввела под руку Андрея Ивановича; на скамейке у окна только что освободилось место. Андрей Иванович сел, Александра Михайловна осталась стоять. Андрей Иванович был в торжественном и решительном настроении; он был готов на все, чтоб только поправиться; так он и собирался сказать доктору: «Лечите меня, как хотите, что угодно делайте со мной, я все исполню,— только поставьте на ноги!»

Рядом с Андреем Ивановичем сидел бледный, осунувшийся старик в рваном полушубке. Дальше полулежал, облокотившись о ручку скамейки, мальчик лет двенадцати, с лихорадочно горящими, умными и печальными глазами; он был в пеньковых опорках и онучах, замотанных бечевками, в рваной и грязной кацавейке. Возле него стояла женщина средних лет с бойким чернобровым лицом.

— Твой паренек? — обратился к ней старик.

— Нет, так, из жалости привезла его,— быстро ответила женщина, видимо, не любившая молчать.— Иду по Пришпехту, вижу,— мальчонка на тумбе сидит и плачет. «Чего ты?» Тряпичник он, третий день болеет; стал хозяину говорить, тот его за волосья оттаскал и выгнал на работу. А где ему работать! Идти сил нету! Сидит и плачет; а на воле-то сиверко, снег идет, совсем закоченел... Что ж ему, пропадать, что ли?

Старик участливо спросил мальчика:

— Давно ли из деревни?

— Второй год,— сипло ответил мальчик.

— Матка, чай, в деревне есть?

— Есть.

Старик вздохнул.

— В другое бы мастерство нужно тебе! В тряпичниках чему хорошему научишься... Платит тебе что хозяин?

— Пятнадцать рублей в год.

Из приемной вынесли на носилках больного с повязанной головой. Служитель крикнул:

— Федор Гаврилов! К доктору!

Женщина засуетилась и пошла с мальчиком в приемную. Наружные двери то и дело хлопали. Входили новые больные. Старик чесал под полушубком грудь и вздыхал.

— И малому плохо, и старому плохо,— сказал он, обращаясь к Александре Михайловне.— Не дай бог болеть рабочему человеку.

Александра Михайловна посмотрела на его корявые трясущиеся руки.

— А ты что работаешь?

— Я-то? Да вот здоров был, дрова пилил в Смольный институт... А теперь какая работа? Нету сил, ослаб. От еды совсем отбило. Два раза в день укушу хлебца, и ладно. Главное дело — ослаб.

Доктор в золотых очках и белом халате, с сердитым лицом, прошел в приемную к телефону.

— Трррррр!..— зазвенел звонок телефона.— Александровская больница? — спросил доктор в телефон.— Коллега, не можете ли вы принять к себе мальчика двенадцати лет с неопределенною формою тифа? У нас совершенно нет мест.

Доктор замолчал, слушая ответ.

— Пожалуйста, коллега, я вас прошу! — проговорил он раздраженно. — Ребенку решительно некуда деться, приходится выбрасывать на улицу. Может быть, как-нибудь отыщете местечко.

Он замолчал, слушая.

— Трр!.. Трр!.. — сердито зазвякал телефон, требуя разъединения. Доктор воротился в приемную. Через минуту из нее вышла женщина с мальчиком. Она кричала:

— Куда я его дену? Извините, пожалуйста, таких правилов нету! Болен человек, — вы его обязаны принять.

— Ты, матушка, не шуми! — строго сказал служитель.

— Как же мне не шуметь, когда вы сурьезно поступаете! Куда я с ним теперь? И так последний двугривенный на извозчика отдала.

— В другую больницу обратись.

— Ну, уж спасибо! Есть мне время! Делайте с ним, что хотите!

И она быстро направилась к дверям. Служители бросились за нею и удержали.

— Нет, матушка, погоди!.. Бери-ка мальчишку!

Женщина плакала, ругалась, грозила градоначальником, но в конце концов пришлось смириться. Мальчик стоял и безучастно глядел на бушевавшую за окнами мокрую вьюгу.

— У-у, постылый! Связалась на свою погибель!

Женщина сердито взяла его за руку и вышла вон.

Старик, сосед Андрея Ивановича, тоже воротился из приемной. Он растерянно подошел к месту, где лежал его полушубок.

— Н-не знаю...— произнес он и замолчал.

Андрей Иванович мрачно спросил:

— Не приняли?

— Говорит: можешь на прием ходить. А то в другую больницу ступай... Уж не знаю...

— «В другую больницу»! — резко проговорил исхудалый водопроводчик с темным, желтушным лицом. — Вчера вот этак посадили нас в Барачной больнице в карету, билетики дали, честь честью, повезли в Обуховскую. А там и глядеть не стали: вылезай из кареты, ступай куда хочешь! Нету местов! На Троицкой мост вон большие миллионы находят денег, а

рабочий человек издыхай на улице, как собака! На больницы денег нет у них!

Старик задумчиво стоял, поводил головою и вопросительно глядел на свой полушубок.

— Главное дело — ослаб, сил нетути. С квартиры гонют.

Он вздохнул, надел полушубок и вышел вон.

А новые больные все прибывали. Заразных сортировали и давали им отказные билетики в соответственные больницы, очень тяжелых, умиравших принимали, а всем остальным отказывали.

Позвали наконец Андрея Ивановича. Доктор, с усталым и раздраженным лицом, измученный бессмысленностью своей работы, выстукал его, выслушал и взялся за пульс. Андрей Иванович смотрел на доктора, готовый к бою: он заставит себя принять,— он не женщина и не мужик и знает свои права. Больничный сбор взыскивают каждый год, а болен стал,— лечись где хочешь?

Доктор долго щупал пульс Андрея Ивановича и в колебании глядел в окно. Пульс был очень малый и частый. Такие больные с водянкою опасны: откажешь, а он, не доехав до дому, умрет на извозчике; газеты поднимут шум, и могут выйти неприятности. Больница была переполнена, кровати стояли даже в коридорах, но волей-неволей приходилось принять Андрея Ивановича. Доктор написал листок, и Андрея Ивановича вывели.

— Не приняли? — упавшим голосом спросила Александра Михайловна.

Андрей Иванович с гордостью ответил:

— Приняли!

Окружавшие с завистью покосились на него.

Андрея Ивановича отвели в ванную, а оттуда в палату. Большая палата была густо заставлена кроватями, и на всех лежали больные. Только одна, на которой ночью умер больной, была свободна; на нее и положили Андрея Ивановича. Сестра милосердия, в белом халате и белой косынке, поставила ему под мышку градусник.

Вскоре пришел на визитацию палатный доктор. Он вторично выстукал и выслушал Андрея Ивановича, велел оставить его мокроту для микроскопического исследования и назначил лечение. По уходе доктора

Андрей Иванович внимательно прочел свой скорбный лист.

Вечером Андрею Ивановичу сделали ванну, и он почувствовал себя немного лучше. Тяжелые больные легковерны: незначительное улучшение в своем состоянии они готовы считать за начало выздоровления; Андрей Иванович решил, что недели через две-три поправится, и горько пожалел, что не лег в больницу раньше.

Ночь Андрей Иванович провел без сна и опять думал о Ляхове. Ляхов, конечно, очень скоро узнает, что Андрея Ивановича свезли в больницу. То-то он обрадуется, то-то спокойно вздохнет! Дескать, попал в больницу, так уже не воротится. Только так ли это?.. После Пасхи Андрей Иванович выпишется из больницы здоровым и крепким; он войдет в мастерскую, подойдет к Ляхову: «Здравствуй, товарищ!..» Ляхов, услыша его голос, вскочит с тем же тупым ужасом, как и тогда, но уже бежать ему не придется: одним взмахом Андрей Иванович всадит ему в живот шерфовальный нож... Стиснув зубы, он делал под одеялом быстрое, короткое движение сжатым кулаком и представлял себе в кулаке острый, блестящий шерфовальный нож.

В палате, битком набитой больными, было душно и стояла тяжелая вонь от газов, выделявшихся у спавших. Дежурная сиделка дремала у окна. Дряхлый старик лакей с отеком легких стонал грубыми, протяжными стонами, ночники тускло светились, все глядело мрачно и уныло. Но на душе у Андрея Ивановича было радостно.

XVI

Назавтра после визитации доктора Андрей Иванович взял свой скорбный лист, чтобы посмотреть, что в него вписал доктор. Он прочел и побледнел; прочел второй раз, третий... В листке стояло: «Притупление тона и бронхиальное дыхание в верхней доле левого легкого; в обоих легких масса звучных влажных хрипов; в мокроте коховские палочки».

Андрей Иванович сразу страшно ослабел; изнутри головы что-то со звоном подступило к глазам и ушам; он опустил листок и закрыл глаза. «Коховские палоч-

ки»... Андрей Иванович прекрасно знал, что такое коховские палочки: это значит, что у него — чахотка; значит, спасения нет, и впереди смерть.

Принесли обед. Сиделка поставила Андрею Ивановичу миску с молочным супом.

— Обед принесен, эй! — сказала она и тронула его за рукав.

Андрей Иванович нетерпеливо повел головою и продолжал лежать, закрыв глаза. Коховские палочки... Всего два часа назад Андрей Иванович чувствовал себя в водовороте жизни, собирался бороться, мстить, радоваться победе... И вдруг все оборвалось и ушло куда-то далеко, а перед глазами было одно — смерть, беспощадная и неотвратимая.

В два часа пришла на свидание Александра Михайловна. Андрей Иванович равнодушно объявил ей, что у него чахотка и он скоро умрет. Александра Михайловна широко раскрыла глаза и быстро спросила:

— Как? Что? Доктор сказал?

Андрей Иванович усмехнулся.

— Что доктор! Я сам знаю!.. У меня коховские палочки нашли,— червячков таких, от которых бывает чахотка.

Александра Михайловна заплакала. Андрей Иванович смотрел на нее, и ему стало жалко себя, и в то же время почему-то вспомнилось равнодушное, усталое лицо палатного доктора и тот равнодушный вид, с каким он записывал в листок его смертный приговор.

С каждым днем Андрей Иванович чувствовал себя хуже. Он стал очень молчалив и мрачен. На расспросы Александры Михайловны о здоровье Андрей Иванович отвечал неохотно и спешил перевести разговор на другое. То, что ему рассказывала Александра Михайловна, он слушал с плохо скрываемою скукою и раздражением. И часто Александра Михайловна замечала в его глазах тот угрюмый, злобный огонек, который появлялся у него в последние недели при упоминании о Ляхове.

Между тем к Ляхову Андрей Иванович относился теперь без прежней злобы. Когда Ермолаев пришел его проведать и сообщил, что Ляхов просит позволения посетить его, Андрей Иванович только пожал брезг-

ливо плечами и ответил, что, если хочет, пусть приходит. Ляхов пришел раз и после этого стал ходить каждое воскресенье. Приходил он всегда с кем-нибудь из товарищей, держался назади, сконфуженно теребил в руках шапку. Андрей Иванович, неестественно улыбаясь, разговаривал с ним, и обоим было неловко.

Не мысль об истории с Ляховым мучила Андрея Ивановича. Вся эта история казалась ему теперь бесконечно мелкою и пошлою, мстить он больше не хотел, и Ляхов возбуждал в нем только гадливое чувство. Андрей Иванович страдал гораздо сильнее прежнего, но страдал совсем от другого,— от нахлынувших на него трезвых дум.

О, эти трезвые думы!.. Андрей Иванович всегда боялся их. Холодные, цепкие и беспощадные, они захватывали его и тащили в темные закоулки, из которых не было выхода. Думать Андрей Иванович любил только во хмелю. Тогда мысли текли легко и плавно, все вокруг казалось простым, радостным и понятным. Но теперь дум нельзя было утопить ни в вине, ни в работе; а между тем эта смерть, так глупо и неожиданно представшая перед Андреем Ивановичем, поставила в нем все вверх дном.

И думы ползли одна за другою, злые и безотрадные, и Андрей Иванович не мог их отогнать... Прожил он сорок лет и все бессознательно ждал чего-то. Эта чадная, тошнотная жизнь не могла тянуться вечно. Он ждал, вот явится что-то, что высоко поднимет его над этой жизнью, придет большое счастье, в котором будет кипучая жизнь, и борьба, и простор. А между тем всему конец, впереди — одна смерть, а назади — жизнь дикая и пьяная, в которой настоящую радость, настоящее счастье давала только водка. Как он пил! И как все они пили! Когда не хватало денег на водку, они пили в мастерской спиртной лак. Чтоб уберечь лак, хозяин прибавлял в него анилиновой синьки, но они пили и с синькою, были готовы пить с чем угодно. Они калечили и отравляли свое тело, отравляли душу, и все шло к черту. А как было иначе жить? На что было беречь душу? На то, чтобы ходить на народные гулянья, пить там чай и качаться на качелях? Эка радость!..

Андрею Ивановичу вспомнился Барсуков и та картина смерти, о которой он рассказывал; умирает ра-

бочий и думает: «Для чего он все время трудился, выбивался из сил,— для чего он жил? Он жил, а жизни не видел... Какая же была цель его существования?»

И он тоже, Андрей Иванович,— он жил, а жизни не видел. А между тем ему казалось, он способен был бы жить,— жить широкою, сильною жизнью, полною смысла и радости; казалось, для этого у него были и силы душевные, и огонь. И ему страстно хотелось увидеть Барсукова или Щепотьева, поговорить с ними долго и серьезно, обсудить все «до самых основных мотивов». Но Щепотьев сидел в тюрьме, Барсуков был выслан из Петербурга.

Александра Михайловна посещала Андрея Ивановича каждый день. Она приносила ему вина, фруктов, всего, чем пытался Андрей Иванович разжечь свой пропавший аппетит. Занятый своими мыслями, Андрей Иванович не задавался вопросом, как она все это достает. Он привередничал, сердился, требовал то того, то другого. Но однажды, когда Александра Михайловна, входя в палату, остановилась у дверей и вступила в разговор с сестрою милосердия, Андрей Иванович, глядя издали на жену, был поражен, до чего она похудела и осунулась.

— Ты все еще на фабрике работаешь? — спросил Андрей Иванович, когда она поставила на стол бутылку елисеевского лафита. И горячая нежность шевельнулась в его душе.

— Пока на фабрике,— устало ответила Александра Михайловна.— Уж не знаю, нужно будет чего другого поискать. Работаешь, а все без толку... Семидалов к себе зовет, в фальцовщицы. Говорит, всегда даст мне место за то, что ты у него в работе потерял здоровье. Научиться можно в два месяца фальцевать; все-таки больше заработаешь, чем на пачках.

Андрей Иванович ужаснулся. Условия жизни и работы фальцовщиц были ему слишком хорошо известны. Все остальное свидание он был молчалив и задумчив.

Когда Александра Михайловна пришла на следующий день, Андрей Иванович долго молчал, не в силах заговорить от охватившего его волнения. Наконец сказал:

— Знаешь, Шурочка... Я всю ночь про тебя думал... Я много с тобою поступал неправильно... Как я тебе теперь помогу? Я не знаю, что тебе делать. Только

один мой завет тебе, не поступай к нам в мастерскую: там гибель для женщины...

— Что же делать?

Андрей Иванович в тоске потер руки.

— Что? Я не знаю...

В конце апреля Андрей Иванович умер. Хоронили его на Смоленском кладбище. Было воскресенье. Большинство товарищей присутствовало на похоронах, в их числе Ляхов. Они на руках донесли гроб Андрея Ивановича до могилы. Тут же, на свеженасыпанной могиле, Александра Михайловна поставила четверть водки, и справлены были поминки.

Похоронили Андрея Ивановича на самом конце кладбища, в одном из последних разрядов. Был хмурый весенний день. В колеях дорог стояла вода, по откосам белел хрящеватый снег, покрытый грязным налетом, деревья были голы, мокрая буро-желтая трава покрывала склоны могил, в проходах гнили прошлогодние листья.

Но не смертью и не унынием дышала природа. От земли шел теплый, мягкий, живой запах. Сквозь гниющие коричневые листья пробивались ярко-зеленые стрелки, почки на деревьях наливались. В чаще весело стрекотали дрозды и воробьи. Везде кругом все двигалось, шуршало, и тихий воздух был полон этим смутным шорохом пробуждавшейся молодой, бодрой жизни.

1899

II

КОНЕЦ АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ

(Честным путем)

I

Александра Михайловна кончила фальцевать листы «Петербургского вестника». Она сровняла с боков стопку сфальцованных листов и устало облокотилась об нее.

За соседним верстаком Грунька Полякова, крупная девушка с пунцовыми губами и низким лбом, ши-

ла дефектные книги. Она не торопясь шила и посвистывала сквозь зубы, как будто не работала, а только старалась чем-нибудь убить время: за шитье дефектных книг платят не сдельно, а поденно. Александра Михайловна искоса следила за Поляковой.

— Что это, какая вам всегда легкая работа! — не вытерпела она.

Полякова медленно повернула голову и небрежно оглядела Александру Михайловну.

— Я больная, у меня ревматизм в руках.

— Больная... — Александра Михайловна помолчала. — Вы, может быть, больная, зато вы есть одна. А у других, может, ребенок есть, его надо поить-кормить.

— Как кому судьба.

— И вовсе судьба тут ни при чем. Дело тут от мастера зависит, а не от судьбы.

— От мастера? Что-о вы?.. От какого такого мастера?

Полякова нарочно повысила голос. Мимо как раз проходил мастер Василий Матвеев. Он услышал вопрос Поляковой и внимательно покосился на них. Александра Михайловна поспешно отошла прочь.

На круглых часах над дверью мастерской пробило четыре. У бокового окна работала за верстаком приятельница Александры Михайловны, Таня Капитанова. Солнце светило в окно, Таня непрерывно наклонялась и выпрямлялась. Когда она наклонялась, ее голова с пушистыми золотыми волосами попадала в полосу света и как будто вся вспыхивала сиянием.

Александра Михайловна подошла и сказала:

— Пора чай пить.

— Сейчас кончу! — торопливо ответила Таня.

Устало понурившись, Александра Михайловна с удовольствием и завистью смотрела на ее работу. Таня была лучшею работницею мастерской. Захватив со стопки большой печатный лист, она сгибала его на папке, с неуловимою быстротою взглянув на номера, и проводила по сгибу костяшкою. Лист как будто сам собою сгибался, как только его касались тонкие пальцы Тани. При втором сгибе мелькал столбец цифр, при третьем — какая-то картинка, сложен-

ный лист летел влево, а в это время со стопки уже скользил на папку новый.

Таня сбросила с папки последний сфальцованный лист.

— Ну, пойдемте!

— Счастливая ты, Таня! — вздохнула Александра Михайловна.

В работе наступил перерыв. Девушки сидели кучками по четыре-пять человек и пили чай. В раскрытые окна несло жаром июньского дня, запахом извести и масляной краски.

Александра Михайловна и Таня пили чай вместе с двумя другими работницами — вдовою переплетного подмастерья Фокиной и бедной пожилой девушкой Дарьей Петровной. Александра Михайловна, сгорбившись, сидела на табуретке, испытывая приятное ощущение отдыха. Она уже третий месяц работала в мастерской, но все еще при каждом перерыве ей хотелось отдыхать долго-долго, без конца.

— Что за история такая! — задумчиво сказала она. — Все мне Васька Матвеев трудную работу дает. Напоила его кофеем, угостила,—думала, легче станет. Неделю давал шитье в прорезке, фальцовку на угол, а потом опять пошло по-старому.

Фокина усмехнулась.

— А вы как же думали? Вы думали, угостили раз, и готово дело! У него положение: поставишь угощение — будет тебе хорошая работа на неделю.

— Вот так так! — Александра Михайловна скорбно задумалась. — Что же это такое? Четыре человека их, мастеров. Вишневка, кофей, пирожки, — рубль шестьдесят семь копеек мне обошлось. Четверть фунта кофею выпили, два фунта сахару съели, что съели, что по карманам себе напихали. Неужто мало им?

— А вы их одна, что ли, угощаете? — желчно возразила Фокина. — Раз-то, другой всякая угостит; кому же они трудную работу будут давать?

— Так ведь, господи, я не о том, что трудная! Пускай и трудную работу дают, а чтоб только правильно делали, не обижали людей.

Таня гордо сказала:

— А я вот никого ни разу не угощала! И не стану угощать, без них справлюсь.

— А я тебе, Танечка, вот что скажу, — медленно произнесла Дарья Петровна, — не гордися! Погордишься, милая, погордишься, а потом пожалеешь. Разорение тебе какое, что ли, мастера уважить? А сила у него большая.

— Как же это мне быть теперь? — в печальном недоумении спросила Александра Михайловна. — Девять-десять рублей заработаешь в месяц, что же это? Разве на такие деньги проживешь с ребенком?

— Вы вот что: попросите себе у Василия Матвеева приклейку, — посоветовала Дарья Петровна. — Вы уж третий месяц работаете, — вам давно пора приклейку давать. А это работа выгодная. Вон-он Федька идет, может, он знает, спросите, есть ли сейчас приклейка.

У Дарьи Петровны было смиренное, желто-бледное лицо, и она с ненужною угодливостью заглядывала в глаза тому, с кем говорила.

Александра Михайловна остановила проходившего брошюранта и ласково спросила:

— Не знаешь, Федя, есть сейчас у мастера приклейка?

— Сколько угодно! «Русская поэзия», с портретами. Десять тысяч экземпляров.

В дверь заглянул из коридора переплетный подмастерье Ляхов. Он быстро вошел в комнату, схватил Федьку за плечо и грозно спросил:

— Тебе чего тут нужно?

— Чего... А вам чего? — с недоумением пробормотал Федька.

Ляхов поднес к его носу крепкий кулак.

— Я тебе, негодяй, все зубы твои повыбью!.. Пошел прочь, не сметь с Александрой Михайловной разговаривать!

— Эге! — Федька весело усмехнулся и, подняв брови, с любопытством метнул взгляд на Александру Михайловну.

— Господи, что же это такое! — воскликнула Александра Михайловна. — Василий Васильевич, вы с ума сошли, что ли?

— Я никакому мужчине не позволю говорить с Александрой Михайловной! Еще раз увижу тебя — изувечу! — крикнул Ляхов и свирепо выкатил глаза.

— Да что же это, господи! Василий Васильевич, я к хозяину пойду! Как вы смеете меня позорить?

— Так вот помни!

Ляхов еще раз выразительно потряс кулаком перед носом пятившегося Федьки и, не глядя на Александру Михайловну, вышел.

Улыбавшийся Федька в юмористическом ужасе продолжал пятиться к верстакам.

Александра Михайловна сидела красная и сконфуженная.

— Ну что же это такое, скажите, пожалуйста! Вот уж второй месяц не дает мне покою. Пристает везде, позорит, просто проходу никакого нету!.. И чего он ко мне привязался!

— Везде только про вас и говорит, такой бесстыдник! — сочувственно-негодующе сказала Дарья Петровна. — Влюблен, говорит, не могу жить без нее. Это женатый-то человек! Такой стыд!

— Намедни пришел к нам, — усмехнулась Фокина, — рассказывает про свою любовь, плачет, — спьяну, конечно. Если, говорит, Александра Михайловна меня не удовлетворит, я, говорит, как только листья осыпятся, повешусь в Петровском парке. «Чего же, — я говорю, — ждать. Это и теперь можно». — «Нет, — говорит, — когда листья осыпятся».

— А еще был друг покойнику Андрею Ивановичу! — укоризненно вздохнула Александра Михайловна, и чуть заметная самодовольная улыбка пробежала по ее губам.

Девушки кончили пить чай и принимались за работу. В огромной живой машине начинали шевелиться ее части, и вскоре она пошла в ход быстрым, ровным темпом.

Александра Михайловна вошла в комнату мастера. Василий Матвеев, высокий, грузный мужчина с мясистым лицом, наклонясь над верстаком, накалывал листы. Он оглядел Александру Михайловну своими косящими глазами и молча продолжал работать.

Александра Михайловна сказала:

— Василий Матвеев! Я работу кончила, дай мне приклейку!

Мастер продолжал молча накалывать.

— Васнлнй Матвеев!

— Да подожди ты, видишь, занят я! — грубо огрызиулся он.

Александра Мнхайловиа, стисиув зубы, смотрела иа его красное, потное лицо. Три иеделн назад Василий Матвеев ущипиул ее в руку около плеча, и она сурово оттолкиула его. «Ишь иедотрога какая вынскалась!»—ядовито заметил ои и с тех пор стал во всем теснить. Только ту неделю, когда Александра Михайловиа напоила его кофеем, он был иемножко ласковее.

Васнлнй Матвеев не спеша продолжал работать, Александра Мнхайловна сердито спросила:

— Скоро, что лн? Мие иет времеии ждать.

— Приклейку, — проворчал мастер. — Тебе раио приклейку, иапортишь.

— Нет, ие раио... Приклейка через полтора месяца полагается, а я уж третий месяц работаю.

— Прнклейку... Мастеру уважения не доказываешь, а тоже, приклейку ей давай... Что иынче с Грунькой говорила?

— Да что, Василий Матвеев, разве не правду я сказала? Однмм все легкую работу даете, другим все трудиую. А ведь жить-то всем нужно.

— Нет сейчас приклейкн, ступай! — оборвал Васнлий Матвеев.

Левая щека Александры Мнхайловны задергалась.

— Нет, есть приклейка, я зиаю: «Русская поэзия»... Я к хозяину пойду.

Мастер молчал. Александра Михайловна решнтельио пошла к выходу.

— Там, в углу, — буркиул Васнлнй Матвеев.

Она воротилась.

— Это вот?.. Какую картниу взять?

— Пушкииа портрет. Тысячу возьми, ие больше.

— На какую страинцу прнкленвать?

— Да отстань ты, пожалуйста, ие мешай!.. Пятьдесят шестая страиица.

Александра Михайловна вышла. Внутрн у иее кнпело от злобы: десять мииут ушло иа переговоры, а он отлично знает, как дорого время прн сдельной работе. Но ей было приятио, что оиа все-такн добнлась своего. Александра Мнхайловна распусти-

ла пачку портретов, смазала их клеем и принялась за работу.

Кругом стоял непрерывный шелест от сворачиваемых листов. Слышно было, как под полом стучал в переплетном отделении газомотор.

— Ишь ведьма-то наша, уезжать собирается! — сказала рядом Манька, бойкая девочка лет шестнадцати.

Гавриловна, худая старуха в грязной, отрепанной юбке, стояла у печки и с серьезным лицом стучала в нее костяшкою.

—Стучит, чтоб помело подавали! — засмеялась другая девочка, Дунька.

— Тара-та-там! Тара-та-там! Тара-та-та-та-там!— хрипло напевала полоумная Гавриловна, нелепо изогнув руки, и кружилась около печки на одном месте.

Манька спросила:

— Ты чего, тетенька, вертишься?

— Я, милая, молода была, много польку танцевала, все в одну сторону. Теперь раскручиваюсь... Тара-та-там! Тара-та-там!..

— Что это за безобразие! — сердито крикнула Фокина. — Работать мешает... Иди на место, слышишь ты!

— И вправду, что это!—сказала Александра Михайловна. — Работать нужно, а она развлекает. Ведь нельзя же, люди делом заняты!

Гавриловна молча стала к станку, поклонилась в пояс стопке листов и принялась фальцевать. Минуты две она молча работала, потом вдруг повернулась к Фокиной и громко крикнула:

— Черт тебя зашиби большим камнем! Белуга астраханская!

Девочки прыснули.

— Провались ты провалом, лопни твой живот! Чтоб к тебе ночью домовой на постель влез!

— Хо-хо-хо! — засмеялись брошюранты.

Брошюрант Егорка крикнул:

— К ней самой, братцы, он каждую ночь лазает!

Гавриловна обрушилась бранью на него. Брошюранты смеялись и изощрялись в ругательствах, поддразнивая Гавриловну. На каждую их сальность она отвечала еще большей сальностью. Это было состязание, и каждая сторона старалась превзойти другую.

Девочки, радуясь перерыву в работе, слушали и смеялись.

К вечеру Александра Михайловна вклеила картины. Она сделала работу в два часа, за тысячу приклеек двадцать копеек — хорошо!.. Довольная, она понесла работу к мастеру.

Василий Матвеев раскрыл книжку, посмотрел и равнодушно сказал:

— Не на то место приклеила.

Александра Михайловна испуганно глядела на него.

— Как не на то? Ты же мне сам сказал, — на пятьдесят шестую страницу!

— Куда лицом вклеила, видишь? Я тебе говорил, что ты этого еще не можешь. «От Пушкина до Некрасова», — на эту сторону нужно было, к заглавию.

И он насмешливо смотрел косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. И Александре Михайловне казалось, — он потому и может быть так жесток, что его душа загорожена от людских глаз.

— Так ты бы мне так и сказал — к пятьдесят седьмой странице! — произнесла она обрывающимся голосом.

— Ну, ну, что я, глупее тебя, что ли? Говорил, нельзя тебе еще приклейку давать... Ступай отклеивай.

Александра Михайловна, убитая, воротилась к верстаку; хотела схватить, порвать всю работу, душили бессильные слезы: полдня уйдет на то, чтоб аккуратно отклеить картины и снова вклеить их на место.

Она вяло взяла в руки нож и принялась за отклейку.

II

Пробило восемь часов, мастерскую отперли. Александра Михайловна сунула опостылевшую работу под верстак и побрела домой.

Зина, семилетняя дочь Александры Михайловны, дремала на кровати.

— Вставай! — угрюмо сказала Александра Михайловна. — Картошку разогрела?

— Разогрела.

— Принеси.

Зина принесла из кухни разогретый жареный картофель, оставшийся от обеда. Придвинули столик к кровати, стали ужинать. Поели невкусного разогретого картофеля, потом стали пить чай. Зине Александра Михайловна намазывала на хлеб тонкий слой масла, сама ела хлеб без масла.

— Что это?—сурово спросила Александра Михайловна и взяла Зину за локоть. — Что это? Господи! Где это ты порвала?

Она дернула Зину к себе. Весь рукав ее платьица до самого плеча был разодран.

— Да что же это такое! Что ты, с собаками, что ли, грызлась?

Зина захныкала.

— Это мне Васька хозяйкин сделал!

— Васька хозяйкин? Ты тут балуешься, а я всю ночь сиди, рукав тебе зашивай?

Она схватила Зину за волосы и дернула. Зина отчаянно взвизгнула. Александра Михайловна трясла и таскала ее за волосы, а другою рукою изо всех сил била по платью и с радостью ощущала, что Зине правда больно, что ее тело вздрагивает и изгибается от боли.

— Ой! Ой!.. Мама!.. Мама!.. Ой!.. — испуганно выкрикивала Зина.

Александра Михайловна еще раз больно дернула ее за волосы и отпустила. Зина залилась плачем.

— Что? Будешь теперь помнить?

В комнату сходились жильцы. Девушка-папиросница, нанимавшая от хозяйки кровать пополам с Александрой Михайловной, присела к столу и хлебала из горшочка разогретые щи. Жена тряпичника, худая, с бегающими, горящими глазами, расстилала на полу войлок для ребят. Старик кочегар сидел на своей койке и маслянисто-черными руками прикладывал к слезящимся глазам примочку.

Александра Михайловна злорадно говорила:

— Ты думала, помер отец, так на тебя и управы не будет? Мама, дескать, добрая, она пожалеет... Нет, милая, я тебя тоже сумею укротить, ты у меня будешь знать! Ты бегаешь, балуешься, а мама твоя с утра до вечера работает; придет домой, хочется отдохнуть, а нет: сиди, платье тебе чини. Вот порви еще раз, ей-

богу, не стану зашивать! Ходи голая, пускай все смотрят. Что это, скажут, какая бесстыдница идет!..

Зина ныла и ела хлеб с маслом.

Поужинали скоро. Все укладывались спать. Из соседних комнат сквозь тонкие переборки доносился говор, слышалось звяканье посуды, громкая зевота. Папиросница разделась за занавескою и легла на постель к стене. Зина вытащила из-под кровати тюфячок, расстелила его у столика и, свернувшись клубком, заснула. Улеглись и все остальные. Александра Михайловна угрюмо придвинула лампочку и стала зашивать разодранный рукав Зинина платья.

На душе было мрачно. Она шила и думала, и от всего, о чем думала, на душе становилось еще мрачнее. Шить ей было трудно: руки одеревенели от работы, глаза болели от постоянного вглядывания в номера страниц при фальцовке; по черному она ничего не видела, нитку ей вдела Зина. Это в двадцать-то шесть лет! Что же будет дальше?.. И голова постоянно кружится, и в сердце болит, по утрам тяжелая, мутная тошнота...

В ушах все слышался шелест сворачиваемых листов и мерный стук газомотора под полом. Мысль обращалась на мастерскую, и Александре Михайловне представлялось, как все там быстро движется, торопится, старается, а над этой суетой тяжело лежит что-то холодно-жадное и равнодушное, и только оно одно имеет пользу от этой суеты; а что от нее им всем? Стараешься, выбиваешься из сил; а должаешь все больше, живешь, как нищая, совестно пройти мимо мелочной лавки, питаться приходится одною картошкою. И для чего тогда вся работа, все унижения, волнения? А уйти некуда. И дальше впереди будет то же. Попала она в темную яму, и нет из нее выхода. Нет и друзей, которые бы протянули руку.

Встало перед Александрой Михайловной конфузливое, белесое лицо эстонца-слесаря Лестмана. Он был друг покойного Андрея Ивановича и первое время поддерживал ее деньгами. Но три недели назад Лестман неожиданно сделал ей предложение выйти за него замуж; Александра Михайловна отказала сразу, решительно, с неожиданною для нее самой быстротой; как будто тело ее вдруг возмутилось и, не дождаясь ума, поспешно ответило: «Нет! нет!» До тех пор она

словно не замечала, что этот участливый, тускло-серый человек — мужчина, но когда он заговорил о любви, он вдруг стал ей противно-чужд. Лестман перестал помогать Александре Михайловне, но каждую неделю, в субботу или воскресенье, приходил к ней и — скромный, застенчивый — сидел, пил чай и скучно разговаривал. Глаза его как будто закрылись, и он перестал замечать ее нищету. И Александре Михайловне было странно, как это она раньше принимала от него деньги и не понимала, что ни с того ни с сего никто не станет давать их.

Кругом дышали, храпели и бормотали во сне люди. Комната медленно наполнялась удушливою, прелою вонью. Лампочка с надтреснутым стеклом тускло светила на наклоненную голову Александры Михайловны. За последние месяцы, после смерти Андрея Ивановича, она сильно похудела и похорошела: исчезла распиравшая ее полнота, на детски-чистый лоб легла дума, лицо стало одухотворенным и серьезным.

Она шила, и мрачная тоска все тяжелее налегала на душу. Напрасно она старалась найти что-нибудь, от чего бы встрепенулась душа и с ожиданием взглянула вперед. На что ни наталкивались мысли, все было черно и безнадежно... Завтра получка. Что ей придется получить? Рублей пять за две недели. Видно, нет другого выхода: придется смириться перед мастером, пойти на уступки; нужно будет почаще угощать его, чтоб давал работу получше... Негодяй подлый! Она со злобою вспомнила, как он насмешливо смотрел на нее косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. Знает свою силу!.. И от полученной обиды снова заныло в душе.

Александра Михайловна стала раздеваться. Еще сильнее пахло удушливою вонью, от нее мутилось в голове. Александра Михайловна отвернула одеяло, осторожно сдвинула к стене вытянувшуюся ногу папиросницы и легла. Она лежала и с тоскою чувствовала, что долго не заснет. От папиросницы пахло селедкою и застарелым грязным потом; по зудящему телу ползали клопы, и в смутной полудремоте Александре Михайловне казалось, — кто-то тяжелый, липкий наваливается на нее и давит грудь, и дышит в рот спертою вонью.

III

На следующий день после обеда Александра Михайловна, в накинутом на плечи большом платке, вошла в комнату мастера и приперла за собой дверь. Василий Матвеев, с деревянным лицом, молча следил за нею.

Александра Михайловна весело и приветливо заговорила:

— Вот, Василий Матвеев, у меня сегодня большой праздник, хочу тебя угостить!

Она достала из-под платка полубутылку портвейна и завернутые в бумагу пять кондитерских пирожных.

Лицо Василия Матвеева смягчилось.

— Хорошее дело, хорошее дело! Не забываешь мастера. Другой раз и он тебе может пригодиться.

Он встал, покосился на припертую дверь и вдруг быстро наклонил к Александре Михайловне лицо с забегавшими глазами.

— Приходи нынче после работы, вместе винцо разопьем.

И Александра Михайловна почувствовала, как его жирная рука взяла ее под грудь.

— Ах ты негодяй! — Она изо всей силы ударила его по руке. — Подлец ты этакий, как ты смеешь?

Василий Матвеев отшатнулся.

— Что такое? В чем дело? — наивно и громко спросил он. — Что тебе нужно?

Звенящим от слез голосом Александра Михайловна кричала:

— Я честная женщина, а ты смеешь меня за перед хватать?

В косых глазах Матвеева еще бегал блудливый огонек, но лицо уже было сурово и холодно.

— Ты что, что ты тут скандалишь? — повысил он голос, наступая на Александру Михайловну.— Что это ты такое принесла мне? Ступай вон!

— Негодяй! Подлец! — Александра Михайловна вышла из комнаты.

Красная, с блестящими глазами, она быстро подошла к верстаку, спрятала бутылку и остановилась, неподвижно глядя на свою работу.

— Что это у вас там было? Чего это он? — с жадным любопытством спрашивала Манька.

— Не твое дело! — резко ответила Александра Михайловна, не поворачивая головы. Она кусала губы, чтоб сделать себе больно и не дать прорваться рыданиям.

Кругом стоял непрерывный шорох сворачиваемых листов, работа кипела, молчаливая и напряженная. С разбросанных по верстаку портретов смотрели курчавые Пушкины, все в пледах и с скрещенными руками, все с желчными, безучастными к происшедшему лицами.

— У-у, милая моя! — раздалось в стороне.

Гавриловна приплясывала перед верстаком и горячо прижимала к груди только что сшитую большую веленевую книгу; потом она положила ее на четыре других, уже сшитых книги. Отодвинула пачку и низко, в пояс, поклонилась ей и что-то бормотала.

В мастерскую, в сопровождении Василия Матвеева, вошел хозяин Виктор Николаевич Семидалов. Девушки оставили работу и с любопытством следили за ним: было большою редкостью, когда хозяин заглядывал в брошюровочную.

Оба прошли прямо к верстаку Александры Михайловны. Василий Матвеев разводил руками и говорил:

— Невозможно, Виктор Николаевич, углядеть! Такой народ, просто наказание! Вот извольте сами посмотреть!

Он полез под верстак и вытащил вино.

— Извольте видеть?

Хозяин, мрачный, как туча, смотрел на Александру Михайловну.

— Скажите, пожалуйста, вы не знали, что спиртные напитки запрещается вносить сюда? Я принял вас в память вашего мужа, помогал вам, но это вовсе не значит, что вы у меня в мастерской можете делать, что вам угодно.

Александра Михайловна, бледная, с сжатыми губами молчала, опустив глаза.

— Я и не знал, что вы выпиваете! — с усмешкою прибавил хозяин. — Да еще какие напитки дорогие — портвейн! А я думал, вы нуждаетесь... Слушайте: в первый и последний раз я вас прощаю, но смотрите, если это повторится еще раз!

Ои пренебрежнтельно оглядел ее и вышел. Прнслонившись к соседнему верстаку, стоял вихрастый, курносый мастер над девушками переплетного отделеиия Сугробов.

— Ты давио тут работаешь? — спроснл он, когда хозяии и Матвеев вышлн.

— Третнй месяц, — машннально ответила Алексаидра Михайловиа.

— Ну, не выдержать тебе, — с состраданием произнес он. — Бегн лучше прочь, погубншь себя!

И ои пошел к себе вннз; Алексаидра Михайловиа неподвижно стояла перед верстаком. Подошлн Дарья Петровиа и Фокииа. Дарья Петровна спроснла:

— Что это он иа вас? Ведь вино-то вы ему купилн. Что такое случнлось?

— Так... Все равно...

— Мало, что ли, показалось ему?

Фокииа испытующе взгляиула иа Александру Михайловну н усмехнулась.

— От такой красивенькой дамочки ему не портвейна нужно.

Дарья Петровиа высоко подияла бровн и украдкою броснла на Александру Мнхайловну быстрый взгляд.

— Вот мерзавец! — сочувствеино вздохнула оиа.

У Александры Михайловны запрыгали губы.

— Уйду я отсюда!

Дарья Петровиа помолчала.

— Куда уйтн-то? Вы думаете, лучше у другнх? А я вам скажу, может, еще хуже. Тут хоть хозяии добрый, не гоиится за этнм, а вои у Коннкова, — там прямо нди к иему девушка в кабниет.

— Какого Коиикова? Конюхов фамнлня его, — поправила Фокииа. — На Пятиадцатой линни.

— Ай Коиюхов? Ну, Конюхов, что лн.

Дарья Петровиа опять помолчала, взгляиула на Алексаидру Михайловну и еще раз сочувствеиио вздохиула.

Александра Михайловна со страиным чувством слушала нх. То, что случилось, было неслыхаиио возмутительио. Все глаза должны былн загореться, все души вспыхиуть иегодованием. Между тем сочувствие было вялое, почтн деланиое, и от него было противио.

Она возвращалась домой глубоко одинокая. Была суббота. Фальцовщицы и подмастерья, с получкою в кармане, весело и торопливо расходились от ворот в разные стороны. Девушек поджидали у ворот кавалеры — писаря, литографы, наборщики. У всех были чуждые лица, все были заняты только собою, и Александре Михайловне казалось, — лица эти так же мало способны осветиться сочувствием к чужой беде, как безучастные лица бумажных Пушкиных.

Громко и весело разговаривая, Александру Михайловну обогнала кучка девочек-подростков. Впереди, с лихим лицом, шла Манька. Под накинутым на плечи платком гибко колебался ее тонкий полудетский стан. У панели, рядом с ломовыми дрогами, на кучке старых рельсов спал ломовик. Манька громко крикнула:

— Дядя, зачем спишь?!

Девочки расхохотались.

Ломовик поднял взлохмаченную голову, молча поглядел девушке вслед и снова опустил голову на рельсы.

— Вот бы ему бабу здоровую подложить под бок, было бы ему тепло! — говорила Манька, быстро идя дальше. — Аа-чхи!! — вдруг громко сделала она, как будто чихая, в лицо двум стоящим у панели парням.

Парни пустили ей вслед сальную остроту. Девочки со смехом свернули за угол.

«Какая все помойная яма!» — с тупым отвращением думала Александра Михайловна. И она вспомнила, как хорошо и чисто жилось ей, когда был жив Андрей Иванович.

Спускались белые сумерки. У ренского погреба, кого-то поджидая, стояла Таня, оживленная и веселая, со своими золотящимися, пушистыми волосами. Из погреба вышел красивый, статный гвардейский матрос. Таня взяла его под руку.

— Вот что: килек не надо, будет селедка. Лучше винограду купим.

Моряк поклонился Александре Михайловне. Это был жених Тани, Журавлев. Они пошли под руку через улицу к колониальному магазину. Александра Михайловна смотрела вслед, смотрела, как они тесно прижимались друг к другу, и еще сильнее чувствовала свое одиночество.

IV

Назавтра, в воскресенье, Александра Михайловна лежала под вечер на кровати. Ей теперь вообще хотелось много лежать, а вчера она к тому же заснула, когда уже рассвело; в соседней комнате пьяные водопроводчики подрались с сапожником, били его долго и жестоко; залитого кровью, с мотающейся, бесчувственною головою сапожника свезли в больницу, а водопроводчиков отвели в участок. Потом воротился домой тряпичник, тоже пьяный, и стал бить свою жену; она ругалась и как будто нарочно задирала его, а он бил ее еще жесточе.

В комнате никого не было. Взрослые разошлись, дети играли на дворе.

Громкий голос спросил в коридоре:

— Здесь Колосова живет, Александра Михайловна?.. Эй, есть кто тут?

Александра Михайловна поспешно поднялась с постели, застегивая на груди кофточку. В комнату вошел Ляхов, с тросточкой в руке.

— Здравствуйте!.. Вот так квартира, — нигде никого нет!

Александра Михайловна холодно ответила:

— Здравствуйте!

— Моя жена не у вас?

— Нет тут вашей жены.

— Нету... Гм!

Ляхов сел на качавшийся стул и, играя тросточкою, внимательно оглядывал обстановку.

— Ваш покойный муж был глуп, — неожиданно сказал он.

Александра Михайловна заволновалась.

— Василий Васильевич, если по-хорошему пришли, то так, а нет, то лучше ступайте отсюда!

— Он был глуп. Он вас не умел ценить. Если бы он был немножко поумнее, он бы вас холил, на руках носил бы. Он бы понимал, какая у него хорошая жена. А он вас только обижал.

Ляхов странными, что-то таящими в себе глазами оглядывал Александру Михайловну, и она, волнуясь, сама того не замечая, оправляла юбку и нащупывала пальцами, все ли пуговицы застегнуты на груди.

— Бросьте мастерскую, приходите ко мне жить,— продолжал Ляхов и придвинулся со стулом к кровати. — Я вам буду платить каждый месяц тридцать два рубля. Катьку прогоню, дам ей отдельный паспорт. Я без вас не могу жить.

Александра Михайловна, все больше волнуясь, встала и подошла к окну.

— Я не понимаю, Василий Васильевич, как вам не стыдно это говорить! Ведь вы были друг Андрею Ивановичу, он вас любил...

— Он был подлец, завистник! Он меня нарочно перед смертью женил на Катьке, по злобе, чтоб вы мне не достались.

Александра Михайловна засмеялась.

— Неужели? Скажите пожалуйста!.. Мы ее, кажется, напротив, — отговаривали идти за вас.

— Я для того только и в больницу ходил к Колосову, чтоб посмотреть, скоро ли он сдохнет, — вызывающе сказал Ляхов.

— Василий Васильевич, уходите отсюда вон. Я вас не желаю слушать!

— Зачем вы к окну ушли?

Ляхов тяжело дышал, с тем же странным, готовящимся к чему-то лицом. Он встал и подошел. От него пахло коньяком. Александра Михайловна старалась подавить вдруг охватившую ее дрожь. Ляхов, бледный и насторожившийся, с бегающими глазами, стоял, загораживая ей дорогу от окна. Задыхаясь, она поспешно заговорила:

— Василий Васильевич, что же это будет? Раньше в мастерской и на улице не давали мне проходу, а теперь уж на квартиру ко мне приходите? Сами подумайте, разве же так можно!

— Я вам сказал, что я вас люблю. А что раз сказал, от того уж никогда не отступлюсь. Все равно вы мне достанетесь, покою вам не будет... Я своего добьюсь...

Ляхов теперь тоже задыхался. Крепкий, с мускулистым затылком, он смотрел в лицо Александре Михайловне замутившимися, тупо-беспощадными, как у зверя, глазами. И Александра Михайловна поняла, — от этой животной, жестокой силы ей не защититься ни убеждениями, ни мольбами.

В дверях показался высокий, широкоплечий Лест-

ман. Он снял с головы котелок и застенчиво приглаживал ладонью белесые волосы.

— Иван Карлыч, здравствуйте! — громко сказала Александра Михайловна и с неестественным оживлением пошла к нему навстречу мимо Ляхова.

Ляхов обернулся. Глаза его насмешливо вспыхнули.

— А-а, явленные мощи! Что так долго не являлись? Тебя уж тут заждались. С утра ждут, — что это милый не приходит?.. Местечко, значит, занято! Та-ак!..

Он засмеялся, надел шляпу и, не прощаясь, вышел...

Александра Михайловна радушно говорила:

— Садитесь, Иван Карлыч! Сейчас будем чай пить!

Она все еще не могла справиться с бившей ее дрожью. Лестман с недоумением следил за нею.

— Такой нахал этот Ляхов, просто я не понимаю! — сказала она. — С самого того времени, как Андрей Иванович помер, не дает мне нигде проходу. В мастерской пристает, на улице, на квартире вот... И придумать не могу, как мне от него отделаться!

Лестман покачал головою.

— Он всегда был нахал. Это не было корошо, что ваш муж уж давно его не прогонял.

Александра Михайловна сходила за кипятком, заварила чай. Лестман молча стал пить. От его приглаженных, словно полинявших волос, от плоского лица с редкою бородкою несло безнадежно трезвою скукою.

— Что это у вас, Иван Карлыч, рука завязана?— спросила Александра Михайловна.

— Это я себе руку зарезал на работе... Фельдшер посыпал каким-то пульвером, и еще больше заболела. Только я понял, что фельдшер неправильно сделает. «Нет,—я думаю,—надо не так». Взял спермацетной мази, снапса и вазелина, сделал мазь, положил на тряпку, и все сделалось сторовое. Теперь уже можно работать, а раньше эту целую неделю я не работал.

— А у вас как, платят, когда заболеешь?

— Если доктор записку дает, тогда платят семьдесят пять копеек за каждый день. У нас доктор очень добрый, всем дает, а только я не хотел брать. Мастер всегда сердится за это. Лучше же я не буду брать, тогда он мне будет давать хорошую работу.

Александра Михайловна вздохнула.

— Видно, везде мастера обижают рабочего человека!

— А вам и теперь всегда дают плохую работу? — осторожно спросил Лестман.

— Плохую. Так теснит мастер, просто я не знаю. Уж думаю, не перейти ли в другую мастерскую.

Лестман медленно мигнул, и в белесых глазах проползло что-то. Александра Михайловна прикусила губу и замолчала. Ей стало ясно: да он ждет, чтобы она совсем запуталась и чтоб тогда пошла к нему. И ей вдруг представилось: где-нибудь в темной глубине моря сидит большая, лупоглазая рыба и разевает широкий рот и ждет, когда подплывет мелкая рыбешка, чтоб слопать ее.

— Вы сколько же теперь саработаете? — осторожно выпытывал Лестман.

Александра Михайловна стала врать.

— Да зарабатываю, собственно, ничего. Двадцать рублей, когда постараешься — двадцать пять. Жить можно, ничего, а только все-таки обидно, — зачем они неправильно поступают!

Она низко наклонилась над чашкою, чтоб Лестман не видел ее лица, а сама думала: «Всем, всем им нужно одного — женского мяса: душу чужую по дороге съедят, только бы добраться до него...» Она резко и неохотно стала отвечать на вопросы Лестмана, но он этого не замечал. Помолчит, выпьет стакан чаю и расскажет, как он в Тапсе собирал муравьиные яйца для соловьев.

— Нужно взять две ольховые палочки, сдирать с них кожицу и в воскресенье утром положить крестом на муравьиную кучу. Все муравьи уйдут. Можно эти яйца продавать, фунт стоит восемьдесят пять копеек.

И опять молчит.

Наконец он встал уходить. Александра Михайловна проводила его до выхода, воротилась и села к окну. Смутные мысли тупо шевелились в мозгу. Она не старалась их поймать и с угрюмою, бездумною сосредоточенностью смотрела в окно. Темнело. В комнату сходились жильцы, за перегородкою пьяные водопроводчики играли на гармонике. Александра Михайловна надела на голову платочек и вышла на улицу.

В сумерках по панели проспекта двигалась празд-

ничная толпа, конки, звеня и лязгая, черными громадами катились к мосту. Проходили мужчины — в картузах, фуражках, шляпах. У всех были животные, скрыто-похотливые и беспощадные в своей похотливости лица. Толпа двигалась, одни лица сменялись другими, и за всеми ими таилась та же прячущаяся до случая, не знающая пощады мысль о женском мясе.

Александра Михайловна свернула в боковую улицу. Здесь было тише. Еще сильнее, чем всегда, она ощущала в теле что-то тоскливо-сосущее; чего-то хотелось, что-то было нужно, а что, — Александра Михайловна не могла определить. И она думала, отчего это постоянное чувство, — от голода ли, от не дававших покоя дум или оттого, что жить так скучно и скверно? На углу тускло светил фонарь над вывескою трактира.

Стыдясь самой себя, Александра Михайловна подумала: «Зайти разве, выпить?»

Она постояла, внимательно огляделась по сторонам и тихонько скользнула в дверь.

Народу в трактире было немного. За средним столом, под лампой-«молнией», три парня-штукатура пили чай и водку, у окна сидела за пивом пожилая, крупная женщина с черными бровями. Александра Михайловна пробралась в угол и спросила водки.

Молодой штукатур, с пухлым лицом и большим, как у рыбы, ртом, обнимал своего соседа и целовался с ним.

— Пущай же об нас люди говорят, что мы худо поступаем!.. Пущай. Один истинный бог над нами! Алешка, верно я сказал?.. Ярославец, еще бутылочку!

— Ваня! Будет, не надо!

— Ну, «будет»!

— Не надо!

— Эй, еще бутылочку!

— Ваня, не рассчитывай!

Чернобровая женщина, держа кружку за ручку, с враждебным вниманием слушала их.

Половой поставил перед Александрой Михайловной графинчик, она налила рюмку и выпила. Водка захватила горло, обожгла желудок и приятным теплом разлилась по жилам. Как будто сразу во всем теле что-то подправилось, понурая спина выпрями-

лась, и стало исчезать обычное ощущение, что чего-то не хватает.

— Нет, не буду больше пить! — решительно произнес Алешка. Он взял с соседнего стола «Петербургский листок», хотел было начать читать и положил назад на стол. — Не стоит браться! — сказал он.

Чернобровая женщина, все так же враждебно глядя на него, громко спросила:

— Почему не стоит браться за литературу? Литература издается для просвещения! В ней пишут сотрудники, умные люди! Как же это за нее не стоит браться?

Штукатуры оглянулись и продолжали разговаривать. Чернобровая женщина обратилась к Александре Михайловне:

— Вот какой народ здесь в Петербургской губернии! Самый дикий народ, самый грубый. Поезжайте вы в Архангельскую губернию или Ярославскую. Вот там так развитой народ. И чем дальше, чем лучше. А в Смоленской губернии!.. Оттуда такое письмо тебе пришлют, что любо читать. А здесь, конечно, обломы все, только что в человеческой коже. Как они говорят: «эка! пущай!..»

Через час Александра Михайловна вместе с чернобровой женщиной выходила из трактира. Александра Михайловна рыдала и била себя кулаком в грудь.

— Я честная женщина, я не могу! — твердила она. — Уйду, уйду, от всех уйду!.. Жить хочешь, так потеряй себя... Все терпеть, терпеть!.. Куда же уйти-то мне, господи?

Волосы ее выбивались из-под платка, она качала растрепанною головою, а чернобровая женщина своим громким, уверенным голосом говорила:

— Это иезуитское правило, — всякий способ оправдывает свое средство!.. Иезуитское нормальное состояние...

V

В понедельник утром рассыльный положил перед Александрой Михайловной две толстые пачки веленевых листов.

— Подожди, что это такое? Почему мне два листа? Всем по одному дано.

— Мие какое дело, велеио! — И рассыльиый пошел дальше.

— Я не возьму, иеси иазад к мастеру, мие ие иадо!

За веленевые лнсты платят почтн столько же, сколько за обыкиовеииые; между тем фальцевать веленевую бумагу много трудиее: номеров страинц не вндио даже иа свет, прнходнтся отгнбать углы, чтобы иомер пришелся на иомер; бумага ломается, прн сгибанин образуются складкн.

Алексаидра Мнхайловна пошла в контору к хозяину. Там был н Васнлнй Матвеев.

— Внктор Нниколаевич, позвольте узнать, почему мне далн два листа «Европейской флоры»? Всем по одному дано фальцевать, Поляковой ничего, а мне два.

Семндалов вопросительно взглянул на Васнлия Матвеева. Ои развел рукамн н суетлнво наклоиился к хозяину.

— Так пришлось, Внктор Нниколаевич, ничего не поделаешь. Нужно же кому-нибудь дать, поровну на всех ие поделнщь.

— Вот Поляковой бы ты и дал, — сказала Александра Мнхайловна.

Матвеев покосился иа нее.

— У Поляковой другая работа есть.

— Да-а, другая работа! Шитье в прорезку!

— Это все равно! — поучающе пронзнес хозяин.— Такую трудную работу нужио всем делить поровну, она права, работа на работу не прнходнтся; нужно так распределять, чтоб ннкому не было обндно. Я вам это сколько раз говорил. Вы знаете, я люблю, чтобы все делалось справедлнво.

Александра Мнхайловна с торжеством воротнлась в мастерскую. Следом вошел Васнлнй Матвеев. Он медленно обошел работавших, потом остановился около Алексаидры Мнхайловны.

— Ты хозяииу жаловаться! Посмотрнм, много лн выгадаешь. Хочешь выше мастера быть?.. Ладно!

Через два дня шнть в проколку эту же «Флору» досталось опять Алексаидре Мнхайловие. Раздачею шитья заведовал Соколов, однн из помощннков Василия Матвеева. Александра Мнхайловиа пошла к нему объясняться. Соколов грубо крикнул:

— Что это тут за королева объявилась?.. Шей, что дают, и не рассуждай.

— Мне, милый мой, рассуждать нечего, а я к хозяину пойду, — спокойно возразила Александра Михайловна и отправилась в контору.

Хозяин выслушал Александру Михайловну и нахмурился.

— Знаете, голубушка, нельзя же все уже так поровну делить. Работа разная бывает, приходится иногда и потяжелее работу сделать.

С этих пор, завидев входящую в контору Александру Михайловну, Семидалов стал уходить. Первое время после ее поступления в мастерскую он покровительствовал ей «в память мужа», перед которым чувствовал себя в душе несколько виноватым. И его раздражало, что на этом основании она предъявляет требования, каких ни одна девушка не предъявляла, и что к ней нужно относиться как-то особенно — не так, как к другим.

Вообще в конторе совсем иначе относились к девушкам, чем к переплетным подмастерьям. С подмастерьями считались, их требования принимались во внимание. Требования же девушек вызывали лишь негодующее недоумение, и они находились в полной власти Василия Матвеева с помощниками. Подмастерья получали расчет каждую неделю, девушки — через две недели. Подмастерья имели законные расчетные книжки, девушкам заработок вписывался в простые тетрадки. Иногда, просматривая списки с платою, хозяин находил, что такая-то девушка заработала слишком много, вычеркивал девять рублей и вместо них ставил восемь.

— Попробовал бы он с нами так-то, мы бы ему показали! — смеялись подмастерья, когда девушки рассказывали им про это.

И Александра Михайловна не могла понять, потому ли так покорны девушки, что им нет управы на контору, или потому и нет управы, что они так покорны. Она саднящими руками вкалывала иглу в плотную, как кожа, веленевую бумагу и с глухою ненавистью следила за Василием Матвеевым: жирный, красноrожий, надувшийся дарового кофе с вишневкою, он прохаживался между верстаками, отдуваясь и рыгая. Как будто барин расхаживал среди сво-

их крепостных. А девушки, ругавшие его за глаза, в глаза были предупредительны и почтительны.

Мастерская становилась Александре Михайловне все противнее. Противна была и сама работа, и шедшая от залежавшихся листов пыль, и тянувшийся с лестницы запах варившегося внизу клея. Противны были люди кругом. Брошюранты, работавшие вперемежку с девушками, нарочно говорили при них сальности и вызывали их на сальные ответы. Но противнее всего было, когда девушки ссорились между собою. А ссорились они часто, из-за каждого пустяка. И тогда одна бросала в лицо другой грязные, вонючие оскорбления и громко уличала ее, что она живет на содержании у ретушера Образцова, а кроме того, бегает ночевать к Володьке-водопроводчику. Бесстыдно рассказывались невероятные вещи о подброшенных и задушенных детях, о продаже себя за бутылку пива. Мастера и брошюранты, засунув руки за пояс блуз, толпились вокруг и, довольные, покатывались со смеху; девочки-подростки с жадным любопытством слушали, блестя глазами. А поссорившиеся, как пьяные, не чувствовали своего унижения и продолжали перебрасываться смрадными словами.

Больше всего Александру Михайловну поражало, что среди девушек не было решительно никаких товарищеских чувств. Все знали, что Грунька Полякова, любовница Василия Матвеева, передает ему обо всем, что делается и говорится в мастерской, —и все-таки все разговаривали с нею, даже заискивали. И Александра Михайловна вспомнила, как покойный Андрей Иванович с товарищами жестоко, до полусмерти, избил однажды на празднике иконы подмастерья Гусева, наушничавшего на товарищей хозяину.

Вообще Александра Михайловна часто вспоминала теперь Андрея Ивановича и удивлялась, что не замечала раньше, какой он был умный и хороший. В его мыслях, прежде чуждых ей и далеких, как мысли книги, она теперь чувствовала правду, живую и горячую, как кровь. Ей понятным становилось его страстное преклонение перед товариществом, тоска по слабости этого товарищества к жизни. Почему, например, девушки втайне относятся друг к другу,

как к врагам, когда всем им было бы лучше, если бы они держались дружно? И Александра Михайловна пробовала говорить им это, убеждать, но, как только доходило до дела, она чувствовала, что и самой ей приходится плюнуть на все, если не хочет остаться ни при чем.

Привезут из типографии новые листы. Все девушки насторожатся, глаза беспокойно бегают. Нельзя зевать, нужно узнать, выгодная ли работа; если выгодная, — нужно добыть ее или выклянчить у мастера. Листы обернуты картузною синею бумагою и обвязаны бечевкою. Девушки толпятся вокруг, беспокойно шушукаются, расспрашивают друг друга. Входит мастер.

— У кого работа на исходе? — спрашивает он.

— У меня вся, — отзывается Александра Михайловна.

Таня испуганно шепчет:

— Зачем говорите? Молчите! Я смотрела: бумага толстая-претолстая, и на свет номера не видать!

Рассыльный кладет перед Александрой Михайловной пахнущую типографской краской кипу.

— Зачем говорите, не узнавши? — с сожалением поучает ее Таня. — Вы так всегда будете с плохой работой.

— Да как же узнаешь-то?—раздраженно возражает Александра Михайловна и, глотая слезы, глядит на толстую кипу, за которую опять получит гроши.

— А вы раньше спросите девушку, которая цензурные экземпляры фальцевала. Или вот как мы сейчас сделали: надорвали на уголке картузную бумагу и подсмотрели. Развернуть нельзя: тогда уже не позволят отказаться, а так никто не заметит, что надорван угол, а заметят, — скажут: мужик вносил, углом зацепил за косяк. Тут, знаете, если смирной быть, только одни объедки будут доставаться.

Таня нравилась Александре Михайловне все больше. Всегда она была предупредительная, всегда готовая на помощь. Они теперь работали за одним верстаком, и Таня обучала Александру Михайловну приемам работы, показывала, какими способами добывать ее. Возьмет, например, выгодную работу у Василия Матвеева, потом идет наверх к Соколову. Соколов отказывает: «Тебе пусть Матвеев дает». —

«У него нету, он к тебе послал». Наберет работы себе и Александре Михайловне и сложит все под верстаком. Когда же грозит невыгодная работа или когда Василий Матвеев тянет выдачу, отговариваясь недосугом, они достают из-под верстака запасную работу и делают ее.

— Как ты, Танечка, все достать умеешь! — восхищалась Александра Михайловна.

Таня гордо отвечала:

— Тут иначе нельзя. От косоглазого справедливости разве дождешься? Всякую пакость сделает, особенно нам с вами, что мы его презираем, не уступаем ему. Вы знаете, как к нему в комнату ни зайдешь, — сейчас начинает: пойди с ним на любовь... С боровом этим жирным! Такой дурак! Думает, не обернемся без него. Как же!

Александра Михайловна вздохнула.

— Тебе-то вот хорошо. Работаешь ты легко, на свете одна, — много ли тебе нужно? А вот как мне-то! Девочку надо кормить, работать никак не приноровлюсь. Уж так другой раз тяжело, просто и не знаю.

Таня молча теребила и сгибала угол бракованного листа. Поколебавшись, она заговорила:

— «Много ли нужно»... Я вам, Александра Михайловна, всю правду скажу: мне много-много денег нужно! Мне сто рублей нужно, вот сколько. Потому я так и стараюсь. Вы знаете, осенью Петя кончает службу, нужно какого-нибудь дела искать. Надумал он поступить в артельщики, в биржевую артель. Дело отличное, пятьдесят рублей жалованья, доходы есть. А только нужно залог в двести рублей; для начала можно сто, — другие сто из жалованья будут вычитать. Вот видите, сколько мне нужно. Восемьдесят рублей я уже скопила, еще двадцать осталось. Бог даст, в три месяца все сто будут готовы, и на свадьбу еще останется. Я бы и еще скорее набрала, да нужно тоже Пете помогать; вы знаете, как плохо в солдатах жить без денег... Поступит в артель, и сейчас же женимся; мастерскую брошу...

И, забывая о работе, она без конца говорила о своей любви и ожидаемой жизни.

VI

Была середина июля. Пора стояла глухая, заказы в мастерскую поступали вяло. Хозяин распустил всех девушек, которые работали в мастерской меньше пяти лет; в их числе были уволены Александра Михайловна и Таня. Они поступили на кондитерскую фабрику Крымова и К°, на Васильевском острове.

В обширных подвалах сотни девушек и женщин чистили крыжовник и вишни, перебирали клубнику, малину, абрикосы. От ягод в подвалах стоял веселый летний запах, можно было на месте есть ягоды до отвалу, и платили по шестьдесят копеек в день. Но это была временная работа, через две недели она прекратилась.

Александра Михайловна стала искать швейной работы. Она надеялась найти дело, с которого можно будет жить. В Старо-Александровском рынке ей дали на пробу сшить полдюжины рубашек с воротами в две петли, по гривеннику за рубашку. Она заняла у Тани швейную машину, шила два дня, потратила две катушки ниток. В рынке с нею расплатились по восемь копеек за рубашку.

— Вы же по десять отдавали! — возмутилась Александра Михайловна.

Хозяин холодно ответил:

— Нет, это не пойдет. Желаете по восемь копеек, — извольте, шейте! А по десять нам не подходит.

— Подходит не подходит, а отдавали за десять, и должны по десять заплатить!

— Василий, убери товар! — вздохнул хозяин и взялся за жестяной чайник.

Александра Михайловна, прикусив губу, в упор смотрела на веснушчатое, худощавое лицо хозяина.

— Ну, прощай, разживайся с моих двенадцати копеек!

— Доброго здоровья! — лениво отозвался хозяин, отхлебывая из стакана желтый чай.

Александра Михайловна возвращалась домой по Невскому. Был Ильин день. Солнце село; в конце проспекта в золотой дымке зари темнел Адмиралтейский шпиц. Александра Михайловна вяло шла, — униженная, раздраженная. Она посчитала: за два дня, за вычетом катушек, она заработала тридцать шесть

копеек. Спускались прозрачные, душные сумерки. По панелям двигались гуляющие коляски, и пролетки с нарядными людьми проносились на Острова. Из раскрытых дверей магазинов несло прохладою, запахом закусок и фруктов; за зеркальными стеклами красовались на блюдах огромные рыбы в гарнире, паштеты, заливные. Александра Михайловна угрюмыми, волчьими глазами смотрела на все, и в душе взмывала злоба.

Навстречу медленным, раскачивающимся шагом шла девушка, поглядывая на встречных мужчин. В руках был розовый зонтик, розовая кофточка плотно облегала корсет. Александра Михайловна, в отрепанной юбке, с поношенным платком на голове, внимательно оглядывала ее. Глаза их встретились. Из-под наведенных черных бровей взгляд девушки с презрительным вызовом отбросил от себя полный отвращения взгляд Александры Михайловны. Александра Михайловна остановилась и долго, с пристальным, гадливым любопытством смотрела вслед.

На углу Владимирской девушку нагнал высокий господин в цилиндре. Он близко заглянул ей в лицо и что-то сказал. Они сели вместе на извозчика и покатили по Литейному. Александра Михайловна медленно пошла дальше.

«Просто все это делается! — с негодующею усмешкою думала она. — Оглядели, как корову, взяли и повезли, и она спокойно едет и позволит делать с собою, что угодно. Тварь бесстыдная!..»

Александра Михайловна думала так, а сама потихоньку косилась на свое отражение в зеркальных стеклах магазинов; у нее красивое лицо, с мягкими и густыми русыми волосами, красивая фигура. Если бы затянуться в корсет, надеть изящную розовую кофточку, на нее заглядывались бы мужчины.

И одновременно два слоя мыслей шли через ее голову, как, бывает, по небу идут, не мешаясь, два слоя облаков. Одни мысли — ясные и малоподвижные — говорили, как позорно для женщины продавать первому встречному то, чего никому нельзя продавать. Другие мысли, мутные и тяжелые, быстро шли понизу, у них не было ясных очертаний, и они говорили, что все это, напротив, очень просто; у женщин есть что-то, что тянет к себе мужчин, за что они

щедрее и охотнее всего дают деньги; и нужно этим пользоваться, глупо терпеть, — для чего? Отчего не продавать и этого? И можно тогда бросить мастерскую, где пахнет пылью и вареным клеем, где брошюранты говорят сальности и ходит, рыгая, рыжий Василий Матвеев... Александра Михайловна с тайным удовольствием прислушивалась к этим мыслям и в то же время с гадливым презрением вспоминала, как спокойно сидела в пролетке девушка, которую увозивший ее к себе незнакомый человек обнимал за талию.

Темнело. В воздухе томило, с юга медленно поднимались тучи. Легкая пыль пробегала по широкой и белой Дворцовой площади, быстро проносилась коляска, упруго прыгая на шинах. Александра Михайловна перешла Дворцовый мост, Биржевой. По берегу Малой Невы пошли бульвары. Под густою листвою пахло травою и лесом, от каналов тянуло запахом стоячей воды. В полутьме слышался сдержанный смех, стояли смутные шорохи, чуялись любовь и счастье.

На юге вспыхнула синяя, бесшумная молния. Улицы становились странно тихими, только белая пыль изредка кружилась. Александра Михайловна присела на скамейку. Никогда раньше так страстно не хотелось ей счастья — неслыханно-большого, вольного и бурливого. Гульнуть, развернуться так, чтобы насквозь прожгло горячим огнем и душу и тело. Чтобы вихрем вынесло ее из этой унизительной, грязной и скучной жизни. Ей казалось, теперь она начала понимать те приступы мучительной, рвущейся куда-то тоски, которая так часто охватывала Андрея Ивановича. Раньше она только недоумевала перед ними: было бы в доме тихо и мирно, хватило бы на жизнь денег, — чего ж еще? Его же этот-то тихий мир и давил. И казалось ей, — теперь и ее бы этот мир не удовлетворил. Хотелось чего-то другого, чего, — все равно, но только чтоб подняться над этой жизнью.

Александра Михайловна воротилась домой. Был десятый час вечера. Зина спала. В душной комнате тускло горела лампа. Жена тряпичника, в рваной рубашке, сидела на постели и ругалась через перегородку с хозяйкою. Сегодня праздник; скоро воротится тряпичник, безмерно пьяный; опять начнет она

ругать его, и он, как собачонка, загонит ее под кровать и будет бить там кочергой, а когда он наконец устанет и заснет, она выползет из-под кровати и со стоном будет отдирать запекшуюся в крови рубашку от избитого тела... Уйти бы куда-нибудь! Александра Михайловна решила пойти к Тане.

Таня жила на том же дворе, в другом флигеле. Она выбежала на звонок, — сияющая, радостная. И вдруг глаза потухли, лицо потемнело.

Александра Михайловна сконфуженно спросила:

— Я не вовремя?

— Нет... пожалуйста... — ответила Таня упавшим голосом.

В маленькой чердачной комнатке, с косым потолком и окошечком сбоку, было чисто и девически уютно. По карнизам шли красиво вырезанные фестончики из белой бумаги, на высокой постели лежали две большие, обшитые кружевами несмятые подушки. Подушки эти клались только на день, для красоты, а спала Таня на другой подушке, маленькой и жесткой.

За столом сидела приятельница Тани, портниха Прасковья Федоровна. На столе ворчал потухавший самовар, стояла бутылка водки, кильки и колбаса.

Таня, в черной юбке и серой шелковой кофточке, была неестественно оживленна, говорлива, и глаза ее блестели.

— Давайте выпьем! — предложила она. — Для кого приготовлено, тот не пришел, — и не надо! Без него обойдемся!

Они выпили по рюмке и стали закусывать.

— Ты Петра Ивановича ждала? — спросила Александра Михайловна.

— Кого ждала, того нету! — засмеялась Таня, выскребая из склизкой кильки коричневые внутренности.

Потом вдруг перестала смеяться и замолчала.

— Второй уж раз что-то не приходит, — задумчиво сказала она. — И прошлое воскресенье задаром прождала. Что это — уж не знаю. Скучно что-то. Думается, — может, он так себе только, за глупостями гнался! Повозился, свое получил — и прочь... — Таня молчала, размазывая вилкою внутренности нетронутой кильки. — Не должно бы этого быть, сто рублей

нужны, чтоб в артель внести, а в нынешнее время разве легко такую невесту найти? А только видела я недавно, шел он с одного двора, — говорит: тетка больная, а мне думается, не от Феньки ли папиросницы он шел?.. Ну, выпьем еще! — лихо предложила она и налила по второй рюмке.

Прасковья Федоровна запротивилась:

— Ну, Танечка, что ты! Больно уж скоро!

— Ничего, а то с первой чтой-то закуска в рот не идет. Рюмочки маленькие.

— Вы когда же насчет свадьбы думаете? — спросила Прасковья Федоровна.

— Думали под Филипповки венчаться.

Прасковья Федоровна вздохнула.

— И наша тогда же будет.

— А вы тоже замуж выходите? — спросила Александра Михайловна.

— Да.

— За кого?

— За портного одного. За кого же портнихе выходить! — засмеялась она.

— Такой противный! — заметила Таня. — Хромой, нос на сторону, рожа — вот!

Она смешно скосила губы и подперла пальцем нос на сторону. Все засмеялись.

— Хороший человек?

— Не знаю, я его мало видела, — равнодушно ответила Прасковья Федоровна.

Александра Михайловна помолчала.

— Что же вам спешить? Погодили бы, пригляделись. Знаете, другой раз бывает: поспешишь, а потом пожалеешь.

— Работать трудно, — устало произнесла Прасковья Федоровна. — Мастерская у хозяйки темная, все глаза болят. Профессор Донберг вылечил, а только сказал, чтоб больше не шить, а то ослепнешь.

— А может, и у мужа придется шить?

Прасковья Федоровна оживилась.

— Та работа легкая. Мужское платье всегда выгодно шить. А дамская работа, вы знаете, какая капризная: чтоб платье и отделка под тон были, чтоб жанр соблюсти, чтоб фасон подходил к лицу. Учительница — она требует, чтоб фасон был серьезный. Душеньке какой-нибудь, — ей шик надобен.

— Бывает так: выйдешь не подумавши, а потом другого полюбишь, — задумчиво проговорила Александра Михайловна.

Прасковья Федоровна хитро улыбнулась, скользнула взглядом в сторону и, покраснев, искоса взглянула на Александру Михайловну.

— Да я и сейчас люблю!

И далекий отблеск глубоко скрытого, стыдящегося чувства слабо осветил ее лицо.

— Что же за него не идете?

— Да он меня не любит.

— А он знает, что вы его любите?

— Может, и не знает... А зачем к нам не ходит? Любил бы, так ходил.

Ее худое лицо с большими черными глазами продолжало светиться, на губах легла девическая застенчивая улыбка.

— Нет, мой совет, подождали бы, — повторила Александра Михайловна.

— Теперь уж нельзя: обручальные кольца куплены... А только не дай бог, чтоб тот на обручение или на свадьбу ко мне попал, — то-то мне будет стыдно!

Прасковья Федоровна задумалась. Отблеск с ее лица исчез.

— Знаете, какие мне иногда глупости приходят в голову? — медленно проговорила она.

— Какие?

Прасковья Федоровна помолчала и удивленно раскрыла глаза.

— Зачем жить!

— Да что вы?

— Ей-богу! — с улыбкой подтвердила она.

Таня, засунув руки меж колен, блестящими от хмеля глазами смотрела вдаль.

— Ну, будет, что там!.. Скучно! — вдруг сказала она. — Давайте что-нибудь веселое делать. Эх, музыки нету, я бы потанцевала!

Она уперлась рукою в бок и заплясала, веселая и удалая, притопывая каблуками.

— Ну, ну, пойте! — настойчиво приказывала Таня, стараясь рассеять налегшую на всех тучу тоски.

Она кружилась, притопывала ногами и вздрагивала плечом, совсем как деревенская девка, и было

смешно видеть это у ней, затянутой в корсет, с пушистою, изящною прнческою. Александра Михайловна и Прасковья Федо́ровна подпевали и хлопали в такт ладошами. У Александры Мнхайловны кружилась голова. От вольных, удалых движений Тани становнлось на душе вольно, вырастали крылья, и казалось, — все пустяки, и жнть на свете вовсе не так уж скучно.

— Дернем еще! — снова предложнла Таня и быстро налнла рюмкн.

Прасковья Федоровна отказалась.

— Дернем! — лнхо ответнла Александра Михайловна, с влажнымн губами, часто и дробно смеясь. В голове ее закружнлось сильнее, становнлось все веселее н вольнее; она подтопывала Тане, хлопала в такт ладошамн и подпевала: «Эх!.. Эх!..»

Запыхавшаяся Таня опустилась на кровать рядом с Прасковьей Федоровной н обняла ее.

— Ну, Парашенька, ты нам теперь спой!

Прасковья Федоровна, задумчнво смотревшая в окно, улыбалась.

Она стала петь.

Пела она цыганскне романсы и с цыганскнм пошибом. Голос у нее был звучный и сильный, казалось, ему было тесно в комнате, он бнлся о стены, словно стараясь раздвинуть нх.

Дай упнться
И насладиться
Жнзнью земной
Вместе с тобой!..

Александра Мнхайловна сндела у окна. В раскрытое окно рвался ветер н обвевал разгоревшееся лнцо. За березамн палнсадннка теперь почти непрерывно вспыхивали бесшумные молннн. Прасковья Федоровна пела, задорно обрывала одни слова и с негою растягнвала другие.

Предательский звук поцелуя
Разы-дался в ночн-ной тншине...

Песня жгла жаждою страстн и ласк. И песня эта, и шедшие из тьмы шорохн, и разогретая хмелем кровь, — все томило душу, и хотелось сладко пла-

кать. Но тяжело лежала в душе мутная тоска и не давала подняться светлым слезам.

— Спой «Пару гнедых»,— вдруг попросила Таня.

Прасковья Федоровна улыбнулась.

— Ну, Таня, что ты? Мне плакать не хочется!

— Ну, спой! Параша, спо-ой!.. — настойчиво и нетерпеливо повторила Таня.

— Вот какая... упрямая. Ну, хорошо!

Прасковья Федоровна запела. Пела она о том, какими раньше хорошими лошадьми были эти гнедые. «Ваша хозяйка в старинные годы много имела хозяев сама... Юный корнет и седой генерал, — каждый искал в ней любви и забавы...» И вот она состарилась и грязною нищенкою умирает в углу. И та же пара гнедых, теперь тощих и голодных, везет ее на кладбище.

Тихо туманное утро в столице,
По улице медленно дроги ползут.

Голос певицы вдруг оборвался, она замолчала. Александра Михайловна низко опустила голову. Мутная тоска вздымалась с душевного дна, душили светлые слезы; и другие слезы, горькие, как полынь, подступали к горлу.

— Что это, слезы выступают! Вот смешно! — засмеялась Прасковья Федоровна, быстро утерла глаза и продолжала:

В гробе сосновом останки блудницы
Пара гнедых еле-еле везут...
Кто ж провожает ее на кладбище?
Нет у нее ни друзей, ни... родных...

И опять голос ее оборвался. Александра Михайловна всхлипнула. Таня наклонилась над столом, сжав руками виски. И сидели они все трое и, уткнувшись в руки, ревели, не стыдясь друг друга, и каждая думала о себе...

Александра Михайловна воротилась домой поздно, пьяная и печальная. В комнате было еще душнее, пьяный тряпичник спал, раскинувшись на кровати; его жидкая бороденка уморительно торчала кверху, на лице было смешение добродушия и тупого зверства; жена его, как тень, сидела на табурете, растрепанная, почти голая и страшная; левый глаз не был

виден под огромным раздувшнмся снняком, а правый горел, как уголь. По крыше барабанил крупный дождь.

Александра Михайловиа подняла спящую Зниу и целовала ее н плакала.

VII

В этом году Семндалов праздиовал иа Успеиие двадцатнпятнлетне существовання своего переплетно-брошюровочного заведення.

Накануне всех девушек заставнли с обеда мыть, чнстить н убнрать мастерскне. Онн ворчали н возмущались, говорнли, что онн не полы мыть наннмались, да и поломойкн моют полы за деньгн, а нх заставляют работать даром. Однако все мылн, злые н угрюмые от уннзительной работы н несправедливости.

Торжество началось молебном. Впередн стоял вместе с женою Семидалов, во фраке, с прнветлнвым, готовым на ласку лицом. Его окружалн конторщики и мастера, а за ними толпилнсь подмастерья н девушки. После молебна фотограф, прнсланный по заказу Семндалова нз газетиой редакцнн, снял на дворе общую группу, с хозянном и мастерамн в цеитре.

Странно было видеть, как вежлнво и предупреднтельно разговарнвал теперь Семндалов с фальцовщицами — совсем как с дамамн своего круга. Онн, принаряженные, приятно улыбалнсь и на его шуткн тоже отвечали шутками. Александра Михайловна, с завнтою гривкою на лбу, так же прнятио улыбалась, разговаривала с ннм, как с добрым знакомым, н старалась незаметно прикрыть рукою заштопанный локоть на своей парадной кофточке.

— Ну, господа, прошу покорно закуснть! — объявил Семндалов.

Однн стол был накрыт в конторе для хозяина, мастеров и конторщнков, другой — вннзу — для подмастерьев, третий — в брошюровочиой для девушек. Фальцовщицы поднялись иаверх и нерешительно толкалнсь вокруг стола. Средн бутылок стоялн на большнх блюдах два огромных иарезанных пнрога, кругом на тарелках пестрели закуски.

— С чем пнрог-то?

— С визигой.
— Ишь на икону всегда только водку и пиво ставят, а сегодня и наливка и вино... И сардинки тоже.
— Это как же, сюда и детей можно приводить? — спросила Александра Михайловна Таню.
У стола неизвестно откуда появились дети всех возрастов и жались к своим матерям.
— Д-да... Не гонят, — ответила Таня.
— Эх, Зину я не привела, не знала! — вздохнула Александра Михайловна.
Толпа девушек всколыхнулась и подтянулась. Вошел Семидалов в сопровождении конторщика, Василия Матвеева и газетного репортера. Матвеев поспешно налил в маленькую рюмку рябиновки и подал на тарелке хозяину. Семидалов взял рюмку, поднял ее в уровень с плечом и обратился к девушкам с речью. Василий Матвеев тем временем наливал в рюмки девушек водку и наливки. Хозяин говорил что-то чувствительное насчет их совместной работы в течение двадцати пяти лет, насчет того, что интересы его работниц всегда были ему так же дороги, как и его собственные; попросил и впредь со всякою нуждою прямо и откровенно обращаться к нему. Девушки слушали и беспокойно косились на стол, высматривая закуску.
Хозяин кончил, перечокался с девушками и вышел. Вдруг как будто ветром колыхнуло девушек и бросило всех к столу. Александра Михайловна получила толчок в бок и посторонилась; стол скрылся за жадно наклоненными спинами и быстро двигавшимися локтями. Фокина со злым, решительным лицом проталкивалась из толпы, держа в руках бутылку портвейна и тарелку с тремя большими кусками пирога. Гавриловна хватала бутылку с английской горькой, Манька жадно ела сардинки из большой жестянки.
— Да полегче же, господа! Что это за безобразие! — возмущались голоса.
Полякова сердито кричала Маньке:
— Ты что все сардинки забрала? Съела пару, и передай дальше, возьми чего другого!
Александра Михайловна, прислонившись к верстаку, изумленно смотрела. В дверях стоял старый конторщик и хохотал, глядя на свалку у стола. Сни-

зу, пережевывая закуску, поднялись подмастерья, заглядывали в дверь и посмеивались.

К Александре Михайловне подошла Таня с двумя кусками пирога на тарелке.

— Вы что же не берете ничего?

— Я подожду, когда они возьмут,— сдержанно ответила Александра Михайловна.

Таня улыбнулась.

— Тогда вам ничего не достанется. Вот вам кусок, давайте вместе есть.

Стол опустел. Фальцовщицы, спиною друг к другу, поедали по углам добычу и оделяли ею приведенных детей.

— Это у вас всегда так? — спросила удивленная Александра Михайловна.

Таня, закусив губу, с презрением оглядывала деливших добычу девушек и смеявшихся в дверях подмастерьев.

— Тут, у девушек, всегда. В переплетной, у подмастерьев, там все честью делается: выпьют, закусят, потом опять выпьют. А здесь — только моргни, все расхватают. Такие жадины, боятся, как бы кому больше не досталось. Другая тут поест, еще вниз идет, к подмастерьям. Те ее, конечно, гонят прочь: «Чего тебе тут? Вам там наверху накрыто!..»

Закуски были съедены, напитки выпиты. Столы отодвинуты в сторону, явились подмастерья. Начались танцы. Пожилые работницы уходили с детьми домой.

Александра Михайловна выпила только маленькую рюмку наливки, и ей не хотелось веселиться. В большие окна смотрел туманный день и бледным светом отражался на полу. Александра Михайловна вглядывалась в давно приглядевшиеся хмельные лица девушек, и в тускло-белом, трезвом свете дня их хмельные лица казались отвратительными. Она видела, как подмастерья разговаривали и шутили с девушками, как обхватывали их и прижимали к туловищу, когда танцевали: никогда бы они так не держались с женами и дочерьми своих товарищей... Александра Михайловна вспомнила Андрея Ивановича, вспомнила высланную из Петербурга Елизавету Алексеевну и ее знакомых, и казалось ей: и она, и все кругом живут и двигаются в какой-то глубокой, темной яме; наверху брезжит свет, яркими огонька-

мн загораются мысль, честь н гордость, а онн копошатся здесь, в сырой тьме, ко всему равнодушные, чуждые свету, как мокрицы.

И перед Александрой Михайловиой встала гордая голова Андрея Ивановнча. Как хорошо было жить тогда, как хорошо было чувствовать иад собою его сильную и уверенную в себе волю...

Темнело. Переплетиый подмастерье Геирихсеи, толстый и усатый, отдуваясь, танцевал с Поляковой русскую. Кругом смотрели и смеялись. Снизу поднялся сильно пьяный Ляхов. Бледный, с падающимн иа лоб волосами, он пошатывался на месте и выглядывал кого-то в толпе танцующих.

Алексаидра Мнхайловиа поспешно подошла к Тане.

— Что, Танечка, смотреть? Будет! Пойдем лучше, пройдемся.

Они вышлн на улицу. Тумаи стал еще гуще. Как будто громадный, толстый слой сырой паутины спустился иа город и опутал улицы, дома, реку. Огни фонарей светились тускло-желтыми пятнами, дышать было тяжело и сыро.

— Да, иедаром покойник Андрей Иванович презирал женщии, — задумчиво сказала Александра Михайловиа.— Смотрю я вот иа наших девушек и думаю: верно ведь ои говорил. Пойдет девушка на работу, — бесстыдная станет, водку пьет. Андрей Иванович всегда говорил: дело женщины — хозяйство, дети... И умнрал, говорил мне: «Один завет тебе, Шурочка: ие иди к нам в мастерскую!» Он знал, что говорил, он очень был умный человек...

Они перешли Тучков мост и свернули иа бульвар Средиего проспекта. Александра Михайловна мечтательио рассказывала:

— Бывало, когда жив был, хорошо все это так было, тихо, весело... В будни дома сидишь, шьешь на девочку, на мужа. В праздник пирог спечешь, коньяку купишь; он увидит, — обрадуется. «Вот, скажет, Шурочка, молодец! Дай я тебя поцелую!» Коньяк он, можио сказать, обожал... Вечером вместе в Зоологнческий, бывало, поедем... Хорошо, Танечка, замужем жить. О деньгах ие думаешь, никого не боишься, одии тебе хозяин — муж. Никому в обнду тебя не даст... Вот бы тебе поскорей выйти!

— Я скоро выйду!

— Да ну? — Александра Михайловна заглянула в улыбавшееся лицо Тани.—Петра Ивановича видаешь?

— Как же! С тех пор, помните, вы у меня были, три раза приходил. Дура я такая, бог знает что тогда подумала. А у него вправду тетка хворала, больше ничего. Недавно даже померла, хоронил в воскресенье... Сядем здесь!

Они сели на скамейку бульвара около Шестой линии. Окна магазинов были темны, только в мелочных лавочках светились огни. По бульвару двигалась праздничная толпа. Заморосил мелкий дождь. Туманная паутина наседала на город и становилась все гуще. Электрический фонарь на перекрестке, сияя ярким огнем, шипел и жужжал, как будто громадная голубая муха запуталась в туманной паутине и билась, не в силах вырваться.

— Август месяц теперь, — сказала Таня. — В октябре или ноябре венчаться будем, он сам сказал. Отбудет службу, и сейчас же в артельщики, ему уж обещали. И сто рублей к тому времени будут готовы.

— Ну дай тебе бог!

Таня оживилась.

— А правда, Александра Михайловна, красивый он? Всякий, кто ни посмотрит, удивляется. Из всей команды его наперед ставят на смотрах. Все девушки на него заглядываются. А он говорит: «Никого мне не надо, только тебя, говорит, одну я люблю...» И, знаете, я вам уж всю правду скажу: я беременна от него. Третий месяц... Ребеночек будет у нас. Правда, смешно?

Она не стыдилась, гордая своей любовью. Она радостно улыбалась и рассказывала без конца. На пушистых золотых волосах осели мелкие капельки дождя, от круглого лица веяло счастьем. И казалось, сквозь холодный осенний туман светится теплая, счастливая весна. Александра Михайловна расспрашивала, давала советы, и на душе ее тоже становилось тепло и чисто.

Ярко-синий огонь в фонаре шумел и жужжал и бессильно бился, плотно охваченный мутным туманом.

— Ну, Танечка, домой пора... Пойдем!

Они встали. Мимо со смехом прошла компания из

двух девушек и трех кавалеров. В темноте блеснули золотые буквы на черно-оранжевом околыше матросской фуражки.

Таня дрогнула и остановилась.

— Петька! — крикнула она, быстро повернулась и пошла догонять компанию.

Александра Михайловна стояла и ждала. Вдали, в тумане, что-то вдруг колыхнулось. Темные силуэты заметались, взмахивая руками. Александра Михайловна поспешно пошла туда.

Таня стояла, прислонясь спиною к стене дома и опустив голову, а высокая девушка, в шляпе с красным пером, била ее по лицу. Компания стояла в отдалении и смотрела. Девушка лихо повернулась и, гордо неся голову, пошла к своим.

— Погоди же ты, Петька! — всхлипнула Таня.

— Что-о?

Девушка быстро воротилась к Тане и снова сильно, с размаху, стала сверху бить ее по лицу. Прохожий парень весело гаркнул:

— Бе-ей!

Собралась толпа.

— Баба — бабу!.. Ловко! — смеялись в толпе.

Девушка громко крикнула:

— Еще просишь? Просишь, что ль, еще?

Таня стояла, закрыв лицо руками.

— Дово-ольно! — всхлипнула она, втягивая носом лившуюся кровь.

Девушка пошла к компании, и они с громким смехом исчезли в тумане.

VIII

В начале сентября работа в мастерской кипела. Наступил книжный и учебный сезон, в громадном количестве шли партии учебников. Теперь кончали в десять часов вечера, мастерскую запирали на ключ и раньше никого не выпускали. Но выпадали вечера, когда делать было нечего, а девушек все-таки держали до десяти: мастера за сверхурочные часы получали по пятнадцать копеек в час, и они в это время, тайно от хозяина, работали свою частную работу, — заказ писчебумажного магазина на школьные тетради.

Был такой вечер. Девушки — злые, раздраженные — слонялись по мастерской без дела. Только Грунька Полякова не спеша фальцевала на угол объявления о санатогене, — работа легкая и выгодная — да шили книги две девушки, на днях угостившие Матвеева мадерой.

Александра Михайловна забыла оставить дома поужинать Зине; на душе у нее кипело: девочка ляжет спать не евши, а она тут, неизвестно для чего, сидит сложа руки. В комнатах стоял громкий говор. За верстаком хихикала Манька, которую прижал в углу забредший снизу подмастерье Новиков. Гавриловна переругивалась с двумя молодыми брошюрантами; они хохотали на ее бесстыдные фразы и подзадоривали ее, Гавриловна делала свирепое лицо, а в морщинистых углах черных губ дрожала самодовольная улыбка.

Александра Михайловна вошла в комнату мастера и решительно сказала:

— Василий Матвеев, давай работы! А нет работы, так отпусти: у меня ребенок дома ждет.

— Да сейчас же, сейчас привезут листы, сказано вам! — нетерпеливо-увещевающим голосом возразил Василий Матвеев.— Мужик уж час назад в типографию поехал.

— И вовсе никуда мужик не поехал! А в десять часов скажешь: «Видно, задержали его, идите домой»... Отпусти... Василий Матвеев!

— Чтой-то ты, Колосова, много разговариваешь!

Он удивленно поднял на нее тусклые, косые глаза. Было в них спокойствие, и уверенное сознание силы, и нетерпеливая скука, как от привязавшейся ничтожной мухи. И противно и жутко стало Александре Михайловне: сколько власти над ними дано этому человеку! Закусив губу, она молча вышла вон.

У окна сидела Таня и, облокотившись на подоконник, задумчиво смотрела сквозь стекла на темную улицу. Александра Михайловна подсела к ней. Таня очнулась от задумчивости и привычным движением оправила пушистые волосы.

— А Фокина, ведьма, разглядела, подлая, что я беременна. Сейчас спрашивает меня: «Что это ты, Танечка, словно полнеешь в талии?» Уж по всей мастерской раструбила.

— Э, наплевать!

Таня гордо встрепенулась.

— Да понятное дело, плевать! Очень нужно!.. — Она замолчала и опять стала смотреть в окно. — А ко мне вчера Петя приходил, прощения просил.

— Долго собирался! Две недели целых! — усмехнулась Александра Михайловна.

— Ему стыдно было, не смел... Говорил, очень ему тогда было жалко меня, а только совестно было перед товарищами заступиться... Это Фенька-папиросница была.

— Хорош молодец! Говорит — любит, а совестно заступиться!

— Нет, Александра Михайловна, вы так не говорите. Он хороший. Зачем вы об нем так плохо понимаете? Конечно, всем завидно — всякой лестно такого красавца отбить. А он этой Феньки-шлюхи больше и видеть не может. Только, говорит, скопишь сто рублей, — и женимся.

— А знаешь, Танечка, что мне думается? Не любит он тебя. Любил бы, не говорил бы все про деньги.

Таня тоскливо повела плечами.

— Александра Михайловна, да как же вы не понимаете? Ведь ему правда деньги нужны, без залога в артель не принимают. Как же жить будем?.. Хорошо еще, пока залог берут небольшой; а скоро, говорят, семьсот рублей будут требовать. Очень уж много желающих... — Она поспешно прервала себя. — Батюшки, ведь сегодня суббота! А лампадка не оправлена, не зажжена!..

Таня взобралась на верстак, перекрестилась и стала оправлять лампадку. Мимо проходил брошюрант Егорка. Он протянул руку горстью по направлению к стоявшей на цыпочках Тане, подмигнул и сделал неприличный жест. Брошюранты засмеялись. Таня оглянулась и, покраснев, быстро протянула руку, чтобы оправить юбку. Рука задела за лампадку, лампадка перекувырнулась и дугою полетела на верстак. Зазвенело разбившееся стекло, осколки посыпались на пол. Таня соскочила с верстака.

— Ах, батюшки! — в испуге вскрикнула она.

Зеленое масло, перемешанное с нагаром, пролилось на стопку ярко раскрашенных обложек. От обгорелого фитиля расплывались пятна на девочку и собаку в зе-

лени и на красное заглавие «Приключения Амишки», угол высокой стопки медленно впитывал в себя грязное масло.

Василий Матвеев вышел из своей комнаты.

— Что случилось? — Он подошел к верстаку, взглянул на залитую стопку и строго нахмурился. — Кто это сделал?

Таня ответила:

— Я.

— Та-ак... — Василий Матвеев стал перебирать стопку и вздохнул. — Придется перепечатывать тебе! Вот, пятьсот штук залила.

Таня обомлела.

— Сколько же это будет стоить?

— В восемь красочек печатана. Рублей пятьдесят заплатишь... Пойти хозяину показать.

Он лениво пошел назад в свою комнату. Дарья Петровна испуганно зашептала:

— Пойди поговори с ним! Может, что можно сделать, хозяин не узнает... А скажет, — готово дело, придется тебе на свой счет печатать.

— И вправду, иди скорей! — сказала Фокина.

Дарья Петровна в ужасе качала головою:

— Пятьдесят рублей, — что же это, господи!

Таня с испуганным, растерянным лицом пошла к мастеру. Через две минуты она воротилась. Бледная, с большими, сразу впавшими глазами, она припала к верстаку и зарыдала.

— Что он сказал тебе? — спрашивала Александра Михайловна.

— Подлец, негодяй грязный!.. Негодяй, негодяй, негодяй!..

— Да что он сказал-то тебе?

— Могу, говорит, сделать, что хозяин ничего не узнает!.. Оо-о!.. Мерзавцы подлые!..

Таня быстро подняла голову, глаза блеснули. Громко и раздельно она сказала:

— Поедем, говорит... в баню с тобой! — И, зарыдав, она припала грудью к верстаку.

— В баню, говорит, поедем! — передала Александра Михайловна окружающим. Бешеная злоба сдавила ей дыхание. Хотелось, чтобы кто-нибудь громко, исступленно крикнул: «Девушки, да докуда же мы будем терпеть?!» И чтоб всем вбежать к Матвееву, по-

валить его и бить, бить эту поганую тушу ногами, стульями, топтать каблуками... Дарья Петровна с сожалением смотрела на Таню, глаза Фокиной мрачно горели.

Таня рыдала, не глядя на окружающих. Гавриловна цинично усмехнулась и махнула рукою.

— Э, ступай, чего там! Тоже, подумаешь... Авось не лужа, останется и для мужа.

Вошел Василий Матвеев, красный, с злыми глазами.

— Ты что тут на меня врешь? — злобно обратился он к Тане.

Таня, прижимая руки к груди, в упор смотрела на Матвеева.

— Подлец ты, подлец, Василий Матвеев!

— Вам что тут нужно, чего толчетесь? — крикнул Матвеев на девушек. — Ступай, берись за работу! Что за беспорядок!

Фокина грубо спросила:

— За какую работу-то браться?

— Али все нету еще? Ну, значит, не готовы листы в типографии. Можно шабашить.

Девушки стали расходиться. Таня рыдала, припав к верстаку. Александра Михайловна положила руку на ее плечо.

— Ну, Таня, будет! Что уж так убиваться! Ведь прибавил небось мастер. Ну, двадцать пять, тридцать рублей вычтут, работаешь ты хорошо, скоро наверстаешь.

Таня в тоске заломила руки.

— Александра Михайловна, милая! Мне спешить нужно! Еще год пройдет, — не женится на мне Петя. Ребенок у меня скоро будет, а он легкий сердцем, закрутят его. Другую невесту найдет с приданым. За такого всякая пойдет. Теперь не женится, бросит...

Она замолчала, широко раскрытыми, красными и опухшими глазами глядя перед собою.

— У-у, подлец грязный! — с отвращением всхлипнула она, и трепет пробежал по ее телу.

И она продолжала неподвижно смотреть перед собою. И вдруг подняла на Александру Михайловну свое распухшее, жалкое лицо.

— Скучно мне, Александра Михайловна... Милая!.. Так скучно!.. — ломающимся от слез голосом воскли-

нула она и схватнлась за руку Александры Мнхайловиы, — крепко, как будто стараясь удержаться за нее.

Задыхаясь, Александра Михайловиа заговорила:

— Таия, слушай! Не бойся, я тебе все устрою!.. Не бойся, иди домой, вот увидишь, все выйдет по-хорошему... Я к тебе иыиче же приду, жди меия, слышишь?.. Вот увидишь, как все будет хорошо... Не бойся! — радостио повторяла оиа.

Александра Михайловиа вышла в прихожую и поспешио оделась. Виизу слышеи был говор спускавшнхся по лестиице девушек. Александра Михайловиа догиала их.

— Девушки, слушайте! — одушевлеиио заговорнла оиа. — Давайте соберем меж собой деньги н поможем Таие!

Дарья Петровиа растеряиио взгляиула на нее н смешалась.

— Правда, девушки! — убеждала Александра Михайловиа. — Ну, что стоит! По рублю, по два всякая может дать. Не помрем с голоду из-за рубля. А ей помощь будет... Все иад Ваською Матвеевым посмеемся.

Фокииа, покручивая головою, молча смотрела в глаза Александре Михайловие, и вдруг громко расхохоталась.

— Ловко придумала!.. У меия вот пятеро ребят, — иужио их иакормить ай иет? Выдумала... Очеиь нужно!

Другая девушка враждебио возразила:

— Рубль! Для бедиого человека рубль миого зиачит, если ои иужеи.

— Ничего, пускай съездит в баиьку, попарится с мастером. За баию ие платить, все экоиомия! — сказала Гавриловиа и хрипло засмеялась.

IX

Александра Михайловиа возвращалась домой с Дарьей Петровиой. Ее поразило: ие только иикто не откликиулся иа ее призыв, а иапротив, после первого взрыва возмущения явилась даже как будто вражда к Таие. Никто даже ие обрезал Гавриловиу за ее гнусиые слова. За что все это?.. Возбуждеиие Александры Михайловиы смеиилось усталостью, на душе было обычиое тупое отвращеиие ко всему.

Дарья Петровна угодливо заглядывала Александре Михайловне в глаза и своим смиренным голосом говорила:

— Знаете, где ж у нас что собрать. Ведь сами все вроде как бы нищие живут. А у ней вон, у Танечки, говорят, не одна уж десятка припасена.

Александра Михайловна молчала. Они проходили по Большому проспекту мимо трактира.

— Зайдем, выпьем полбутылочки,— предложила Дарья Петровна, как будто стараясь чем-нибудь загладить свой отказ.

— Нет, мне домой пора, девочка ждет! Она сегодня еще не ужинавши.

— Вы не стесняйтесь! У меня сейчас деньги есть, другой раз вы меня угостите. А девочка все равно уж заснула.

Александра Михайловна колебалась: домой идти — придется зайти к Тане. А что она ей теперь скажет?.. Александра Михайловна согласилась.

Они вошли в трактир; Александра Михайловна прошла в заднюю комнату, конфузно опустив лицо. Подали водку. Они выпили по рюмке.

Наверху ухал и гудел орган. Около окна сидел стройный студент-медик и читал «Стрекозу». Полная, высокая девушка в пышной шляпе пила за соседним столом пиво и громко переговаривалась через комнату с другою девушкою, сидевшею у печки.

Дарья Петровна налила рюмки. Они снова выпили, Александра Михайловна вздохнула.

— Эх, жалко мне Таню!

Дарья Петровна подняла на нее глаза и улыбнулась медленною, загадочною улыбкою.

— Ничего-то вы, Александра Михайловна, не знаете, ничего не понимаете! Знаете, я вам по секрету скажу: рано, поздно, все равно не миновать Танечке косоглазого... Поглядите сами, разве с нашей работы можно честно прожить? Не она первая, не она последняя.

Александра Михайловна широко раскрыла глаза. Дарья Петровна продолжала:

— Я вам всю правду скажу: все так делают. Ведь Василий Матвеев у нас все равно что хозяин, сами знаете. Хочет — даст жить, не хочет — изморит работою, а получишь грош. И везде так, везде мастеру

над девушками власть дана. А есть-то всякой хочется. Ведь человек для того и живет, чтоб ему полегче было... Поступит девушка, — ну, сначала, конечно, бодается, пока сил хватает, а потом и уступит. Что ж делать, если свет нынче стал такой нехороший?

Дарья Петровна снова наполнила рюмки и выпила свою. Александра Михайловна, не шевелясь, смотрела на нее.

— Хорошо вот вы такая гордая, настойчивая, — льстиво говорила Дарья Петровна.— А много ли у нас таких? Грунька Полякова, сами знаете, и сейчас живет с ним. Маньку два раза к себе увозил. С Гавриловной когда-то целый год жил. А Фокина вот, — на что уж непоклонная, а сколько раз к нему хаживала, как помоложе была... Я вам правду скажу: которая девушка замужняя или помогу имеет со стороны, ну, та может куражиться. А нет помоги, что ж поделаешь? Вот у Фокиной пятеро ребят, всех одень-обуй; как тут куражиться?

— И вы, вы тоже уступали ему?!

— Я... я-то?.. Я-то нет... Зачем я ему буду уступать?

— Господи, и как не стыдно! — Александра Михайловна глядела ей в глаза и качала головою.

Дарья Петровна хмелела. В ее смиренных глазах мелькнули ненависть и вызов: «Что ж — «стыдно»? Со стыдом, милая, сыта не будешь!.. Еще поглядим, как другие-то всякие себя соблюдут».

Новое что-то, широкое и страшное, раскрывалось перед Александрой Михайловной. Так вот оно что! Вот отчего все были так странно равнодушны, когда она сообщала о приставаниях к ней мастера, вот почему была словно тайная радость, когда Таня попала в беду.

Они замолчали. Александра Михайловна залпом выпила свою рюмку. В голове шумело, перед глазами было смиренное, желто-бледное, ничего не выражающее лицо Дарьи Петровны. И жутко было это отсутствие выражения после того, что она сейчас говорила.

Наверху по-прежнему ухал и звенел орган. Полная девушка в пышной шляпке переговаривалась с нарумяненной девушкою, сидевшею у печки.

— Ты вчера именинница была? — спрашивала нарумяненная девушка.

— Нет, меня вправду Матреной звать, а не Лизаветой. А это я студента одного надула, чтоб подарок мне

сделал. Я двенадцать раз в году именинницей бываю: и на Веру — Надежду — Любовь, и на Катерину, и на Зинаиду, и на Наталью... Вот подвязки подарил; говорит, три рубля отдал. Врет, конечно, не больше полутора заплатил.

Полная девушка, не стесняясь, подняла юбку выше колена и показала новые ярко-красные подвязки.

Она говорила громким, немного сиплым голосом, с веселою улыбкой, и видно было, что говорит она не для подруги, а для студента.

Студент опустил «Стрекозу» и посмотрел на девушку. Она спросила его:

— Правда, яркие?

Дарья Петровна зашептала:

— Это Матрешка Грушева, тоже в нашей мастерской была. Как бы не узнала. Такая бесстыдная, нахальная. Заговорит при всех, оконфузит перед людьми.

— Вот, студенты-медики! Такой это народ — ничего не боятся! — сказала полная девушка, обращаясь к подруге. — В воскресенье ночевала я у одного на Введенской улице; проснулась ночью, хвать — прямо рукой за *стелет* зацепила! Кости сухие висят, щелкают, — такие страсти! И спят себе, не боятся ничего. То-то живодеры!.. И шутки тоже любят шутить. Намедни идем мы, три девки, все пьяные вдрызг, «мама» сказать не можем. Взяли нас студенты, повезли куда-то. Пьяна я была, ничего не помню, не знаю, что они с нами делали. Только проснулась, вижу — холодный кто-то рядом. Зажгла спичку, — мертвец!.. В анатомический завезли нас, подлецы! Кожа содрана, руки скрючены. У меня весь хмель соскочил. Нам бы три ступеньки вверх подняться, они все там были, а мы вниз, да поскорее домой. Не знаю, как добралась, рукав весь в крови испачкан, карболовкой пахнет.

Она оглядела всех, медленно улыбаясь. Дарья Петровна поспешно наклонилась лицом над скатертью. Александра Михайловна слушала с пристальным детским любопытством, стыдясь и удивляясь, как она все это может рассказывать. Девушка подметила выражение ее взгляда, увидела бедную, отрепанную одежду соседок и продолжала, рисуясь своим бесстыдством:

— А все-таки люблю студентов — хороший народ, правильный! Не то что купцы, — те все жулики. Намедни гуляю по пришпекту, важный купец подошел, —

в котелке, пальто шевиотовое. Приехал со мною ко мне, полбутылки коньяку спросил в два рубля, лимонаду. Ну, думаю, не иначе как он мне двадцать пять рублей за ночь заплатит. Легли спать. Вижу, хороший человек, подвалилась ему под бочок и заснула. Он потихоньку встал, оделся и удрал. Слышу, дверь хлопнула. Вскочила, — как бежать за ним? Я совсем голая! Люблю, говорит, чтоб девушка со мной голая спала... Так и удрал, ничего не заплативши. И за коньяк самой пришлось отдать деньги... Ну, да я ему еще отплачу! Кислоты на двадцать копеек куплю, пойду гулять, встренусь, я его сразу узнаю, — да сзади потихоньку все пальто ему и оболью. В пятьдесят рублей ему моя ночевка встанет.

Студент положил газету на колени и слушал, слегка улыбаясь. Он был красивый и стройный, с мягкою русою бородкою.

Девушка оправила пунцовый бантик на полной белой шее и вздохнула.

— До чего я толстею! Запонка не сходится, пришлось на самый край перешить пуговку... Вот Лелька, та сухая, как кошка; идет гулять, за корсет полотенце запихивает. А мне это не надо, у меня все свое, натуральное...

Девушка медленно взглянула на студента.

— Вот в кого бы я влюбилась! Какой хорошенький, — прелесть!.. Мужчина, пойдем со мной! — вполголоса прибавила она.

Студент сердито нахмурился и молча взялся за журнал.

Она пересела к его столу и переставила туда свою бутылку с пивом. Бутылка студента была уже пуста.

— Я только сегодня в бане была, чистенькая! — сказала девушка и налила из своей бутылки пиво в стакан студента.

Студент возмутился.

— Не надо, зачем вы мне наливаете?

— Это моя бутылка, я плачу, — успокоила его девушка.

Студент выпил и, чтобы отплатить, спросил еще бутылку. Девушка отказалась.

— Нет, больше не стану пить! Я уж с семи часов по кабакам. Еще много придется, будет!.. Ну, цыпочка, вставай, пойдем вместе.

— Не пойду я! — сердито ответил студент, сконфуженно косясь по сторонам.

Девушка расплатилась и медленно, качающеюся походкою, вышла, сверкнув в дверях яркою шляпкою. Студент посидел, поспешно встал и тоже вышел.

— Шкура подлая! — с ненавистью и отвращением сказала Дарья Петровна.

Александра Михайловна, пораженная, молчала. Никогда она раньше не думала, чтоб все это делалось так бесстыдно и открыто. И именно в этом дерзком, вызывающем бесстыдстве было что-то странно привлекательное. Она смотрела на желто-бледное, иссохшее в работе лицо Дарьи Петровны и сравнивала его с полным, веселым лицом ушедшей девушки. Дарья Петровна презирает ее, а за что? Все они точно так же из расчета отдаются мужчинам, а хотят казаться честными, зато сохнут и надрываются в скучной мастерской, а та смелая, ничего не боится и не стыдится! Ушла из мастерской, и вот живет в бесшабашно-веселом, ярком мире шикарною, изящно одетою.

Александра Михайловна возвращалась домой. В голове шумело, и в этом шуме подплывали к сознанию уже знакомые ей, уродливые, самое ее пугавшие мысли. Может быть, потому, что молодой человек, с которым ушла девушка, был красив, и в Александре Михайловне проснулась женщина, но на душе было грустно и одиноко. И она думала: проходит ее молодость, гибнет напрасно красота. Кому польза, что она идет честным путем?..

И вдруг смутные, робко касавшиеся сознания мысли плавным порывом ворвались в сознание, слились в яркую, смелую и радостную от своей смелости мысль: да! на все наплевать, глупо быть честною! Для чего надо дорожить собою, видеть в себе что-то важное, особенное, чему словно и цены нет? Ведь все это так просто, так удивительно просто и ясно! Не видеть постылой мастерской, жить вольно и красиво, пить вкусный и дорогой коньяк, давать обнимать себя красивым молодым студентам. И день весь будет свободный, Зина не будет бегать без призора и ложиться спать голодною... Что в этом плохого?

Было поздно. По пустынному проспекту изредка проходили накрашенные, разодетые женщины. Их темные фигуры медленно появлялись из мрака. При блес-

ке газовых фонарей грубые румяна казались веселым румянцем, сами женщины были прекрасны в своей таинственности и смелом презрении своем к людскому мнению. Александра Михайловна с тайным замиранием долго ходила по проспекту и широкими, детски-любопытными глазами провожала каждую женщину: да, они поняли, что все это просто и естественно, и не побоялись пойти на это. И теперь они казались Александре Михайловне близкими и родными.

X

Ввиду спешной работы в мастерской работали и в воскресенье до часу дня. У Александры Михайловны с похмелья болела голова, ее тошнило и все кругом казалось еще серее, еще отвратительнее, чем всегда. Таня не пришла. У Александры Михайловны щемило на душе, что и сегодня утром, до работы, она не проведала Таню: проспала, трещала голова, и нужно было спешить в мастерскую, пока не заперли дверей. Александра Михайловна решила зайти к Тане после обеда.

Кругом стояло обычное шуршание сворачиваемых листов, спины девушек однообразно сгибались и разгибались. Василий Матвеев возился около обрезной машины, обрезывал какие-то яркие обложки и, обрезав, тщательно осматривал каждую. Александра Михайловна, вся полная воспоминанием о вчерашних признаниях Дарьи Петровны, с необычным чувством, как прозревшая, осматривалась вокруг. Меж двигавшихся голов девушек мелькали жирные плечи и короткая шея Василия Матвеева. И у него и у них всех были такие буднично-спокойные, ничего не выражавшие лица!.. Как будто вовсе и не лежало между ними той ужасной, грязной тайны, о которой вчера узнала Александра Михайловна, или как будто эта тайна была чем-то совсем обычным, что не может ни давить, ни мучить.

Выходя в час из мастерской, Александра Михайловна слышала, как хозяин кричал в конторе на Василия Матвеева, а тот суетился, разводил руками и что-то объяснял Семидалову.

Под вечер Александра Михайловна сидела у себя и шила. Вошла Дарья Петровна.

— А-а... Здравствуйте! — Александра Михайловна приветливо поднялась. — Садитесь, пожалуйста!.. Чайку позволите?

— Нет, нет, не трудитесь! Я к вам только на одну минуточку, спросить хотела: где вы бумазею покупали к той вон кофточке, в которой на празднике были?

Александра Михайловна сказала.

— Благодарю вас. Очень уж мне рисунок приглянулся. Ну, прощайте! Я спешу. — Дарья Петровна помолчала. — А Танечка-то наша, слыхали? — вздохнула она.

Александра Михайловна встрепенулась.

— Что?

— Ведь пошла... к Ваське-то Матвееву.

— Не мо-ожет быть!

У Александры Михайловны опустились руки, и она медленно села на кровать.

— Верно. Девушки видели... И как ловко он с обложками обернулся! Какие по краям были залиты — обрезал покороче, стали как новые, а которые больше были залиты — пустил в обрезки, хозяину сказал, что из типографии двух сотен не дослали. Хозяин раскричался: «Как же вы не сосчитали?» — «Я, говорит, считал, да вы меня позвали, а воротился, — мужик типографский уж уехал»... Жалко Танечку нашу, правда?

Она вздохнула, а желтое, смиренное лицо светилось тайной радостью.

— Господи, господи, что же это такое! — сказала Александра Михайловна. — То-то я сегодня утром шла, смотрю, как будто на той стороне Таня идет; кутает лицо платком, отвертывается... Нет, думаю, не она. А выходит, к нему шла... И какой со мною грех случился! — стала она оправдываться перед собою. — Хотела к ней утром зайти, не поспела, девчонка задержала. А после работы зашла, уж не было ее дома...

Дарья Петровна ушла. Александра Михайловна села к окну и задумчиво уставилась на темневший двор.

«Жалко Танечку», — думала она. Но жалость была больше в мыслях. В душе с жалостью мешалось брезгливое презрение к Тане. Нет, она, Александра Михайловна, — она не пошла бы не только из-за пятидесяти рублей, а и с голоду бы помирала... Гадость какая! Она — честная, непродажная. И от этой мысли у

нее было приятное ощущение чистоты, как будто она только что воротилась нз бани. Не легкое это дело — остаться честной, а она вот сохраняла себя и всегда сохранит.

Пришел Лестман. Он пил чай и застенчиво крутил редкую бородку, а Александра Михайловна, вздыхая, рассказывала ему о происшествии с Таней. Ругала Василия Матвеева, жалела Таню, и около губ чуть заметно играла скромно-гордая улыбка.

XI

— Я... я знаю... Господи, что же это?.. Пустите... Я знаю! — задыхаясь, твердила Александра Михайловна и с смертельно бледным лицом проталкивалась сквозь толпу. — Городовой, это девушка одна... Я знаю!.. О господи!

Она уже минуты три стояла в толпе, теснившейся на набережной. За краем гранитного спуска медленно плескалнсь длинные зеленоватые волны, утреннее солнце глубоко освещало их и делало прозрачными, и на этом зеленоватом, плещущем фоне неподвнжно рисовалось лежавшее на плитах тело девушки. Мокро-тяжелая черная юбка плотно облегала вытянутые ноги. Острые концы ботннок торчалн в стороны. Александра Мнхайловна подалась вперед, чтоб разглядеть лицо, и с смутно жалостливым, жадным любопытством смотрела: шнрокнй чистый лоб; от угла рта по синеватой щеке тянулась струйка пеннсто-темной жидкости. Вдруг серая шелковая кофточка на выступе груди показалась странно знакомою. Потом, вызывая недоумение, стали знакомыми округлость щекн, намокшие рыжеватые волосы. И загадочно-неизвестное, чуждое лицо утопленницы вдруг превратилось в знакомое лицо Тани.

— Городовой, я знаю... Господн, господи!.. — повторяла Александра Михайловна. — Это девушка одна, Капитанова фамилия... Татьяна... О боже, что же это?

Городовой, вынув книжечку, записывал нмя утопленницы и адрес Александры Мнхайловны, толпа прнставала к Александре Михайловне с расспросамн, а она, всхлипывая, повторяла: «Господи, господи!» — и, не отрываясь, смотрела на Таню. Все в ней было близ-

ко знакомо и все — страшно необычно, скрытно-чуждо. Вся она была пропитана тайно принятым вчера позором и одиночным ужасом пошедшей на самоуничтожение жизни.

И она лежала на мостовой, неподвижная, жалкая и загаженная. Мокрая юбка плотно облегала раздвинутые ноги, в этом было что-то особенно жалкое и беззащитное. Хотелось наклониться, оправить юбку, скрыть выставленные под чужие взгляды ноги. А за гранитным спуском все плескались прозрачно-зеленоватые, длинные волны, и от них веяло сырым запахом водорослей.

Труп увезли. Александру Михайловну пригласили в участок, там еще раз записали все. Она вышла на улицу. Давно было пора идти в мастерскую, но Александра Михайловна забыла про нее. Она шла, и в ее глазах плескались зеленоватые, пахнувшие водорослями волны, и темно-пенистая струйка тянулась по круглой щеке.

Было яркое сентябрьское утро. Солнце золотым светом заливало дома, магазины и конки. На теневой стороне улиц, вдоль высоких домов, стояла туманно-синяя дымка. Дворники в фиолетовых фуфайках мели улицы, по панелям шли люди с равнодушными, не знающими случившегося лицами, они не только не знали о случившемся, они как будто не знали и того, как страшна жизнь и как беспомощны против нее люди.

И опять перед Александрой Михайловной плескались прозрачно-зеленоватые волны и Таня лежала с плоскими слипшимися на синеватом лбу волосами. Александра Михайловна вспомнила, как месяц назад на этих волосах, тогда живых и пушистых, дрожали капельки осеннего дождя, и они золотистым сиянием окружали круглое, весенне-счастливое лицо Тани. Она была горда своею любовью и вызывающею непреклонностью, — пришла жизнь, подстерегла и сломила непреклонность, гнусно загадила любовь. Загадила и измяла все. И так со всеми ими — с девушками, с женщинами: за то, чтоб жить, мало отдавать труд и здоровье — у них есть еще то, до чего жизнь жестоко жадна, и она не отступит, пока не возьмет и этого, пока в ее пахнущую кровью мясную лавочку смирившаяся женщина не принесет и своего мяса. А не смирится,

будет стараться оставить своей душе ее дорогое и свое, — то не будет ей пощады, и кругом станет пустыня, где медленно умирают с голоду и крик отчаяния замирает без ответа.

Александра Михайловна вдруг почувствовала, что ведь и сама она давно уже находится в такой пустыне, что она беспомощно бродит по ней, а жизнь немигающим, злым, как у индюшки, глазом следит за нею и ждет. Встал перед нею Ляхов с тупо-беспощадным, жадным до нее лицом, встал Лестман с проползающим в белесых глазах осторожным ожиданием, Василий Матвеев с косящими глазами, у которых нельзя поймать взгляда... Все это сливалось в один беспощадно-похотливый глаз, и мимо проносились девушки-работницы в отрепанных юбках, выплывавшие из мглы проспекта женщины с накрашенными лицами, плачущая над песней о гнедых Прасковья Федоровна и Таня с синеватым лицом, с ногами, плотно охваченными мокрою юбкою... И казалось Александре Михайловне: вот-вот подхватит ее, и унесет, и замешает в этот поток опозоренных, продавшихся за право жизни женских тел.

Она вышла к набережной. Широкая синяя река лениво и равнодушно плескалась под солнцем, забыв, что сделала сегодня ночью. И так же равнодушно смотрели ряды каменных громад, сверкавшие за рекою в голубом тумане. Александра Михайловна села на скамейку. Ею овладела смертельная усталость. Сгорбившись, с опустившимися плечами, она тупо смотрела вдаль. На что ей надеяться? Мрачно и пусто было впереди, и безысходный ужас был в этой пустоте.

«А зачем было так плохо поминать и Лестмана?» — вдруг мелькнуло у ней в голове.

И осторожно, стараясь не натолкнуться в мыслях на возражения, Александра Михайловна продолжала думать: «Он не то, что другие; за нехорошим он не гонится, все хочет сделать по-честному».

XII

В десятых числах ноября на Васильевском острове, в одной из квартирок огромного грязного дома за Малым проспектом, шел свадебный пир. Гармоника игра-

ла кадриль, стол был заставлен пивными бутылками и бутербродами, в воздухе стоял русский, немецкий и эстонский говор. Александра Михайловна, с завитою гривкою на лбу и в корсете, танцевала со своим шафером, переплетным подмастерьем Генрихсеном. За два месяца, как она не работала в мастерской, она сильно располнела, особенно в нижней части лица, синие глаза смотрели спокойно и довольно.

Александра Михайловна говорила Генрихсену:

— Он смирный, трезвый. О девочке моей обещает заботиться. А в мастерской оставаться было невозможно: мастер притесняет, девушки, сами знаете какие. Житья нет женщине, которая честная. Мне еще покойник Андрей Иванович говорил, предупреждал, чтоб не идти туда. И правда, сама увидела я: там работать — значит потерять себя.

— Ну да, ка-анешна! Ну да!—соглашался толстяк Генрихсен и, ухватив Александру Михайловну за талию, устремился навстречу визави.

В голове у Александры Михайловны кружилось от выпитого пива. Она смотрела, как толстый Генрихсен, отдуваясь, вытанцовывал соло, и вспомнила, как он, так же отдуваясь, танцевал на празднике иконы русскую. Вспоминались ей грязь и позор мастерской, вспоминались бурливо, как в самоваре, кипевшие в мозгу думы о жизни и порывы к борьбе с нею. Тихое спокойствие охватывало душу — и радость, что не нужно больше дум и борьбы. Вставали лица девушек-подруг, на сердце шевелилось брезгливое презрение к ним, и Александра Михайловна с гордостью думала: «Кто захочет, у кого есть в душе совесть, та всегда останется честною».

Кадриль кончилась. К Александре Михайловне подсел Лестман, в белом галстуке и шершавом черном сюртуке. Громадные руки торчали из коротких рукавов. Он обнимал Александру Михайловну за плечи, заглядывал в лицо.

— Сурочка, как я тебя люблю! — в пьяном восторге твердил он, и жмурился, и в сотый раз лез целоваться.

1903

Стрелявший рядом ефрейтор Мухин вдруг ткнулся лицом в бруствер, всею грудью скользнул по краю земляной стенки и грузно упал на дно окопа. Следом за ним, качаясь, поползла винтовка. Штабс-капитан Березников подхватил винтовку, припал к брустверу и стал стрелять вместе с ротою.

Далеко внизу, от подошвы сопки, медленно и грозно взмывала на гору широкая, трещавшая выстрелами волна японцев. Без числа ползли и перебегали маленькие муравьиные фигурки. Над ними вспыхивали белые дымки шрапнелей. Березников стрелял. В голове шумело от коньяку, от бесонной ночи, от рвавшихся кругом снарядов. Он стрелял — и вдруг увидел: далеко впереди цепей, уже на половине горы, прямо на их окоп бежал японец. С винтовкою в руке, нагнувшись и вытянув вперед свободную руку, он бежал, странно напоминая куропатку, — и был один.

— Вот кан-налья! — изумился Березников.

Он быстро изменил прицел, выстрелил — и промахнулся. Отдернул затвор, выстрелил второй раз — и опять промахнулся.

Японец продолжал бежать уверенно и смело, как будто его окружала толпа невидимых товарищей.

— Ну-ка, Спинжар?.. Видишь? Кувыркни-ка его!

Спинжар, лучший стрелок роты, приложился и выстрелил, — мимо. А японец все бежал.

Скрывая вдруг охватившее его волнение, Березников громко и протяжно скомандовал:

— Постоянный — по человеку — залпом... Пли!

Грянул залп. Вокруг ног японца забили струйки пыли. А он пригнулся ниже и побежал еще быстрее. Непонятный, волнующий трепет пронесся по окопу. В воздухе лопались шрапнели, шимозы рвали скалы, трещавшая выстрелами волна взмывала снизу все выше. Но никто этого не замечал: все беспорядочно стреляли по человеку, который бежал на них. Было жутко и странно: что же он может сделать один и зачем он бежит?

И вдруг все перестали стрелять.

Тогда случилось самое странное. Японец был уже шагах в тридцати от окопа. Он замедлил бег и не-

ожиданно сел наземь, раскинув ноги. Сидел так, опираясь сзади на руки, неподвижно смотрел на солдат, и вся его фигура вырисовывалась на синем осеннем небе. Видимо, он не был ранен. И тем удивительнее было, что он сидит так спокойно, всею грудью против направленных на него дул, и как будто широко, во весь рот, улыбается.

Березников выскочил из окопа и, выхватывая на бегу шашку, побежал к японцу. Как, для чего он это делал, Березников не знал: в голове шумело, в нем как будто пропала вера, что и теперь можно застрелить японца.

Японец все сидел, раскинув ноги и опираясь сзади на руки, — сидел и не двигался, и широко открытыми глазами смотрел на подбегавшего офицера. «Чего он смотрит? Чего не защищается?» — смутно подумал Березников. Под желтым околышем со звездочкой, на побелевшем коричневом лице он видел устремленные на него мутные глаза. Японец был в припадке той острой, смертной усталости, которая не раз в эту войну наблюдалась при быстром взбегании на высокие горы. Он широко открывал рот, как выброшенная на берег рыба, медленно дышал и смотрел непонимающими, задернутыми дымкою глазами. Спеша и недоумевая, Березников подбежал и тяжелою шашкою с размаху ударил японца по голове.

Голова сухо хрястнула, японец быстро опрокинулся навзничь, — странно быстро, без крика, без судорог. Как будто он и раньше был мертв и только притворялся живым. И сейчас же из окопа поднялась стрельба пачками по карабкавшимся на сопку цепям.

Березников пошел назад. Он было наклонился, чтоб обтереть о траву окровавленную шашку, — и не обтер: в смутном тумане, наполнявшем голову, ярко мелькнуло лицо Зиночки в пансионском платьице, как она большими, любопытными глазами будет рассматривать отцовскую шашку с запекшейся японскою кровью.

Вдруг что-то острою болью пронизало правую сторону груди. Странно перекосившиеся цепи наступающих побежали в небо. Соседняя сопка опрокинулась набок. И все исчезло.

Березников очнулся. Был вечер, и было тихо. Где-то далеко бухали пушки, снизу неслись долгие, протяжные стоны. Он пошевелился, острая боль схватила бок. И в левой ноге было больно. Хотелось пить, ужасно хотелось пить. И хотелось, чтоб кто-нибудь нежный наклонился, положил руку на простреленную грудь, а ему чтоб лежать и не шевелиться.

Морщась от боли, Березников медленно приподнялся на руках, сел и оглянулся. Кругом вперемежку валялись русские и японские трупы. Была, должно быть, жестокая рукопашная схватка. В двух шагах лежал навзничь Спижар, с огромной штыковой раной в груди, и то раскрывал, то закрывал тускнеющие глаза. Внизу, по широкой равнине, стлался беловатый туман. Соседняя сопка, громадная, черная и твердая, тяжело стояла на колебавшемся море тумана. Вдаль длинными рядами уходили другие сопки, тихие, ясные под светом зари.

Вдруг Березников почувствовал, что сбоку кто-то смотрит. Он быстро повернул голову. Шагов за десять над трупами темнело залитое кровью лицо, и с лица смотрели два черных глаза, — смотрели пристально, как будто целились в Березникова. Красный воротник, чуждый покрой мундира... Березников торопливо схватился за револьвер.

Японец, с ружьем на руку, все смотрел на него пристальными целящимися глазами. С минуту они выжидающе глядели друг на друга, — молча, сжимая в руках оружие. Вдруг японец махнул рукою в сторону, вопросительно взглянув на Березникова, и отложил винтовку.

Березников нерешительно опустил револьвер.

Японец улыбнулся, кивнул головою и пополз к Березникову.

Он осмотрел раны офицера, туго перетянул бинтом его грудь и перевязал простреленную голень. Березников вглядывался и все яснее соображал, — это тот самый японец, которого он хватил шашкою по голове.

— Ну, теперь... этого... Теперь моя тебе, — хрипло сказал он и показал пальцем на голову японца.

Японец поднял брови, слабо улыбнулся и наклонил голову с короткими и жесткими черными волосами. Березников поспешно срывал обложку с перевя-

зочного пакета, а сам смотрел, морщился и закусывал губы: края раны были набухшие, с слипшимися в крови волосами; белела рассеченная кость; а из черной трещины выползало что-то мягкое и серое, на что было страшно смотреть. Он поспешно прикрыл трещину марлею и наложил повязку. Японец выпрямился и сел на пятки.

Березников жадно и нерешительно косился на алюминиевую флягу на его боку. Японец поймал его взгляд и предупредительно протянул флягу.

— Ах, братец, во-от спасибо! — обрадовался капитан. Он припал губами к горлышку.

Японец смотрел и улыбался залитым кровью лицом.

— Хао (хорошо)? — спросил он по-китайски.

— Хао, — ответил Березников, возвращая флягу. И тоже улыбнулся белыми, бескровными губами.

Лицо японца улыбалось, но глаза смотрели скорбно, и в них была смерть. Он надел фуражку на повязанную голову, шатаясь, встал и сделал Березникову под козырек. Березников протянул руку, крепко пожал руку японца и задержал ее в своей руке. В груди у него задрожало. Он сказал:

— Маманди (погоди)!

И за руку потянул японца к себе. Японец, внимательно глядя в его глаза, присел. Березников обнял его за плечи, вдруг всхлипнул и крепко поцеловал в губы с редкими, жесткими усами.

Березников полз. Больно было в ноге, больно было в боку. Все в душе слилось в одно ощущение боли, все в мозгу слилось в одну мысль, — доползет ли он куда-нибудь? Перед глазами неизменно были два шага сухой потрескавшейся земли с редкою желтоватою травою. Догорала заря, — тускло-оранжевая, странно расплывчатая. Колыхавшееся по равнине беловатое море тумана потемнело и притихло; смутный, мышино-серый, он мрачно и неподвижно приник к земле; был жутко таинствен этот необычайный и такой тихий туман.

Уж давно бы пора быть месяцу, — отчего его нет? Березников оглядывал горизонт, но месяца не было. Становилось все темнее, и только белесые, слабо светящиеся полосы тянулись в молчаливом сером тумане.

Березников полз вниз по полю, между двух грядок с острыми, косо срезанными стеблями каоляна. Охватывало сыростью. Мышино-серый туман подступал ближе и становился беловатым. Но отчего же нет месяца? Небо за отрогом сопки как будто посветлело, — должно быть, всходит... Острые, рвущие боли при каждом движении, два шага земли перед глазами... Будет ли конец пути?

Канава, поросшая по краям ирисом, за нею — дорога. Березников прилег на невысокий вал и закурил. И вдруг он справа увидел месяц, — высоко, совсем не там, где искал. Как будто месяц сразу вылетел откуда-то из гор. Но он был не в небе. Выпуклый, ярко-оранжевый шар висел где-то вдали, в золотившемся тумане. И все было смутно, необычно. И смутно было в душе. И весь мир кругом был другой, не всегдашний. А месяц, — странный, выпуклый, — смятенно несся на дорогу. Он как будто заблудился в мутном тумане, беспомощно плыл в нем, искал и не находил неба.

Березников затянулся папироской.

— Кто идет? — раздался в тумане грозный и испуганный голос.

Это был казачий разъезд.

Носилки плавно качались. Выпуклый месяц пожелтел, но по-прежнему недоумело плыл в золотистом, прозрачном тумане, искал и не находил неба.

Все хорошо. Нет болей, конец пути. Но отчего же нет счастья и успокоения? Что незабытою тяжестью давит душу?

Ах, да... Под шашкой сухо хрястнул череп, из черной трещины выползало что-то серое и мягкое, залитое кровью лицо улыбалось, а из глаз скорбно смотрела смерть... Милый, милый япоша! Спасибо ему. И как он хорошо перевязал ногу. Дай ему бог!.. Но нет, не то. Отчего же так тяжело в душе, так смятенно и необычно?

И Березникову вдруг вспомнилось, как они целовались. Вот. Вот это... Кроваво-пьяный хмель, исковерканные тела, тяжелые удары, раскалывающие череп, — пускай. Само по себе это бы все ничего. Выше души, выше жизни может стоять дело великое и

светлое, перед ним ничтожною кажется н собственная жизнь, и все чужне; ненстовою иенавистью замутится душа против того темного, что встает навстречу, в этой ненавнсти все забудется. И, умирая, враги будут рваться навстречу, ие видя друг в друге человека, — ииаче онн ведь увиделн бы и раньше. А так, как здесь... Сейчас рубилн и увечнли друг друга, потом перевязывали друг другу раиы и целовались. Что же это такое?.. На диях Сергей Иванович говорил: «Наше ремесло — умнрать и убнвать...» Разве можно делать это во имя ремесла, а не во имя того безмерно велнкого, что одио только способно освятнть и кровь и смерть?

В перевязочном шатре горел огонь. Шла спешиая работа. Кругом стояли под открытым небом носилки с ранеными. Санитары подносили все новых и иовых. Рядом с Березнилковым лежал стрелок, раненный осколком шимозы в голову. Он метался в бреду, ворочал окровавленною головою и твердил:

— Ой, пустите меия на билый свнт!

Месяц давно нашел небо н равнодушно снял на нем всегдашннм, плоским кружком. Но по-прежнему смутно и необычно было в душе.

— Мамонько!.. Ридная!.. — звал в бреду стрелок.

Хотелось плакать от этого детского призыва большого человека к матери. И отовсюду неслнсь оханья, всхлипывающне стоны. Как будто громадиое, отвратительное колесо прокатилось по окровавленным, изувеченным телам. И были в душе только стыд н отвращенне.

1905

СОСТЯЗАНИЕ

I

Когда состязанне было объявлено, иикто в городе не сомневался, что выполнить задачу способен только Дважды-Веичаный — на весь мир прославленный художннк, гордость города. И только сам ои чувст-

вовал в душе некоторый страх: он знал силу молодого Единорога, своего ученика.

Глашатаи ходили по городу и привычно зычными голосами возвещали на перекрестках состоявшееся постановление народного собрания: назначить состязание на картину, изображающую красоту женщины; картина эта, огромных размеров, будет водружена в центральной нише портика на площади Красоты, чтоб каждый проходящий издалека мог видеть картину и неустанно славить творца за данную им миру радость.

Ровно через год, в месяц винограда, картины должны быть выставлены на всенародный суд. Чья картина окажется достойною украсить собою лучшую площадь великого города, тот будет награжден щедрее, чем когда-то награждали цари: тройной лавровый венок украсит его голову, и будет победителю имя — Трижды-Венчанный.

Так выкликали глашатаи на перекрестках и рынках города, а Дважды-Венчанный, в дорожной шляпе и с котомкою за плечами, с кизилевою палкою в руке и с золотом в поясе, уже выходил из города. Седая борода его шевелилась под ветром, большие, всегда тоскующие глаза смотрели вверх, в горы, куда поднималась меж виноградников каменистая дорога.

Он шел искать по миру высшую Красоту, запечатленную в женском образе.

У хижины за плетнем чернокудрый юноша рубил секирою хворост на обрубке граба. Он увидел путника, выпрямился, откинул кудри с загорелого лица и радостно сверкнул зубами и белками глаз.

— Учитель, радуйся! — весело приветствовал он путника.

— Радуйся, сын мой! — ответствовал Дважды-Венчанный и узнал Единорога, любимого своего ученика.

— В далекий путь идешь ты, учитель. Шляпа у тебя на голове и котомка за плечами, и сандалии у тебя из тяжелой буйволовой кожи. Куда идешь ты? Зайди под мой кров, отец мой, осушим с тобою по кружке доброго вина, чтоб мне пожелать тебе счастливой дороги.

И с большою поспешностью ответил Дважды-Венчанный:

— Охотно, сын мой!

Единорог с размаху всадил блестящую секиру в обрубок и крикнул, ликуя:

— Зорька! Скорее сюда! Неси нам лучшего вина, сыру, винограду!.. Великая радость нисходит на дом наш: учитель мой идет ко мне!

Они сели перед хижиною, в тени виноградных лоз, свешивавших над их головами черные свои гроздья. С робким благоговением поглядывая на великого, Зорька поставила на стол кувшин с вином, деревянные тарелки с сыром, виноградом и хлебом.

И спросил Единорог:

— Куда собрался ты, учитель?

Дважды-Венчанный поставил кружку и удивленно поглядел на него.

— Разве ты не слышал, о чем третий день кричат глашатаи на площадях и перекрестках города?

— Слышал.

— И... думаешь выступить на состязании?

— Да, учитель. Знаю, что придется бороться с тобою, но такая борьба не может быть тебе обидна. Знаю, что трудна будет борьба, но не художник тот, кто бы испугался ее.

— Я так и думал. Знаю и я, что борьба предстоит трудная и победить тебя будет нелегко. Когда же идешь ты в путь?

— Куда?

— Как куда? Искать ту высшую Красоту, которая где-нибудь да должна же быть. Отыскивать ее, в кого бы она ни была вложена — в гордую ли царевну, в дикую ли пастушку, в смелую ли рыбачку, или в тихую дочь виноградаря.

Единорог беззаботно усмехнулся.

— Я уж нашел ее.

Сердце Дважды-Венчанного забилось медленными, сильными толчками, груди стало мало воздуху, а седая голова задрожала. Он осторожно спросил, не надеясь получить правдивого ответа:

— Где ж ты нашел ее?

— А вот она!

И Единорог указал на Зорьку, свою возлюбленную. Взгляд его был прям, и в нем не было лукавства.

Дважды-Венчанный в изумлении смотрел на него.

— Она?

— Ну да!

Голова старика перестала дрожать, и сердце забилось ровно. И заговорило в нем чувство учителя.

— Сын мой! Твоя возлюбленная мила, я не спорю. Счастлив тот, чью шею обнимают эти стройные золотистые руки, к чьей груди прижимается эта прелестная грудь. Но подумай: та ли эта красота, которая должна повергнуть перед собою мир.

— Да, именно та самая. Нет в мире и не может быть красоты выше красоты золотой моей Зорьки, — восторженно сказал Единорог.

И взяло на минуту сомнение Дважды-Венчанного: не обманул ли его опытный его глаз, не просмотрел ли он чего в этой девушке, потупленно стоявшей в горячей тени виноградных лоз? Осторожно и испытующе он оглядел ее. Обыкновеннейшая девушка, каких везде можно встретить десятки. Широкое лицо, немножко косо прорезанные глаза, немножко редко поставленные зубы. Глаза милые, большие, но и в них ничего особенного... Как слепы влюбленные!

В груди учителя забился ликующий смех, но лицо осталось серьезным. Он встал и, пряча лукавство, сказал:

— Может быть, ты и прав. Блажен ты, что так близко нашел то, что мне предстоит искать так далеко и долго... Радуйся! И ты радуйся, счастливая меж дев!

Когда Дважды-Венчанный вышел на дорогу, он вздохнул облегченно и успокоенно: единственный опасный соперник сам, в любовном своем ослеплении, устранил себя с его пути. Спина старика выпрямилась, и, сокращая путь, он бодро зашагал в гору по белым камням русла высохшего горного ручья.

II

Дважды-Венчанный переходил из города в город, из деревни в деревню, переплывал с острова на остров. Не зная усталости, искал он деву, в которую природа вложила лучшую свою красоту. Он искал в виноградниках и рыбачьих хижинах, в храмах и на базарах, в виллах знатных господ, в дворцах восточных

царей. Славное имя его открывало перед ним все двери, делало его повсюду желанным гостем. Но нигде не находил он той, которую искал.

Однажды, в месяц ветров, за морем, он увидел у городских ворот едущую на мулах восточную царевну и остановился и с минуту жадно смотрел на ее сверкающую красоту.

И подумал в колебании:

«Может быть, она?»

Но сейчас же преодолел себя, отвернулся и решительно зашагал дальше.

«*Может быть?* Значит, не она... Истинная красота как светляк, — сказал он себе. — Когда ночью ищешь в лесу светляков, часто бывает: вдруг остановишься, — «стой! Кажется, светляк!» Кажется?.. Не останавливайся, иди дальше. Это белеет в темноте камушек или цветок анемона, это клочок лунного света упал в чаще на увядший листок. Когда ясным своим светом, пронзая темноту, засветится светляк, — тогда не спрашиваешь себя, тогда прямо и уверенно говоришь: это он!»

Месяц шел за месяцем. Отшумели на море равноденственные бури, осыпались листья с дубов. Все ниже стало ходить солнце, все глубже заглядывать в окна хижин. Туманные тени поползли по волнам остывающего моря. Горы надели на головы белые шапки, ледяной ветер гнал по долинам сухой, шуршащий снег. И опять солнце стало ходить выше. Перед утреннею зарею выбегал из-за гор небесный Стрелец и целился стрелою в изогнутую спину сверкающего Скорпиона. Больше пригревало теплом.

А Дважды-Венчанный странствовал.

Был месяц фиалок. Путник расположился на ночлег на песчаном берегу бухты. Отпил из фляги вина, перекусил куском черствого ячменного хлеба с овечьим сыром, сделал себе ложе: нагреб для изголовья возвышение из морского песку, разостлал волосяной свой плащ и склонился на ложе головою.

В теле была усталость, в душе — отчаяние. Никогда, никогда, казалось ему, не найдет он того, чего ищет. Не найдет, потому что не способен найти.

С полуденной стороны, от гор, дул теплый ветер, и весь он был пропитан запахом фиалок. Там, на горных перевалах, лесные поляны покрыты сплошными

коврами фиалок. Сегодня вечером он шел тропинкою по этим перевалам и любовался всем, что кругом, и вдыхал целомудренные запахи ранней весны. А теперь, когда сумерки одели горы, когда в теплом ветре издалека несся запах фиалок, ему казалось: там все прекраснее, таинственнее и глубже, чем он сумел увидеть вблизи. А пойдет туда, — и опять красота отодвинется, и опять будет хорошо, но не то... Что же это за колдовство в мировой красоте, что она вечно ускользает от человека, вечно недоступна и непостижима и не укладывается целиком ни в какие формы природы?

Оглянулся Дважды-Венчанный на все, что сотворил за свою жизнь, что сделало его славным на весь мир, и припал лицом к изголовью. Противно стало ему и стыдно за неумелые его намеки на то великое и непостигаемое, что носилось перед его тоскующими глазами и чего никогда он не смог воплотить в формы и краски.

Так он и заснул, уткнувшись лицом в жесткий свой плащ. С гор все дул теплый ветер, пропитанный запахом фиалок, и вздыхало вдоль берега вечно тоскующее, не знающее спокойствия море.

Когда Дважды-Венчанный проснулся, над морем занималась зеленовато-золотистая заря. Горы, кусты, колючая трава на берегу стояли в ровном сумеречном свете, — мягко светящиеся, объединенные; свет обнимался с тенью. Потом запылал над морем огромный, ясный костер, без дыма и чада, медленно вылетело из него солнце и ударило лучами по земле. И отшатнулся свет от тени, и разъединились они. Ярче стал свет, чернее тень.

Дважды-Венчанный взглянул на мрачные, утонувшие в тени горы. Взглянул — и вскочил на ноги быстро, как юноша. С предгорного холма, залитая лучами солнца, спускалась стройная дева в венке из фиалок. И сотряслась душа художника до самых глубин, и сразу, без колебаний, без вопросов, с ликованием воскликнула душа:

— Это — она!

Дважды-Венчанный упал на колени и в молитвенном восторге простер руки к светозарной деве.

Настал месяц винограда. Площадь Красоты, как море, шумела народом. В глубине площади возвышались два огромных, одинаковой величины, прямоугольника, завешанных полотном. Возле одного стоял Дважды-Венчанный, возле другого — Единорог. Толпа с обожанием смотрела на уверенное, сурово-спокойное лицо Дважды-Венчанного и посмеивалась, глядя на бледное под загаром лицо красавца Единорога.

Граждане кричали:

— Единорог! Беги со своею мазнею, не срамись.

Единорог в ответ встряхивал курчавыми волосами и вызывающе усмехался, сверкая зубами.

Старец в пурпуровом плаще и с золотым обручем на голове ударил палочкой из слоновой кости по серебряному колоколу.

Все притихли. Старец простер палочку к картине Дважды-Венчанного. Полотно скользнуло вниз.

Высоко над толпою стояла спускающаяся с высоты, озаренная восходящим солнцем дева в венке из фиалок. За нею громоздились темно-серые выступы суровых гор, еще не тронутых солнцем. По толпе пронесся гул, и вдруг стало на площади тихо, как знойным полднем в горном лесу.

Божественно-спокойная, стояла дева и смотрела на толпу большими глазами, ясными, как утреннее небо после грозы. Никто никогда еще не видал в мире такой красоты. Она слепила взгляд, хотелось прикрыть глаза, как от солнца, только что вышедшего из моря. Но падала рука, не дошедши до глаз, потому что не могли глаза оторваться от созерцания. А когда отрывались и смотрели по сторонам, было с ними, как после взгляда на солнце, только что вышедшее из моря: все вокруг казалось темным и смутным. Тело, какого еще не обнимала ни одна мужская рука, сквозило сквозь легкую ткань. Но не было вожделения. Было только молитвенное склонение и блаженная, нездешняя печаль.

Темные горы были за девой, и темно стало кругом на площади. Девы и жены пристыженно отвращали лица в сторону, а юноши и мужи глядели на Фиалковенчанную, переносили взгляд на своих возлюбленных и спрашивали себя: что же нравилось им в этих

нескладных телах и обыденных лнцах, в этих глазах, тусклых, как коптящий иочинк?

Старый погонщик мулов, с брюзгливым лнцом и щетииою иа подбородке, искоса оглядывал свою старуху: была оиа жирная, с отвислым подбородком и огромиой грудью, с лицом, красным от кухоиного чада. Взгляиул он опять на Фиалковеичаиную н опять на жену. Больио ущемила тоска по красоте его жесткое, как подошва, сердце, и страшно стало ему, с кем суждено проводить ему его трудную, серую жизнь.

Долго стояли людн в благоговейиом молчаннн, и смотрели, и что-то шептални. И всеобщнй вздох священной, великой тоски проиесся над толпою.

Старец в красиом плаще стряхнул с себя очарованне и встал. Было лнцо его строго и торжественно. С усилием, как бы свершая вынужденное кощунство, протяиул ои палочку ко второй картине.

IV

Покров упал.

Ропот иедоумення и негодования прошел по площади. На скамье, охватнв колено руками, подавшись лнцом вперед, сндела н смотрела иа толпу — Зорька! Люди ие верили глазам и не верилн, чтоб до такой иаглости мог дойти Едиииорог. Да, Зорька! Та самая Зорька, что по утрам возвращается с рынка, иеся в корзине полдесятка кефалей, пучкн чесиоку и петрушкн; та самая Зорька, что мотыжнт за городом свой внноградник и по вечерам доит на дворнке коз. Сидит, охватив колеио руками, и смотрит иа толпу. За иею — полуоблупнвшаяся стена хижины и косяк дверн, над головою — вннградиые листья, красиые по краям, меж иих — тяжелые снзые гроздья, а вокруг иее — горячая, иапоенная солнцем теиь. И все. И была она иа картнне такая же большая, локтей в двадцать, как и божественная дева иа соседней картнне.

— Хоть с гору величнной нарисуй, лучше не станет! — крикнул озорной голос.

И все засмеялнсь. Раздался свнст, шип. Кто-то завопил:

— Камиямн его!

И другне подхватнлн:

— Побить камиями!

Но вот шум начал поиемногу затихать. Кричащие и хохочущие рты сомкиулись, поднятые с камнями руки опустнлись. И вдруг стало тихо. Так нногда неожиданно налетит с гор ветер, — завоет, завьется, поднимет к небу уличиую пыль — н вдруг упадет, как в землю уйдет.

Люди смотрелн на Зорьку, и Зорька смотрела на ннх. Один юноша в иедоуменнн пожал плечами и сказал другому:

— А зиаешь, я до сих пор не замечал, что Зорька так прелестна. Ты не находишь?

И другой ответил задумчиво:

— Страино, но так. Глаз не могу оторвать.

Высоко подняв бровн, как будто прнслушнваясь к чему-то, Зорька смотрела перед собою. Чуть заметиая счастливая улыбка замерла иа губах, в глазах был стыдливый нспуг и блаженное недоуменне перед встающнм огромным счастьем. Оиа протнвилась, упиралась и, одиако, вся устремнлась вперед в радостном, иеодолнмом порыве. И вся светилась нзнутри. Как будто кто-то, втайне давно любнмый, неожиданно наклоиился к ней и тихо-тихо прошептал:

— Зорька! Люблю!

Люди молчалн и смотрелн. Оин забыли, что это — та самая Зорька, которая носит в корзнне тускло поблескнвающую рыбу н серебряные пучки чесноку, не замечалн, что лицо ее иесколько шнроко, а глаза поставлеиы немного косо. Казалось, будь оиа безобразиа, как дочь кочевника, с приплюснутым носом н глазами как щелки, — само безобразне, освещенное изнутри этим чудесным светом, претворилось бы в красоту небывалую.

Как будто солнце взошло высоко над площадью. Радостный, греющий свет лился от картины н озарял все кругом. Вспомнились каждому лучшие минуты его любвн. Тем же светом, что сиял в Зорьке, светилось вдруг преобразнвшееся лицо его возлюблеиной в часы тайиых встреч, в часы первых чистых и робких ласк, когда иеожидаиио выходит на свет и широко распускается глубоко скрытая, вечная, покоряющая красота, заложеиная природой во всякую без исключения жеищину.

Прояснилось лицо старого брюзги погонщика, взглянул он на свою старуху, и улыбнулся, и толкнул ее сухим локтем в жирный бок.

— А помнишь, старуха... Гы-гы!.. У водопоя-то? Ты поила коз, а я перепрыгнул через плетень... Молодой месяц стоял над горой, цвели дикие сливы...

И, застенчиво улыбнувшись, взглянули на него с оплывшего, багрового лица знакомые, милые, давно забытые глаза, и осветилось это лицо отблеском того вечного света, который шел от Зорьки. Погонщик хихикал и грязною рукою вытирал слезы на гноящихся своих глазах. И казалось ему, — не умел он ценить того, что у него было, и по собственной вине сделал свою жизнь серою и безрадостною.

Это был он, который первым крикнул на всю площадь:

— Да будет Единорог Трижды-Венчанным!

1919

СОБАЧЬЯ УЛЫБКА

Молодой поэт Аким Лесовик поздно воротился домой. Он сердито шагал по чердачной своей комнате от чугунной печечки к некрашеному столу, ронял по дороге шаткий стул, поднимал и на обратном пути опять ронял. И повторял сердито:

— Черт! Черт!

Он выступал сегодня на литературном вечере. Выступал и другой молодой поэт, Павел Вершинин. Когда кончил читать Вершинин, ему захлопали восторженно, требовали еще. Прочел еще. Публике все было мало, она гремела рукоплесканиями, кричала: «Вершинина!» Вышел распорядитель, поднял руку. Замолчали.

— Поэт Аким Лесовик прочтет два новых своих стихотворения.

Публика в ответ завопила:

— Вершинина!

— Товарищи...

— Вер-ши-ни-на!!!

Лесовик стоял у дверей артистической. Счастливо улыбаясь, Вершинин прошел мимо на эстраду и опять

стал читать. И еще, и еще читал. И публика все хлопала в восторге.

Наконец угомонилась. Вышел читать Лесовик. Его встретили рукоплесканиями. Прочел, — захлопали. Похлопали и перестали. Распорядитель объявил беллетриста Березина, — и вечер пошел дальше.

— Ч-черт, черт!

С чего вдруг так расхлопались подлецу этому? Подумаешь, какой талант невиданный! Чем он лучше его, Лесовика?.. Румяные комсомолки заглядывали в артистическую, просили вызвать товарища Вершинина, горячо разговаривали с ним в коридоре. Ах, какие глаза были у одной! Как она на него смотрела! А он — хлипкий, невзрачный, спина крючком. Потом участники ужинали в клубе Союза писателей, пили пиво. Уж какая-то снисходительная нотка появилась в голосе, рожа сияет самодовольством.

— Ч-черт, ч-черт!.. Ах, ч-черт!..

— Я извиняюсь, гражданин...

— Кто тут?

— Извиняюсь, это я.

На пыльной чугунной печке, охватив острые колени руками, сидел рыжий субъект весьма унылого вида, величиною с среднюю собаку.

— Вы, гражданин, чего тут? Что вам угодно?

Но впрочем, — какой это был гражданин! Скорее, — неумело выдубленная собачья шкура, покоробившаяся, жесткая, пустая внутри. Такой он был весь залежавшийся, серый, пыльный, — как будто пролежал в подполье лет пять и ни разу за это время не проветривался, и только призыв поэта неистовою своею страстностью извлек его на свет. Однако глазки были острые, на лбу — рожки, и козлиные копытца на ногах. Все по форме. Он удивленно переспросил:

— «Что угодно?» Вы же меня звали.

— Ах, вы... — Аким искательно улыбнулся. — Вы... из этих будете?

— Определенно. Чем могу служить?

Поэт просиял.

— Вы это, товарищ, серьезно?

— Как таковой, я вам, конечно, не товарищ. Но поскольку могу, постольку с удовольствием. В чем дело?

— Дело вот в чем.

Аким взволнованно достал пачку папирос «Червонец», протянул собеседнику.

— Курите!

— Благодарю вас, только что курил, — с достоинством отказался рыжий.

Поэт дрожащими руками закурил, глубоко затянулся.

— Вот в чем дело. Есть у нас тут один поэт, Пашка Вершинин. Поэт как поэт. Не хуже и не лучше других. И вдруг, понимаете, — грандиознейший успех! Совершенно никому не понятный. Ну, словно гений какой первоклассный явился.

Рыжий деловито спросил:

— А может, вправду гениален?

— Да нет же! В том-то все и дело! Вы меня, конечно, не знаете, а то бы и сами сказали, что я совершенно не подвержен зависти. Говорю вам по чистой совести: поэт как поэт. Десятки таких. И вдруг за что-то — так превознесен! Мне-то лично это все равно, — но где же справедливость!

— В первую очередь самой серьезной проработки требует вопрос: высокой ли он квалификации или является продукцией среднего качества. Если первое, то ничего, гражданин, сделать не могу. Нестоящее дело. Но если...

— Да вот книжка его стихов. Посмотрите. Сами увидите.

— А-а, вот-вот!

Рыжий с любопытством сунул острую свою мордочку в книжку, быстро перелистал страницы. Потом в восторге взвился вместе с книжкою, три раза перекувыркнулся в воздухе и опять сел на верхний круг печки. Он улыбался, морща нос, сверкая острыми зубами из-под поднявшейся верхней губы, — знаете, собачьей такою улыбкою, какою улыбаются очень подлые собачонки.

— Факт ясен. Конечно, он гораздо талантливее вас. — Рыжий с наслаждением вглядывался в напряженно улыбавшееся лицо Акима. — Н-е-с-р-а-в-н-е-н-н-о талантливее.. Но согласен, — не гений. Дело подходящее. Берусь. Прошу информировать совершенно конкретно, — зачем вы меня вызвали, чего, собственно, желаете, и так далее, и тому подобное.

— Я желаю... Ну, как бы вам это выразиться по-

конкретнее? Напакостите ему каким-нибудь самым конкретным образом. Вы уж там сами придумаете. На то вы спец. Но уж подрежьте его, подлеца, под самый, как говорится, корень!

— Берусь. Вопрос исчерпан. Переходим к следующему пункту порядка дня. Что вы мне, гражданин, за это заплатите?

— Ведь плата у вас, кажется, известная.

— Это какая же?

Поэт глянул в сторону.

— Душа, что ли...

Рыжий сурово смотрел на него.

— Гражданин, который сознательный, фальшивого товара предлагать не станет. «Душа»... Не знаете, что ли, что такое в нынешнее время душа? Условный рефлекс. Если бы даже ад существовал, куда я там сунусь с условным рефлексом?

— Так что же вам предложить? Я уж не знаю.

— В этом мире.

— Что в этом мире?

— В этом мире буду вашу душу поджаривать на медленном адском огне.

— То есть как же это?

— Мое уж дело.

— А ему сделаете, как уговорились?

— Ясно. Положим на все четыре лопатки.

— Гм... — Аким подумал. — Ну да ладно! Мне все равно. Только уж закатите ему пакость самую грандиозную. Да поскорее, пожалуйста, не откладывайте.

— В ударном порядке... Ну, пока!

— Подождите. А как мне вас вызвать, если вы мне понадобитесь?

— Сильно когда пожелаете, сейчас же явлюсь... Всего!

И рыжий сквозь чугунную печку провалился под пол.

Павел Вершинин написал новую поэму. Прочел ее на исполнительном собрании «Красного Пегаса», потом на исполнительных собраниях Союза писателей, Союза поэтов, Ассоциации триолета, Коллектива рондо, Содружества сонета, Общества драматических

писателей и композиторов, Авиахима и Добролета. Гул пошел по всей печати. Сообщалось, что, по единодушным отзывам всех оппонентов, поэма Вершинина — замечательнейшее произведение литературного сезона. Лучший журнал «Красные вершины» жирным шрифтом объявил в газетах, что поэма появится в ближайшем номере журнала. А Аким Лесовик уже три месяца назад сдал в «Вершины» свою поэму, — и ее не спешили печатать.

Аким решительным шагом вошел в свою мансарду, остановился перед печкой и с настойчивостью самого лютого негодования воззвал:

— Послушайте... Как вас? Гражданин запечный, эй! Выкатывайтесь!

— Я извиняюсь. В чем дело?

Пустая рыжая шкура сидела на своем месте, и острые глазки с готовностью были устремлены на Акима.

— Вы что же это, а?!

— Что?!

— Договор желаете исполнять?

— А я не исполняю? Работаю вовсю.

— Вовсю?! А это что?

Аким потряс перед мордою рыжего только что вышедшим номером «Красных вершин».

— Это что, я спрашиваю? На первом месте поэма, разбита на шпоны, не в пример другим стихам...

— Ах, уж вышел номер? Дайте-ка посмотреть.

Рыжий с любопытством сунул нос в книгу и сказал с сожалением:

— Жалко, портрета не поместили. Ка-кой недосмотр, ай-ай-ай!

— Что-о?! Еще портрет? Обормот паршивый! Издеваешься надо мною?

В бешенстве Аким схватил рыжего за шиворот и стал бить его о печку. Пыль пошла столбом. Когда он наконец выпустил рыжего из рук, тот уселся на прежнем месте, встряхнулся с удовольствием и сказал:

— Спасибо, вытрясли пыль!

— Сейчас же, слышишь, сукин сын?.. Сейчас же...

— Я извиняюсь. Категорически прошу выражаться без интимностей.

— Требую сейчас же принять самые решительные меры, не то считаю наш договор расторгнутым. Для

начала, — статейку, что ли, пусти в журнал, — поубийственнее!

Рыжий в восхищении всплеснул руками.

— Статейку? Бо-га-тей-шая идея! Обязательно надо статейку, вы правы на двести пятьдесят процентов... Пока!

И рыжий стремительно провалился в подполье.

Появилась не статейка, а большая, обстоятельная статья. В ней восторженно писалось, что поэт Вершинин использует в своей поэме самые острые темы современности, четко выявляет глубокую революционность своего жизнеощущения, бодрого и жизнерадостного. Для поэта наша жизнь — не долина юдоли, не поле, усеянное трупами раненых, а творческая работа, борьба и радость. Значимость поэмы огромна. О силе заражаемости ее может судить только тот, кто ее прочел. В заключение автор поздравлял читателя с появлением на небосклоне русской поэзии планеты первой величины, быстро поднимающейся к самому зениту горизонта.

Наступили дни адской муки — для Акима Лесовика, дни напряженнейшей работы — для рыжего, а для поэта Павла Вершинина — дни непрерывного, все возраставшего торжества.

Что он первый поэт нашей современности, — об этом никто уж не спорил. Если другие в этом убедились бесповоротно, то, само собою, еще крепче стал убеждаться сам Вершинин. Да и мудрено было не убеждаться. В критических статьях писали: «Блок и Вершинин», «От Пушкина к Вершинину», «Ритмы Тютчева и Вершинина». Госиздат издал полное собрание его сочинений с портретом, факсимиле и автобиографией. Редакторы горячо жали Вершинину руки, звонили по телефону. Открытки с его портретами продавались бойчее пудры и губной помады. На литературных выступлениях пять, десять минут публика хлопала ему, не давая начать.

Походка Вершинина стала особенная, сдержанно-торжественная, голос — снисходительно-любезный, как в старые времена у очень либеральных сановников. С публикою он капризничал, как избалованная поклонниками красавица. На выступлениях, например,

ставил непременным условием, чтобы ему читать первым, а сам, вместо восьми, приезжал к десяти, устроители же, боясь его гнева, без него не начинали. А когда он наконец выходил на эстраду, заждавшаяся публика, вместо того, чтобы освистать наглеца, приветствовала его плеском и воем. Особенно при этом старались какие-то юркие рыженькие фигурки с восторженно-оскаленными верхними зубами.

Раз на таком вечере пришлось участвовать и Акиму Лесовику. Конечно, все они, остальные, были тусклыми звездышками, совсем утонувшими в сиянии полного месяца — Вершинина. Аким слушал океанский плеск и рев, сопровождавший чтение Вершинина, терзался и недоумевал: ведь пóшло, банально! Самоповторно! Вот прервали на середине, — сам Вершинин недоуменно раскрыл глаза: банальнейший, совсем ничтожный стих. А рукоплещут! И чем плоше и пошлее были стихи, тем восторженнее хлопала публика. Особенно старались рыженькие. А Вершинин стоял, кланялся и нежил душу на гремящих волнах рукоплесканий.

После вечера Лесовик ужинал у Вершинина. И тут только он во всем размере почувствовал, как преуспел за это время Павел Вершинин. Народу было много. Газетные репортеры хлопали рюмку за рюмкой, наставляли, как собаки, уши по направлению к Вершинину и нащупывали в карманах блокноты. Красивые девушки и женщины восторженно глядели в глаза Вершинину. Особенно одна была. Пышные, золотисто-рыжие волосы, гордые глаза, из-под слегка приподнятой верхней губы сверкают жемчуга зубок; спина, плечи и очень открытая грудь — цвета теплого мрамора... Ах, счастье, если такая взглянет ласково! И много, много нужно, чтоб заслужить этот взгляд! И видел Аким: из-под полуопущенных век красавица мерцающим взглядом поглядывала на Вершинина и, видно, никого не замечала кроме него, и страстно отдавалась ему глазами.

Поужинали. Сидели за кофе и ликерами в полумраке просторного кабинета Вершинина. Одна из девушек стояла, прислонясь к оконной портьере и вытянув кверху прелестные нагие руки; две другие лежали на полу, на пушистой шкуре белого медведя. Золотистая красавица полулежала на оттоманке, и в

полутьме из-под полузакрытых век еще ярче и таинственнее мерцали Вершинину бриллианты ее глаз. Репортеры вытащили из карманов блокноты.

Вершинин, развалясь в мягком кресле, курил сигару и говорил, — тем голосом, каким люди говорят, когда знают, что их слушать — всего интереснее.

— Я не могу понять, что это значит. Меня очень беспокоит: в какие бы очки я ни глядел, мне все больно глазам. Это плохой знак. Испортится зрение, — и никакие очки не подойдут. Останешься слепым.

Аким спросил:

— А без очков тебе не больно глядеть?

— Без очков пока ничего.

Аким расхохотался, Вершинин кисло взглянул на него, а девушки и женщины взволнованно заговорили:

— Так нельзя этого оставить! Никак нельзя! Нужно поскорее пригласить глазного врача. Что же это будет, если вы ослепнете!

Репортеры записывали в блокноты:

«Знаменитый поэт Вершинин. Опасная болезнь глаз. Грозит полная слепота. Экстренно вызываются лучшие окулисты столицы».

Опять стали слушать Вершинина. Маленький, щупленький, он сидел, утонув в кресле, пускал сквозь бритые губы синий дым сигары и ронял небрежно:

— Я сегодня утром читал, — кого бы вы думали? Нестора Кукольника! И знаете? Нахожу, что он у нас совершенно не оценен. Например, драма его: «Джулио Мости». Такая песня импровизатора:

День счастья так ничтожно мал,
Путь независимости тесен.
Я шел вперед, бледнел, страдал,
Но никогда не торговал
Богатством сладкозвучных песен.

Разве плохо, а? Особенно для того времени. А в развитии драматического действия он иногда положительно не уступает Шекспиру.

— Будет тебе, Пашка, дурака валять! — возмутился Аким.

Девушки негодующе оглядели его и с загоревшимися глазами стали спрашивать Вершинина:

— Как? Как драма называется? Где ее можно достать?

Рерпортеры записывали:

«Павел Вершинин о Несторе Кукольнике: никем до сих пор не оцененный русский Шекспир».

Еще свирепее воротился Аким в свою комнатушку, еще быстрее зашагал из угла в угол, роняя и со злостью поднимая колченогий стул. И остановился перед чугункой, и воззвал в злобе:

— Ты! Обмылок казанский! Сюда!

— Я извиняюсь... Это вы меня?

— Тебя, конечно!

— В чем дело?

Рыжий спросил холодно, — видно, ему не нравилась фамильярность поэта.

— Как в чем дело? Почему договора не исполняешь?

— Договор, гражданин, исполняется на все сто процентов.

— Ничего не понимаю! Ты же пакостить ему обещался!

— Пакощу в полной мере. Даже выше довоенной нормы... И потом. Я извиняюсь. Мы с вами, гражданин, брудершафта не пили.

— Э, дело не в этом! Чем же ты... Чем же вы ему пакостите, позвольте спросить?

— А я вам стану объяснять? Чтоб утешить вас? Вы думаете, мне это нужно? Какое же мне тогда будет удовольствие? Из-за чего я тогда работал?

Рыжий мохнатою своею рукою коснулся локтя Акима и спросил задушевным голосом:

— Скажите, неужели же вам не весело было глядеть, каким он выявлялся дураком? Достижения поразительные! Я, по крайней мере, с великим всегда наслаждением наблюдаю, как глуп становится самый даже умный человек, когда по самолюбию его польешь бензинчиком и подожжешь. По-те-ха!

Потом он похлопал Акима по плечу и конфиденциально сообщил:

— Могу вас, гражданин, заверить в высшей степени категорически: все идет, как следует быть. Вы можете торжествовать.

И он оскалил собачьей улыбкой мелкие, острые свои зубки. Аким изумленно вздрогнул. Бывает ино-

гда: безобразнейший брат ужасно бывает похож на ослепительную красавицу-сестру. Так же вот и в этой поднятой над зубами верхней губе Аким вдруг поймал поразительное сходство с прелестной губкой, слегка открывавшей жемчужные зубы у сегодняшней красавицы там, у Вершинина.

— Погодите... Вы были нынче на ужине у Вершинина?

— Был.

— После ужина на оттоманке, в жемчужном ожерелье, на девять десятых в голом виде... Это были... вы?

— Я. — Рыжий застенчиво потупился и спросил с любопытством: — А как вы нашли мой костюм?

— Костюма никакого я не нашел, — со злостью ответил поэт и вдруг вздрогнул. — Стойте! Вы остались у него, когда мы уехали... Я начинаю соображать... Боюсь, как бы у нас тут не вышло недоразумения. Знаете, уж не поняли ли вы меня в том смысле...

— В ка-ко-ом?!. Послушайте, да за кого же вы меня принимаете? Стал бы я заниматься такою бездарщиною! Как не стыдно вам! И что у вас за представление о нас! Это все равно, что вы позвали бы Врубеля и поручили бы ему покрасить ваш пол, или Родену заказали бы вытесать уличную тумбу... Тьфу, даже затошнило! Я, граждании, отлично понимаю, чего вам нужно. И будьте совершенно покойны. Целевая установка предполагает иметь место в самой полной мере. Договор будет добросовестно исполнен до последней буквы.

— Ручаетесь?

— Определенно.

— Ну, ладно, будем ждать.

Аким успокоенно прошелся по комнате.

— «Целевая установка предполагает иметь место»... — Он расхохотался. — Послушайте. Скажите мне. Никогда я раньше не предполагал, что ваше племя говорит таким ужасным языком.

— Чем — ужасным?

Рыжий самолюбиво покоробился.

— Чем! Еще объяснять вам!.. Ха-ха-ха!..

Рыжий обиженно нахохлился и крепче охватил руками поджатые коленки.

— А впрочем... Наружности моей вы, гражданин, не удивляетесь? Тому, что я мало похож на Антиноя или там — на Аполлона?

— Чему дивиться!

— А почему же я обязан говорить языком Пушкина?.. Ну, а в общем и целом, — это к делу совершенно не относится. До свидания.

И он провалился в печку.

Каждый месяц, каждая неделя, каждый день возносили Павла Вершинина все выше и выше. Далеко внизу цыплячьими фигурками представлялись ему прежние его товарищи. Он озирался на высоте по сторонам и выискивал товарищей себе под рост: Эсхила, Данте, Гете, Байрона. Понятно, как его должно было раздражать, когда приходилось встречать печатные или устные критические замечания о своих вещах. Да и правда, — посудите сами: какой-нибудь газетный рецензент или «брат-писатель», вроде Акима Лесовика, заявляет Эсхилу о «Прометее»: «эта сцена несколько риторична», или Байрону о «Чайльд-Гарольде»: «в этой песне не выдержано до конца настроение». Будет только впечатление, как будто осенняя муха противно влипается в кожу, — и больше ничего.

Писать стало теперь очень легко. Раньше Вершинин мучился над каждым стихом, падал духом, отчаивался, откладывал написанное, опять возвращался, оживал духом и опять отчаивался. Теперь стих катился легко, как вагончик по заранее проложенным рельсам, всем был теперь доволен взыскательный художник. А редакторы донимали телефонными звонками, спрашивали: «скоро ли?» И Вершинин бросал написанные прямо набело листки хорошенькой машинистке.

Жизнь шла хорошая. Великолепная квартира, дубовые библиотечные шкафы с книгами в чудесных переплетах. Всегда к услугам просторная машина с легким ходом. Новая жена через каждые три месяца. Да еще так каждую неделю новая девушка, — настоящая, с покорным восторгом отдающая свой цвет Вершинину. Когда он входил в ресторан или в театр, мгновенно разносилась весть, что он тут, и к нему

устремлялись восторженные толпы. В то же время был он желанным гостем на заводах и в рабочих клубах. Туда он ездил в стоптанных сапогах и засаленной куртке защитного цвета и читал пламенные свои стихи, на все сто процентов удовлетворявшие самых строгих критиков.

Словом, все бы казалось хорошо. И однако, — ни для кого незаметно, неведомо для Акима Лесовика, — Вершинин терпел большие, все увеличивавшиеся муки.

— Вы читали мою поэму «Красный вихрь»?

— Н-нет, собственно... Но я... я как раз со...собирался ее прочесть...

Вершинин сурово отворачивался от собеседника, а в душе ныла, ныла впившаяся заноза.

Праздновали какую-то годовщину Пушкина. Собрались его поминать, и первым, конечно, выступил Павел Вершинин. Он прочел пламенное стихотворение. В нем говорилось: «через головы всех маленьких поэтиков, разделивших нас, протягиваю тебе братскую руку, Александр Сергеевич, — ты не меньше меня. Привет! Вместе, рука об руку, пойдем с тобою к солнцу вечной свободы и красоты!»

Назавтра в газетном отчете, сиявшем самою сверкающею собачьей улыбкою, проскользнула такая фраза (ясное дело, по недосмотру редакции): «вопрос, конечно, несколько спорный, — так ли уж равны ростом Павел Иваныч и Александр Сергеич; однако стихотворение мощно потрясло слушателей»... Всю ночь не спал Вершинин, — вспомнит, и заноет в душе. И решал: в газету эту больше ничего не будет давать, когда встретится с редактором, — как будто не узнает его; отвернется и пройдет мимо.

С каждым днем росли муки. И становились они все обоснованнее, все менее призрачными. Раз прочел он у себя в кругу друзей новую свою поэмку. Теперь уж не бывало, как раньше, чтобы после чтения начиналось обсуждение, критика, советы. Если кто, по старой памяти, пробовал высказать свое суждение, у Вершинина лицо делалось скучающим, а очередная жена его спешила перевести разговор на другое или звала всех ужинать. И вот прочел Вершинин свою поэмку, ждал гула восторга. Все молчали. По-

том начали говорить. И вяло хвалили: «Прелестно! Очень сильно!»

Когда гости после ужина ушли, Вершинин капризно сказал жене:

— Должно быть, я начинаю исписываться.

Она ахнула и всплеснула руками.

— Милый! Что ты такое говоришь! Да ведь ясно было, — они все молчали от зависти. Долго никак не могли ее побороть. И наконец все-таки принуждены были сознаться, — неохотно, против воли... Они были ошеломлены!

— Гм!.. Ты думаешь, это просто зависть была? А ведь, пожалуй, и вправду так. Народ завидущий, что говорить.

Появилась поэма в печати. Критика отозвалась: «слабовато; будем надеяться, что это — случайная неудача». Мерзавцы! Вершинин старался вспомнить, чем и когда ему случалось обидеть этих критиков.

Написал он новую большую поэму. И, потирая руки, сказал новой своей жене:

— Ну-ка, посмотрим, черт возьми, — исписался ли Павел Вершинин? Или, может быть, и он еще кое на что способен!

Он прочел поэму на собрании «Красного Пегаса». Выступил первый оппонент и заговорил:

— Позволю себе во всеуслышанье высказать то, что у всех у нас давно уже в уме: каждое новое произведение товарища Вершинина громко говорит о все более развивающейся у него атрофии способности к самокритике, о непроходимом художественном самодовольстве, о полной потере той «взыскательности», которой требовал от художника Пушкин...

И пошли! И пошли! Один за другим. Все в таком духе. Вершинин сидел бледный, растерянный и зло улыбался.

Поздно ночью, когда закрылся последний ресторан, Аким Лесовик ввалился к себе. Он вошел, весело посвистывая и заломив на затылок мятую свою фуражку. Пошатываясь, остановился перед чугунной печкой.

— Гражданин!.. Как вас, эй! Товарищ! Позвольте вас просить сюда!

— Я извиняюсь...

Рыжий сидел на печке, охватив руками колено, в позе Мефистофеля Антокольского. Лицо его было весьма кисло.

— В чем дело?

— Спасибо, товарищ! Благодарю от всей души! Вот уважил так уважил!.. Руку!

Он широким размахом протянул руку рыжему. Рыжий, брюзгливо сморщившись, смотрел мимо и как будто не замечал протянутой руки.

— Я не совсем понимаю, что вас, собственно, так радует?

— Ха-ха-ха! Ты бы посмотрел сегодня на Пашкину рожу, когда его крыли! На-слаж-дение! Ха-ха-ха!

— Не могу понять, что тут смешного. Временная неудача... С кем этого не бывает?

— Временная? Ххе-хе-хе! — Аким хохотал и фамильярно грозил рыжему пальцем. — Нет, брат, не надуешь! Дудки! Кто два года пробыл богом, того назад в смертные не повернешь. Не сможет он над собой работать, не захочет глину месить и камни ворочать... Кончено!

— Если совсем откровенно говорить, то должен сознаться: я никак не ожидал, что все это произойдет так легко и просто. Чуть хвальнули, — и мозги на сторону. Знал бы, я за дело не стал бы браться. Не стоило. Но все-таки, гражданин, в общем и целом могу вас заверить, что дело отнюдь еще не кончено.

— Кончено, почтеннейший! Крест! Понимаете, — к-р-е-е-с-т! — Аким начертал в воздухе широкий, торжествующий крест. — Службе вашей конец, договор вами выполнен вполне добросовестно. Благодарю! Можете смываться навсегда!

— Рано, гражданин, благодарите и рано радуетесь, — сердито возразил рыжий. — Еще услышите об нас... Ну, а в общем — пока!

И он провалился под пол.

В газетах сообщалось, что знаменитый поэт Павел Вершинин отправился на своем автомобиле сделать прогулку по Кавказу. В иллюстрированных еженедельниках появились фотографии, — Вершинин выезжает из Москвы, Вершинин в Рязани, Вершинин в

Новороссийске. Ехал при нем шофер, маленький рыженький человечек с оскаленной верхней губой, — но Вершинин правил машиною сам, помощник же был только для починки шин, чистки машины, накачивания бензина.

И вдруг в газетах — телеграмма с жирным заголовком:

ГИБЕЛЬ ПОЭТА ПАВЛА ВЕРШИНИНА
В ГОРАХ КАВКАЗА

На крутом спуске Военно-Грузинской дороги, где шоссе идет с горы крутыми петлями, где осторожно спускаются на тормозах, — Вершинин буйно разогнал машину, сшиб ограждавший шоссе парапет и вместе с машиной и рыжим шофером полетел в пропасть. Видели, как колесом закрутился в воздухе рыженький, и как белым алебастром сверкнула его улыбка среди серой пыли и желтых камней сбитого парапета.

Случайно все это произошло? Или намеренно? Определительно нельзя было сказать. Но вчера на банкете, данном Вершинину кавказцами, он был необычно взволнован и радостен, незабываемо читал лучшие свои стихи и в конце пира, подняв чашу с шампанским, сказал речь, где загадочно прощался со всеми, говорил, что с современниками его рассудит история и что он умрет таким же великим, каким жил.

— Я извиняюсь, граждании...

Расстроенный Аким Лесовик взглянул на печку.

— Что надо?

— Я извиняюсь. Прибыл вас информировать, что задание исполнено мною на все сто процентов.

— Да, но знаете... Зачем так жестоко? Ничего такого вовсе я от вас не требовал. К чему это?

— Нет, нет! Не говорите! — простодушно возразил рыжий. — Красиво, знаете. И притом — не банально. Я ему даже положительно завидую. Везде только об его смерти и говорят. Повсюду интерес к нему огромный. Огромнейший интерес! Красивая смерть, эффектная!

— В том-то вот и дело. Для чего вы это? Публика

уж начинала в нем разочаровываться, критика тоже. Жил бы он себе вчерашнею знаменитостью, — и для него не так бы было трагично, и мне бы было удовольствие.

Рыжий иронически оглядел поэта.

— А мне очень нужно ваше удовольствие?.. Ну, да больше нам разговаривать не о чем. Я свое дело сделал. Всего!

И рыжий навсегда провалился в подполье.

А слава Вершинина громом перекатывалась по всему Союзу из конца в конец. Стихи его расходились в несчетном количестве экземпляров, и у каждой советской барышни над кроватью была пришпилена открытка: пробитый парапет, клубы пыли, машина, летящая в бездну, Вершинин с победно простертыми руками, маленький шофер, кубарем летящий впереди. Фоторепортер одного иллюстрированного журнала успел заснять крушение в самый характерный момент.

Аким наблюдал посмертную славу Вершинина — и по-прежнему мучился на медленном адском огне.

1926

ИЗ ЦИКЛА «НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ»

> Чистый вымысел принужден всегда быть настороже, чтоб сохранить доверие читателя. А факты не несут на себе ответственности и смеются над неверящими.
>
> *Рабиндранат Тагор*

С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести; и все интереснее — живые рассказы о действительно бывшем. И в художнике не то интересует, что он рассказывает, а как он сам отразился в рассказе.

И вообще мне кажется, что беллетристы и поэты говорят ужасно много и ужасно много напихивают в свои произведения известки, единственное назначение

которой — тонким слоем спаивать кирпичи. Это относится даже к такому, например, скупому на слова, сжатому поэту, как Тютчев.

> Душа, увы, не выстрадает счастья,
> Но может выстрадать себя.

Это стихотворение к Д. Ф. Тютчевой только выиграло бы в достоинстве, если бы состояло всего из приведенного двустишия.

Я по этому поводу ни с кем не собираюсь спорить и заранее готов согласиться со всеми возражениями. Я и сам был бы очень рад, если бы Левин охотился еще на протяжении целого печатного листа и если бы чеховский Егорушка тоже еще в течение целого печатного листа ехал по степи. Я только хочу сказать, что таково мое теперешнее настроение. Многое из того, что тут помещается, я долгие годы собирался «развить», обставить психологией, описаниями природы, бытовыми подробностями, разогнать листа на три, на четыре, а то и на целый роман. А теперь вижу, что все это было совершенно ненужно, что нужно, напротив, сжимать, стискивать, уважать и внимание и время читателя.

Здесь, между прочим, помещено много совсем коротких заметок, иногда всего в две-три строчки. По поводу таких заметок мне приходилось слышать возражения: «Это — просто из записной книжки». Нет, вовсе не «просто» из записной книжки. Записные книжки представляют из себя материал, собираемый писателем для своей работы. Когда мы читаем опубликованные записные книжки Льва Толстого или Чехова, они нам всего более интересны не сами по себе, а именно как материал, как кирпичи и цемент, из которого огромные эти художники строили свои чудесные здания. Но в книжках этих очень немало и такого, что представляет самостоятельный художественный интерес, что ценно помимо имени авторов. И можно ли обесценивать подобные записи указанием на то, что это — «просто из записной книжки»?

Если я нахожу в своих записных книжках ценную мысль, интересное на мой взгляд наблюдение, яркий штрих человеческой психологии, остроумное или смешное замечание, — неужели нужно отказаться от их

воспроизведения только потому, что они выражены в десяти — пятнадцати, а то и в двух-трех строках, только потому, что на посторонний взгляд это — «просто из записной книжки»? Мне кажется, тут говорит только консерватизм.

СЛУЧАЙ НА ХИТРОВОМ РЫНКЕ

В Москве, между Солянкой и Яузским бульваром, находился до революции широко известный Хитров рынок. Днем там толокся народ, продавал и покупал всякое барахло, в толпе мелькали босяки с жуликоватыми глазами. Вечером тускло светились окна ночлежных домов, трактиров и низкопробных притонов. Распахивалась дверь кабака, вместе с клубами пара кубарем вылетал на мороз избитый, рычащий пьянчуга в разодранной ситцевой рубашке. Ночью повсюду звучали пьяные песни и крики «караул».

В чулане одного из хитровских домов был найден под кроватью труп задушенного старика. Дали знать в полицию. Приехали товарищ прокурора и судебный следователь. Под темной лестницей, пахнущей отхожим местом, — чулан при шапочном заведении. Поверху проходит железная труба из кухни заведения — единственное отопление чулана. Чулан тесно заставлен мебелью. Под железной кроватью труп задушенного старика с багровым лицом. Ему хозяин шапочного заведения сдавал под жилье чулан. Все вещи целы. В комоде найдена жестянка, в ней семнадцать рублей с копейками. Не грабеж. Кто убил?

Много помог следствию городовой, давно служивший в той местности; все взаимоотношения, романы и истории рынка были ему хорошо известны. Найти виновника преступления оказалось очень нетрудно.

Убитый старик был когда-то начальником крупной железнодорожной станции, спился, попал на Хитров рынок. Под старость стал пить меньше. Скупал по тридцать, по сорок копеек старые шерстяные платья и из лоскутьев шил шикарные одеяла для хитровских красавиц, зарабатывал по шестнадцать — восемнадцать рублей в месяц. Считался богачом, имел постоянный заработок, свой угол.

Допрос свидетелей. Как будто раскрылся пол, и из

подполья полезли жуткие, совершенно невероятные фигуры в человеческом обличье. Хозяин шапочного заведения, у которого убитый нанимал чулан, старик лет пятидесяти. Был очень пьян, пришлось отправить в участок для вытрезвления, и допросить его можно было только на следующий день вечером. С опухшим лицом, сидит, сгорбившись, в лисьей шубе. И вдруг начал икать. Это было что-то ужасное. Как будто все внутренности его выворачивались. Умоляет дать водки, чтобы опохмелиться.

Спрашивают об убитом. Он очень уклончиво. Ничего путного нельзя добиться. Наконец сознался.

— Я его ни разу не видал.

— Как не видали? Он у вас уже пять месяцев жил!

— Извините! Я шесть месяцев без просыпу пьян. Как сукин сын, извините за выражение.

Оказалось, действительно все время пьет. Днем в трактире, вечером возвращается — спать. Ночью проснется, хрипит: «Водки!» Жена ему вставляет в рот горлышко бутылки. Утром проснется, опять: «Водки!» Встанет и идет в трактир. Дома только спит, пьет водку и бьет жену.

Пришлось для допроса призвать жену. Она кажется много старше своих лет, управляет мастерской, нянчит ребят, покупает мужу водку. На лице глубокое горе, но совершенно замороженное. Рассказывает обо всем равнодушно.

Прежняя любовница убитого: бабища лет пятидесяти, толщины неимоверной, красная, вся словно налита водкой. Спрашивают у нее имя ее, звание. Она вдруг:

— Je vous prie, ne demandez moi devant ces gens-là![1]

Оказывается: дочь генерала, окончила Павловский институт. Вышла несчастно замуж, разъехалась, сошлась с уланским ротмистром, много кутила; потом он ее передал другому, постепенно все ниже, — стала проституткой. Последние два-три года жила с убитым, потом разругались и разошлись. Он взял себе другую.

---

[1] Я прошу вас не допрашивать меня в присутствии этих людей! *(фр.)*

Вот эта другая его и убила.

Исхудалая, с большнми глазамн, лет тридцатн. Звали Татьяной. История ее такая.

Молодой девушкой служила горнячной у богатых купцов в Ярославле. Забеременела от хозяйского сыиа. Ей подарнли шубу, платьев, дали немножко денег и сплавили в Москву. Роднла ребенка, отдала в воспнтательный дом. Сама поступила работать в прачечную. Получала пятьдесят копеек в день. Жила тихо, скромно. За три года прннакопнла рублей семьдесят пять.

Тут она познакомнлась с известным хитровским «котом» Игнатом н горячо его полюбила. Коренастый, ио прекрасно сложенный, лнцо цвета серой бронзы, огненные глаза, черные усики в стрелку. В одну неделю ои спустил все ее деньги, шубу, платья. После этого она из своего пятидесятнкопеечного жалованья пять копеек оставляла себе иа харчи, грнвенннк в ночлежку за иего и за себя. Остальные тридцать пять копеек отдавала ему. Так прожнла с ннм полгода и была хорошо для себя счастлива.

Вдруг он нсчез. На рынке ей сказали: арестован за кражу. Она кннулась в участок, рыдая, умоляла допустить ее к нему, прорвалась к самому приставу. Городовые наклалн ей в шею и вытолкалн вон.

После этого у иее — усталость, глубокое желание покоя, тнхой жнзни, своего угла. И пошла на содержаиие к упомянутому старику.

Паспорту Татьяны вышел срок. Старнк отобрал его и от себя послал на обмен. Она осталась без паспорта и не могла уйтн от старика. Вдруг воротился Игнат. Оказалось, он был арестован не за кражу, а только за бесписьменность: выслали этапом на родину, он выправил паспорт и воротился. Рыночные бабенки сейчас же сообщилн Татьяне. Она отыскала его, радостно кннулась навстречу. Он засунул руки в карманы:

— Чего тебе иадо?

Она остолбенела.

— Отыска-ала!.. На что ты мне такая? Худая как холера. Я и тогда-то с тобой так только жил, от скукн. Скажнте пожалуйста: за такого мальчнка — тридцать пять копеек! Я себе богатую найду.

Еле наконец до нее снизошел. Но она н тому была

рада. Он ее бил, измывался, отбирал все деньги. И все попрекал стариком.

— Старика своего любишь, — ну и иди к своему старику.

А она уйти от старика не могла: паспорт у него. А беспаспортную вышлют. А Игнат все измывался и утверждал, что она больше любит старика, чем его.

Татьяна вскочила:

— Ну, я ж тебе докажу, что больше люблю тебя!

Побежала домой и задушила спавшего старика.

И вот стали ее допрашивать. Худая, некрасивая, в отрепанной юбке, глаза волчонка, смотрит исподлобья. От всего отпирается. Вдруг какой-то произошел перелом — и во всем созналась. Рассказывает о своей любви к Игнату, и вся преобразилась. Глаза стали большие, яркие, целые снопы лучей посыпались из них, на губах застенчивая, мягкая улыбка. Как красива становится женщина, когда любит!

Старик следователь, раздражительный и сухой формалист, вначале грубо покрикивал на нее, но, как подвигался допрос, становился все мягче. А когда ее увели, развел руками и сказал:

— Вот не думал, чтоб на Хитровом рынке могла быть такая жемчужина!

Товарищ прокурора, уравновешенный, не старый человек, в золотых очках, задумчиво улыбнулся:

— Да-а... «Вечно женственное» в помойной яме!

Стали допрашивать Игната. Держится в высшей степени благородно, приводит всяческие улики против Татьяны, полон негодования.

— Дозвольте вам доложить: шкура и больше ничего-с! Какое безобразие, ну скажите, пожалуйста! За что она старичка?

В один из допросов, когда товарищ прокурора допрашивал Игната, из соседней комнаты, от следователя, вышла Татьяна. Вдруг увидала Игната, вспыхнула радостью, подошла к нему, положила руки на плечи:

— Ну, Игнат, прощай! Больше не увидимся: я на каторгу иду.

Он дернул плечом, отвернулся и презрительно отрезал:

— Пошла прочь... Стерва!

Товарищ прокурора вспыхнул и возмущенно крикнул:

— Сукин ты сын!.. Негодяй!

Городовые и те негодующе замычали. Стоявший в дверях следователь злобно плюнул.

Она низко опустила голову и вышла.

ДВА ПОБЕГА

Звали ее Димка. Она не раз уже сиживала в тюрьме, была в ссылке. Из ссылки бежала за границу. В 1902 году нелегально приехала в Россию по делам «Искры» с поручением объехать юг и наладить связи.

В Кременчуге ее арестовали и отправили в Киев.

Приехали поздно вечером. Тотчас же, прямо с вокзала, ее повезли на допрос в жандармское управление. Начальником управления был генерал Новицкий, очень в свое время известный охранник. Он сам стал допрашивать Димку. Паспорт у нее был подложный, на имя восемнадцатилетней немки, а Димке было уже тридцать два года. Отпираться было нелепо, она прямо заявила, что паспорт подложный, что настоящая ее фамилия такая-то.

Новицкий очень обрадовался, думал, — она и дальше станет на все отвечать. Но Димка заявила:

— А больше ни на какие вопросы отвечать не буду.

И замолчала, как утонула. Новицкий подходил и так и сяк, но ничего не смог добиться и велел отвезти ее в тюрьму.

Тюрьма называлась Лукьяновская, стояла за городом. Порядки, к изумлению Димки, оказались в ней самые свободные, — нигде она еще не видела такой тюрьмы. Двери камер не запирались, политические заключенные ходили друг к другу в гости, прогулки были общие.

Из разговоров товарищей по заключению Димка узнала, что группа заключенных подготовляет для себя побег из тюрьмы. Димка заявила, что хочет к ним присоединиться. Но те ей отказали: корпус, в котором сидела Димка, был на другом конце тюрьмы, и участие Димки сильно бы затруднило побег.

Бежали без нее. Побег удался блестяще. Перед этим заключенные усиленно занимались на прогулках будто бы гимнастикой: упражнялись в лазании, взби-

рались друг другу на плечи, устраивали живые пирамиды. С воли удалось получить якорь с длинной веревкой и веревочную лестницу. Подпоили одного часового, связали другого, среди бела дня перебрались через высоченнейшую стену и убежали. Было их тринадцать — четырнадцать человек.

Легко себе представить, какие после этого пошли в тюрьме строгости. Все вольности были отменены, надзор стал самый жестокий и придирчивый. И все-таки Димка решила бежать, хоть одна. Инициатива у нее была огромная, энергией она вечно так и кипела. Самое для нее трудное и самое невыполнимое было сидеть сложа руки. Это ее свойство было известно всем товарищам. Лет пять назад, когда она сидела в петербургской предварилке, она просто изводила всех нас непрерывными проектами и поручениями, совершенно нелепыми и неисполнимыми, но в них она изливала закупоренную заключением неистощимую свою предприимчивость. Так было и теперь. Вырваться на волю, во что бы то ни стало! Желание овладело ею неудержимое, болезненно-страстное. Как сокол или ласточка, она просто органически не выносила неволи. Каждую ночь ей снился все один и тот же сон: солнце, шумящие улицы, быстро снующие кругом люди, она свободно идет, куда хочет. Проснется — и со страхом медленно приоткроет глаза: сон это был или нет? Перед глазами — грязный сводчатый потолок, решетка на пыльном окне...

Один за другим она измышляла самые хитроумные планы бегства и с большими трудностями передавала их на волю товарищам. Предложила, например, так. С нижней площадки лестницы в жандармском управлении одна лестница ведет на двор, — так выводили заключенных, а другая — к парадному ходу, на улицу. Пусть на улице ее поджидает товарищ, переодетый извозчиком. Она с нижней площадки быстро выбежит на улицу, вскочит на извозчика, и он ее умчит. Товарищи на воле отвергли проект.

Димка тотчас же предложила другой проект, третий. При данных обстоятельствах само намерение ее по существу было чистейшим безумием: какой был возможен побег при начавшейся слежке и самых придирчивых строгостях? Во главе киевской организации в то время стоял Степан Иванович, хорошо знавший

Днмку еще по Петербургу. Он велел ей сказать: «Умела гулять на воле, умей н в тюрьме посидеть». И решительно попросил не пересылать больше никаких проектов.

Тогда Димка решила бежать сама, собственными силами, без посторонней помощи.

И начала систематически готовиться. Прежде всего нужно было сделать разведку местности — бежать она собиралась из жандармского управления. До тех пор на допросах она молчала. Теперь вдруг заявила, что хочет дать показания. Ее повезли в карете в жандармское управление. Оно находилось на дворе Старокиевского полицейского участка. Дала кой-какие незначительные показания, а для себя выяснила обстановку и окончательно наметила план действий.

Самое важное и существенное в ее плане было научиться моментально менять свой внешний вид. Нескольких товарок по заключению она посвятила в свой план. Достали с воли нужные материалы. Больше месяца Димка усердно упражнялась в своей камере все время, когда не видела надзирательница. Наконец достигла значительной ловкости. Решила приступить к выполнению плана.

В этих целях было важно, чтобы тюремная карета, когда привезет ее в жандармское управление, не осталась стоять на дворе полицейского участка. Это могло быть в том случае, если к допросу назначалось несколько человек: в карете возили обязательно по одному только человеку; значит, если нужно было доставить нескольких, карета доставляла одного и сейчас же уезжала за другим. Если же всего был один, карета оставалась ждать его на дворе.

Вот раз Димку вдруг вызывают к допросу. Это было в понедельник, тринадцатого числа,—какого месяца, она точно не помнит. Димка спросила надзирателя:

— Одна я назначена на допрос или еще и другие?

— Вы одни.

Она решительно заявила:

— Не поеду. У меня голова болит. Да и башмаков нету, отдала в починку, не в чем ехать.

Надзиратель пошел доложить начальству об ее отказе.

Одна из товарищей по заключению, знавшая о намерениях Димки, опасливо сказала:

— И правда, лучше не ездите сегодня: понедельник, тринадцатое число... Отложите на другой раз.

Димка так и взвилась.

— Почему непременно для меня это будет неблагоприятно? А может быть, как раз для них? И будут говорить: вот, недаром, тогда был понедельник и тринадцатое число... Еду!

И стала готовиться. Надела темно-синюю юбку. К волосам приколола изящную фетровую шляпку.

Надзиратель воротился и передал Димке решительный приказ начальства ехать, не то... Димка насмешливо ответила:

— Хорошо, поеду. У меня голова прошла.

Ее охватило лихо-задорное настроение, ничего впереди не пугало, пусть хоть весь мир пойдет на нее, пусть никто ей не помогает! А в душе в то же время было ледяное спокойствие.

Когда садилась в карету, сказала надзирателю:

— Прощайте! Больше к вам не ворочусь.

Он с сомнением покачал головой.

— Навряд ли отпустят.

— Отпустят, не отпустят, а к вам не вернусь, вот увидите!

На допросе она глумилась и издевалась над жандармами. Генерал Новицкий пил воду стаканами, несколько раз в бешенстве выбегал из комнаты. Наконец приказал:

— Уберите ее!

Два жандарма вывели Димку. Она быстро стала спускаться по лестнице. Жандармы еле за нею поспевали. Направо от лестничной площадки была комната, где держали привезенных из тюрьмы до и после допроса. Димка мимо дверей побежала вниз. Жандарм ей крикнул:

— Эй, барышня! Направо, в комнату!

Она властно ответила:

— Незачем! Вон она, карета, стоит. Можно прямо ехать.

На дворе у подъезда ждала тюремная карета. О радость! Возле никого не было — ни кучера, ни третьего жандарма: мела метель, морозный ветер гонял по двору колючий снег, — видимо, ушли куда-нибудь греться.

Один из жандармов пошел их искать, другой остался стеречь Димку.

Она сказала, что ей нужно в уборную, и пошла к деревянной будочке женской уборной в глубине двора. Жандарм пошел за нею следом и остановился у двери. Она вошла в уборную.

И как только дверь за Димкой захлопнулась, она сейчас же опять раскрылась, и из уборной выбежала кокетливая девушка в голубом платочке, в серой юбке. Семеня ногами, она неспешной походкой направилась к воротам. Жандарм потом рассказывал: «Я думал, это горничная полицмейстера».

Стоял он, стоял, ждал, ждал. Димка все не выходит. Он забеспокоился, приоткрыл дверь, заглянул — никого. Вошел в уборную. На полу синяя юбка, фетровая дамская шляпка. И никого нет. Остолбенел, потом бросился к дыре, туда заглянул. Нет нигде. Поднял с полу юбку и шляпку, вышел наружу. Растерянно ходит по двору, на руках юбка с шляпкой, и твердит:

— Куда же это наша барышня подевалась?

Когда Новицкому доложили о побеге, он в ярости выбежал на двор в одном мундире, велел всех жандармов, всю полицию сию же минуту двинуть на розыски Димки.

Димка выбежала в новом своем виде из уборной, семенящей походкой направилась к воротам. Там была еще одна очень большая опасность. У ворот — Димка знала — стоит часовой, и выйти можно только с пропуском. Но очевидное дело: понедельник и тринадцатое число были сегодня для *них*. Часовой от метели и ветра спрятался в будку и не заметил Димки.

Димка взяла извозчика и поехала на Крещатик. В душе было холодное, дерзкое, владеющее собою спокойствие. Ветер мел по мерзлым улицам сухой снег. Женщины шли, кутаясь в платки, торчали только носы. Вот хорошо! Нужно сейчас же купить такой платок. Закутаться, и тогда иди спокойно. И вдруг ее охватило глубокое волнение. На Крещатике отпустила извозчика, вбежала в магазин.

— Дайте мне платок.

Приказчик взглянул с изумлением.

— Какой платок?

— Байковый, побольше размером.

Оглянулась, — кругом окорока, колбасы, консервы.

Вышла, села в первую попавшуюся конку. По улице скакали городовые и жандармы, внимательно вглядывались в проходящих.

Конка привезла ее на Подол. Димка зашла в еврейскую лавочку, купила байковый платок. Закуталась, вышла. Кругом люди разговаривают, смеются, бранятся, торгуются. Каждый идет, куда хочет. И она может идти, куда хочет. И вдруг все вокруг стало какое-то странное, невсегдашнее. А вслед за этим душу ошеломила неожиданная мысль: может быть, как все это время, опять — сон? Откроет глаза, и будет опять перед нею запыленное окно с решеткой, каменный сводчатый потолок? Ужас шевелился в душе и ликующий смех.

Однако куда же теперь? У нее был только одинединственный адрес — Афанасьевых. Милая семья из матери и двух дочерей. Одна дочь сидела в тюрьме, а мать и другая дочь делали передачи в тюрьму, переправляли с воли и на волю письма. Кого выпускали из тюрьмы, если ему некуда было деться, направлялся к ним. Место было очень опасное: конечно, полиция прежде всего должна была броситься к Афанасьевым. Но выбора не было.

Пошла. Понедельник и тринадцатое число продолжали работать на Димку: полиция к Афанасьевым не заглянула. Димка попросила поскорее поехать, сообщить товарищам об ее побеге. Сказала, что будет ждать в Софийском соборе.

Пришла в собор. Софийский собор открыт для посетителей целый день. Димка ходила, смотрела, садилась отдохнуть, опять ходила. Никто не являлся. Она с утра не ела. От голода и пережитого волнения начала кружиться голова. Упадет в обморок, обратит на себя внимание... Всю силу воли направила на то, чтоб не упасть.

Стемнело. Началась всенощная. Димка стояла перед образом, крестилась. Видит, молодая худолицая женщина ходит от образа к образу, поставит свечку, перекрестится, идет дальше. Лицо как будто знакомое. Подошла к образу, где стояла Димка. Тонкое чернобровое лицо, румянец на смуглых щеках, — Вера Саломон. Переглянулись. Вера поставила перед образом свечку, стала рядом с Димкой, начала усердно креститься и отвешивать поклоны. И шепнула:

— Когда пойду, идите за мной следом.

Вышли из собора. Их ждал извозчик. Поехали на квартиру к профессору Тихвинскому. Туда уже раньше пришел Степан Иванович. Он жарко расцеловал Димку и изумленно сказал:

— Ну и чертова же кукла!

В тюрьме бегство Димки вызвало всеобщий восторг. Не меньше заключенных торжествовало и тюремное начальство: ему сильно нагорело за недавний побег политических из тюрьмы. А теперь сами там упустили политическую, да еще как позорно!

Димку недели через две-три переправили за границу. Упустивший ее жандарм был отдан под суд и присужден к нескольким годам дисциплинарного батальона. Там его распропагандировали, и он сделался революционером. Через выпущенного товарища он переслал Димке письмо и благодарил, что через нее стал человеком. Для Димки это была большая радость: ее очень мучило, что солдат пострадал из-за нее.

И еще был у нее один побег, тоже в Киеве. Это случилось уже в 1904 или 1905 году.

Шла конференция районных организаций — конечно, подпольная. Собирались у одного сочувствующего. Он имел отдельную квартиру. Большая комната в нижнем этаже, натискалось человек пятьдесят. Доклады, споры, табачный дым. Интеллигенты, рабочие.

Вдруг двери настежь, жандармский офицер, за ним городовые; под окнами тоже полиция. Потребовали паспорта, стали всех переписывать. Записанные должны были переходить в соседнюю комнату той же квартиры. Народу было много, запись тянулась медленно.

Записали Димку (паспорт ее опять был подложный). Вошла она в соседнюю комнату. Была поздняя ночь. На середину комнаты вышел один из товарищей, потягивается:

— А-а-ах-ха! Пока что, — великолепно выспался!

Димка изумилась:

— Зачем же вы встали?

В темном углу комнаты стояли рядом две кровати.

На одной спал закутанный в одеяло мальчик лет семи, на другой дремала одна из арестованных. Полежала, встала, отошла. Димка поспешно легла на постель, укрылась одеялом, лицом кверху. Решила не двигаться и не отзываться на зов жандарма. Даже и риска-то не было никакого: «Заснула, не слыхала».

Вошел в комнату полицейский пристав, громко скомандовал:

— Собирайся!

Одна из арестованных увидела Димку на кровати, подошла, стала будить:

— Вставайте, нужно идти!

Димка свирепо заморгала ей глазами. Отошла. Но подошла другая, — ведь вот дуры! Опять:

— Вставайте, все уж в сборе!

Димка прошипела:

— Ступайте к черту!

Комната опустела. Вошел жандарм, осмотрел все углы. Димка лежала, закутавшись в одеяло, лицом кверху, с закрытыми глазами, и тихонько похрапывала. Жандарм заглянул под ее кровать, для верности пошарил даже шашкой и ушел. Арестованных увели. Утихло. Но все ли ушли жандармы и полицейские? Вошел в комнату хозяин. Его почему-то арестовали только на следующий день. Увидел Димку, удивился. Она вопросительно указала на дверь. Он подошел, шепнул:

— Остался один. Сидит, приводит в порядок бумаги.

Очень долго сидел. Димка начинала волноваться: в тюрьме должно выясниться ее отсутствие, хватятся, станут искать, воротятся. Уже хотела лезть в окно. Но вошел хозяин, объявил:

— Убрался!

И черным ходом вывел ее через задний двор на волю.

Потом Димка узнала: когда все вышли из квартиры, им сделали на дворе перекличку. За Димку откликнулась другая. За воротами тюрьмы вторую сделали перекличку. За Димку опять откликнулась товарищ. Выяснилось ее отсутствие только тогда, когда арестованных стали разводить по камерам.

Их всех освободила только революция осенью 1905 года. А Димка в это время сама делала революцию в Севастополе.

МИМОХОДОМ

Было это последним летом в Крыму.

Секретарь местного сельсовета — молодой партиец — и приезжая журналистка разговорились. Вот ведь какая нелепость: в дачный поселок съезжается летом самая отборная интеллигенция; отдыхают, жарятся под солнцем на пляже, купаются, гуляют, флиртуют; а тут же рядом — темная деревня, безграмотная, дикая, живущая только хулиганством, пьянкой и абортами. Как бы было хорошо учредить Общество шефства дачного поселка над деревней. Пусть бы профессора читали крестьянам доступные лекции по своей специальности, в клубе выступали бы певцы, музыканты, артисты, писатели.

Секретарь сельсовета добавил:

— А для начала — хоть бы библиотеку нашу привели в порядок. Книг много, тысячи полторы, но все кучами навалено в шкапах, каталога нету, всякий берет из шкапов что хочет и не возвращает. Расхода на избача нам не утвердили, но пусть бы только привели библиотеку в порядок; я уж сам, если никто не пожелает, буду выдавать книги два раза в неделю. — И прибавил с улыбкой: — Работы так много, что и не заметишь, больше ли ее на два лишних часа в неделю.

И журналистка сказала:

— Да, конечно! Здесь отдыхает масса молодежи, вузовцев; найдутся и библиотекарши. Всякий с охотою пойдет, поработает часа два-три в день. С миру по нитке, а глядишь, — к осени библиотека будет приведена в порядок.

Стали они вдвоем обходить дачников и предлагать основать общество. Первым делом пришли к известному одному профессору, автору книги «Кант и диалектика». Он со смеющимися глазами выслушал их.

— Сомневаюсь, чтоб многие откликнулись на ваш призыв. Публика инертна, приехала сюда отдыхать... Впрочем, все дело в активном ядре. Удастся вам подобрать человека три-четыре энергичных, — ну, что-нибудь сделаете. Что меня касается, то, конечно, много времени я на это отдавать не могу, но лекцию-другую прочту с удовольствием.

И все другие дачники выразили свое принципиальное согласие. Образовали инициативную группу. Инициативная группа собрала общее собрание. На собрание пришло восемь человек, но причины были совершенно случайные: как раз в этот день в сельской школе шел вечер самодеятельности, и многим интересно было его поглядеть, многие уехали в экскурсию. Решено было созвать новое собрание через неделю.

Утром журналистка лежала на пляже. Рядом с нею одевалась девушка с загорелым телом. Оделась, приладила к спине заплечный мешок, взяла рогатую палку. Спросила журналистку:

— Скажите, товарищ, есть тут в деревне библиотека-читальня?

— Есть. Только в большом беспорядке, поэтому книг теперь не выдают. Как раз собираемся привести ее в порядок.

И журналистка с одушевлением рассказала об Обществе шефства над деревней.

Дивчина сказала:

— День-другой я могла бы у вас поработать. Куда мне обратиться?

— Спросите в сельсовете секретаря сельсовета, он вам покажет. А вы здесь живете?

— Нет, иду из Феодосии.

У ней были короткие, невьющиеся русые волосы, светлее загорелого лица, нос немножко загнут кверху. Белая физкультурка, обшитая красным, шаровары, засученные до паха, крепко загоревшие руки и ноги. Сотни таких дивчат можно видеть летом в южных домах отдыха. На вид ей было лет семнадцать — такое у нее было молодое лицо. Но оказалось, она уже кончает вуз в Ленинграде и пишет дипломную работу по математике. Летом была на практике, консультантом-математиком на одном южном заводе. Накопила там деньжат и решила обойти пешком Крым, от Феодосии до Севастополя.

Пришла дивчина в сельсовет, спросила секретаря. Был он молодой парень с узким лицом и высоким лбом, в голубой майке, с низким вырезом на груди.

— Мне там на пляже сказали, что у вас есть работа в библиотеке.

Секретарь замялся.

— Есть-то есть. Только работа большая. Тысячи

полторы книг в полном хаосе. Нужно привести в порядок. И потом... платить мы за работу не можем.

— Я вас про это не спрашиваю. Покажите, я посмотрю.

Секретарь ввел ее в боковую комнатушку с запертым пыльным оконцем. Раскрыл шкапы. Дивчина сейчас же достала пачку книг и, разговаривая с секретарем, стала ее разбирать.

— Да, работа не маленькая. Ну, хорошо. Поработаю..

И тут же взялась за работу. Это было утром. Часа в три сбегала на базар, купила помидоров и огурцов, съела с хлебом, это был ее обед. Проработала до ночи.

Секретарь с удивлением приглядывался к ее несуетливо-быстрой работе. Она коротко сказала:

— Спать я тут останусь.

— Ну, где тут, что вы! Мы вам отведем комнату. Вы для нас работаете, вправе же вы хоть отдохнуть. А тут душно и пыльно; да и устроиться негде.

— На столе устроюсь. Не надо комнаты. А вот это я у вас попрошу. По карточке я получаю триста граммов хлеба. — И вдруг она виновато улыбнулась. — Никак на это нельзя быть сытой целый день. Дайте мне разрешение на шестьсот граммов. Это будет очень хорошо.

Секретарь понял: с монетами было у дивчины туговато; питается она, видимо, одним хлебом с помидорами; конечно, этак на триста граммов хлеба сытым не будешь.

Обещал вопрос насчет хлеба уладить. Она разостлала на столе плащ, вместо подушки положила заплечный мешок. Он пожелал ей доброй ночи.

С утра она уже опять работала. В соседней комнате секретарь производил регистрацию вновь прибывших дачников. Между прочим, две библиотекарши из Москвы. Дивчина наша услыхала, вышла, попросила библиотекарш зайти к ней. Объяснила, в чем дело, и предложила помочь. Говорила, а сама в это время резала бумагу для библиотечных карточек. После обеда библиотекарши пришли, и стали они работать втроем.

На следующее утро пришел секретарь в сельсовет. В библиотечной комнате шум, галдеж, смех. Заглянул. Сидят за столом восемь ребят-школьников и наклеи-

вают ярлычки на корешки книг. Работают, как играют. Дивчина с серьезным лицом рассказывает им что-то смешное, и они хохочут. Приспособила к работе также двух местных ребят-комсомольцев. Так было весело, что у секретаря грустно и сиротливо стало на душе: хотелось замешаться в эту веселую, кипящую работой толпу и с нею вместе работать изо всех сил и смеяться.

На третий день к вечеру все было кончено. Дивчина сказала, что завтра рано утром пойдет дальше, а сейчас отправится с комсомольцами кататься по морю на лодке.

Рано утром секретарь встал, чтоб проводить ее, подошел к сельсовету и видит: дивчина спустилась с крылечка с тазом грязной воды, выплеснула таз под куст дикой маслины и стала развешивать на перилах мокрые тряпки. Секретарь изумился. Что это? На прощание она еще вымыла в библиотеке пол!

Секретарь взволнованно глядел на нее и сказал сконфуженно:

— К сожалению, товарищ, мы не можем заплатить вам за вашу работу, у нас на это не отпущено средств.

— Я же вам сказала, — я и не прошу. До Алушты хватит денег дойти. А там устроюсь работать на виноградниках. Два рубля за день. Проработаю с неделю, — четырнадцать рублей. Работу на виноградниках я знаю.

Секретарь подумал и сказал:

— Ну, хоть вот что: мы вам выдадим справку от Совета, что вы здесь три дня занимались самой интенсивной общественной работой. Вы ведь знаете, — такая справка очень сейчас важна, особенно для учащихся.

Она поглядела ему в глаза, засмеялась, махнула рукой и, с заплечным мешком на спине, зашагала по шоссе к Судаку.

Через две недели состоялось общее собрание членов Общества шефства дачного поселка над деревней. Избрано было исполбюро в составе семи человек из наиболее активных дачников и крестьян. Через неделю собралось исполбюро, выбрало председателя, секретаря и постановило выработать план работ. Через две недели собрались снова, обсудили план и постановили: ввиду окончания лета и начинающегося

разъезда дачников отложить работу до начала будущего сезона, а тогда взяться за дело с максимальной энергией.

ВАНЬКА

Большой мой приятель. Ему лет семь, не так давно из деревни. Крепкий, приземистый мужичок с большой головой, на щеке шрам: года два назад, в деревне, подошел сзади к жеребенку и хлестнул по ноге прутиком, а жеребенок его лягнул в лицо.

Идем по улице.

— Это солнце и в деревне светит?

— Да.

— Как же она одна хватает?

Смешно? А когда древний человек впервые задал себе такой вопрос, — родилась астрономия.

— Игде солнышко живет? Она под землей схораниватся? Она что же, живая?

Очень любит маленьких ребят.

— Когда буду большой, у меня тоже дети будут. (Вздохнул.) Только вот не знаю, — как их сродить?

Спрашивает мать:

— А когда ты меня сроднла, яйцо, чай, вот какое было, — с собаку?

Спрашивает меня:

— Ты что больше любишь — мармалад или меня?

— Тебя.

Изумился.

— Шутишь!.. Почему?

— Мармелад съешь, и его не будет. А ты вырастешь, — может быть, хорошим человеком станешь: ребенка от собак отобьешь, человека вытащишь из воды.

Высоко поднял брови, обдумывает. Спрашиваю:

— Ну, а ты кого больше любишь — меня или мармелад?

— Тебя. Мармалад съешь, ничего не останется, а ты... э... э... ты — вона какой!

Изводит вопросами:

— Ты что больше любишь — яблоко или гулять?

Я ему в ответ:

— Ты что больше любишь — яблоко или клопа?

— Яблоко. А ты?

Сердито:

— Клопа.

— Клопа? (Подумал.) Ну и ешь его!

— Как тебе, Ванька, не стыдно? Какие ты дурацкие вопросы задаешь!

Это было за обедом. И он вдруг:

— Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется!

— Завтра мамушка из деревни приедет.

— Ты рад?

— Да. Она мне яблок привезет.

— А если яблок не привезет, будешь рад?

— Ну... Тогда чего другого привезет.

— А если совсем ничего не привезет? Самой ей будешь рад?

Неуверенно:

— Б-буду... (Подумав.) Нет, все-таки чего-нибудь привезет.

Мать водила его на могилу умершего отца. Ванька заявил, что больше не будет ходить.

— Почему?

— Чего ходить? Он мне коньков не покупает, конфет не приносит.

Мать и тетки:

— До чего умный мальчонка!

— Я бы шофером хотел быть. Да не на что будет жить: платить не станут.

— Почему не станут платить?

Ванька удивился:

— За что же платить?

— Ты, Ванька, хочешь помереть?

— Не! Я бы все жил ба!

ДРУЗЬЯ В МАСКАХ

Есть ученые биологи-педанты, типичные гетевские Вагнеры. Они называют себя дарвинистами, но, когда речь заходит о душевной и умственной деятельности животных, строго сдвигают брови и предостерегающе напоминают, что нельзя приписывать животным наших чувств и мыслей, что у них это только инстинкты, условные рефлексы. Вот, например, немецкий биолог А. Беете. Он решительно утверждает, что животные — простые «рефлексные машины»: они ничего не переживают, ничем не огорчаются, ничему не радуются, не способны ни к каким умозаключениям.

Дарвин ввел человека в огромную родственную семью животных, показал, что нет извечной, качественной разницы между человеком и животным, что все человеческие свойства путем длительной эволюции развились из свойств, присущих животным. Для нас возможна только точка зрения, какую, например, высказывает Гексли: «Великое учение о непрерывности не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного перехода. Неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, тою частью мозга, которую мы имеем все основания у себя самих считать органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные переживают в более или менее определенной форме те же чувства, которые переживаем и мы».

Ни один живой человек, сколько-нибудь имевший дело с животными, не согласится, конечно, с педантическою безглазостью ученых, подобных Беете. Слишком такой человек чувствует живую «душу» животного. Тем менее сможет согласиться художник. Почитайте Льва Толстого, как он постоянно в восторге повторяет про лошадь или собаку: «Только не говорит!» Почитайте Пришвина.

В этой главе «Невыдуманных рассказов» у меня только пригоршня рассказов самой строгой, проверенной невыдуманности из огромных залежей наблюдений, которыми могли бы поделиться сотни тысяч людей, любящих природу и животных.

1

Если внимательно глядеть кругом, — приходится изумляться на каждом шагу. Вошел в подъезд нашего дома, поднимаюсь к себе по лестнице. Мне навстречу серый кот из соседней квартиры. Я его иногда прикармливаю. Мяукает, поглядывает на меня и бежит вниз. Остановится, поглядит и бежит вниз дальше. Я пошел следом. Он подбежал к двери, ведущей на двор, глядит на меня, мяукает. Я открыл дверь, и он выбежал.

Кот совершенно определенно *просил* меня выпустить его на двор. Какой дикий зверь знает *просьбу?* Может взять — берет. Не может — смиряется. Но чтобы обратиться к живому существу и ждать, что оно, без всякой для себя пользы, сделает что-то зверю нужное, — это ему не может прийти в голову.

Вообще человек среди зверей — существо совершенно особенное. Общение с ним зверей (так называемых домашних животных) создает в них навыки существенно особенные, которые невозможны при общении их с какими другими животными. На домашних животных можно ясно наблюдать пробуждение и растущее развитие такой умственной и душевной деятельности, которая роднит их с человеком и совершенно чужда диким зверям.

2

У нас в Туле была кошка. Дымчато-серая. С острою мордою — вернейший знак, что хорошо ловит мышей; с круглой мордочкой — такие кошки больше для того, чтобы ласкаться к людям и мурлыкать. Кошка эта ловила мышей с удивительным искусством. И — никогда их не ела. И совершенно по-человечески знала, что, поймав мышь, сделала нечто заслуживающее похвалы. Она появлялась с мышью в зубах и, как-то особенно, призывно мурлыкая, терлась о ноги мамы. Уже по этому торжествующему, громкому мурлыканью все мы узнавали, что она поймала мышь. Мама одобрительно гладила кошку по голове; кошка еще и еще пихала голову под ее руку, чтоб еще раз погладили. Потом обходила всех нас, и каждый должен был ее погладить и похвалить. Потом она душила мышь, бросала и равнодушно уходила.

3

На окраине Боржома по откосу горы густо лепятся дома грузинского типа, с крытой галереей вдоль фасада, на которую выходят двери каждой из комнат. Был третий год Отечественной войны, голодали и люди, не только животные. Лежал на узеньком дворике перед домом неистово голодный, длинноногий черный пес. Он непрерывно чесался от одолевавших его блох и ласково вилял хвостом каждому входящему человеку, надеясь получить что-нибудь поесть. Ел он и человеческий кал, и помидорную кожицу, и огрызки яблок. Звали его Тузик.

На галерее нижнего этажа жила кошка с тремя котятами. Когда хозяева давали ей что-нибудь поесть, Тузик выходил из себя, лаял и прыгал к перилам. Кошка, кончив есть, садилась на перила. Тузик озлобленно бросался вверх на нее. Кошка щурилась и притворялась, что его не замечает, а когда морда пса оказывалась уже слишком близко, давала ему лапами несколько пощечин. Если хозяев на террасе не было, а дверца на двор не была закрыта, Тузик врывался на террасу и жадно поедал все, что было в кошачьей миске. Кошка сидела возле самой его морды и огорченно смотрела. Выходил кто-нибудь из хозяев.

— Тузик, это что?! Вон!

Пес поспешно удалялся, а кошка бросалась следом и била его лапами по заду.

Однажды утром пес уверенно, не боясь хозяев, взошел на галерейку и положил на пол дохлого котенка. Котенок был чужой. Положил и деловито удалился. Хозяин, смеясь, вышвырнул котенка на двор. Тузик внимательно поглядел на хозяина, подошел к котенку и с аппетитом съел.

Вот. Не съел сразу, как нашел. Увидел — и сделал умозаключение: подобные неприятные звери живут вон на той галерейке; наверное, и этот оттуда; надо отнести туда. С удовольствием сразу съел бы, но долгом своим почел отнести.

4

В Тбилиси, зимою 1943 года. Перед «хлебной точкой» стояли возле грузовой машины открытые ящики с привезенным хлебом. Возчики вносили их в магазин.

А у стены стоял ужасающе худой шершавый пес — все кости можно было видеть целиком, как будто на них ничего уже не было, кроме кожи. Казалось, он издохнет от голода не дольше, как через час-два. Пес грустно стоял и пристально смотрел на хлеб в открытых ящиках. Но в глазах его было написано:

Нельзя!

Возчики уходили с хлебом в магазин, можно было без большого риска схватить хлеб и скрыться. Но тут был не страх перед наказанием, перед побоями. Что все побои перед голодом! В голодный год я видел в Феодосии, как били на базаре человека, укравшего булку. Его били каблуками и палками, а он лежал ничком, втянув голову в плечи, не защищался и спешил съесть булку. Тут у пса был не страх перед наказанием, было что-то, более сильное и властное, чем даже голод, что-то совершенно непонятное дикому зверю и воспитанное в собаке человеком, — чувство долга:

Нельзя!

5

Мы катили на автомобиле по Сокольническому просеку. Впереди нас во весь опор мчался молодой доберман-пинчер. Было такое впечатление, что он отстал от хозяина и догоняет его.

Но вдруг пес остановился, подождал нашу машину, выравнялся с нею, взглянул на нас молодыми, ожидающими глазами, коротко лаянул и стрелою понесся вперед. И на бегу оглядывался: кто кого? Но шофер был солидный, перегоняться с собакою не захотел, и она далеко нас обогнала. Так три раза она делала, до самого Яузского моста. Подбегала к машине, выравнивалась и потом неслась вперед. Была всего удивительнее та добросовестность, с которою пес устраивал старт: бежал некоторое время точно вровень с машиною, потом давал лаем сигнал — и устремлялся вперед.

Через три часа мы ехали назад. Навстречу нам несся грузовик, а рядом с ним, высунув язык, мчался вперегонки неутомимый наш доберман.

6

Потешнейшая собачонка из породы малорослых косматых пинчеров. Безобразна она была до крайности. Длинная, косматая шерсть, спутанная, как войлок, от глаз волосы расходятся лучеобразно, глаза как будто совиные. Смешной какой-то черт. Великолепно ловила крыс.

Мне даже неловко писать, до чего она была умна. Никто не поверит. Сама безобразная, очень любила все красивое. Когда молодая девушка в семье надевала белое платье с красным поясом, собачонка садилась на задние лапы и часами любовалась ею. Сидит и смотрит. Любила и сама покрасоваться. И это было самое потешное. На косматую шерсть ее лба привязывали ярко-красный бантик. Она опрометью мчалась к трюмо, — да, да! бросалась к зеркалу! — оглядывала себя, потом садилась на подоконник открытого окна (жили они в нижнем этаже) и гордо сидела, выставляя себя на поглядение прохожим. Прохожие оглядывались на эту рожу, многие останавливались и хохотали. А она величественно сидела, гордая всеобщим вниманием.

7

У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. Рядом — куст бузины. На бузине сидели бок о бок два молодых воробья, совсем еще молодых, с пушком, сквозящим из-за перьев, с ярко-желтыми пазухами по краям клювов. Один бойко и уверенно перепорхнул на край кадушки и стал пить. Пил — и все поглядывал на другого, и перекликался с ним на звенящем своем языке. Другой, чуть поменьше, с серьезным видом сидел на ветке и опасливо косился на кадушку. А пить-то, видимо, хотелось — клюв был разинут от жары.

И вдруг я ясно увидел: тот, первый, — он уж давно напился и просто примером своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет страшного. Он непрерывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, захватывал воду и тотчас ронял ее из клюва, и поглядывал на брата, и звал его. Братишка на ветке решился, слетел к кадушке. Но только коснулся лапками сырого,

позеленевшего края — и сейчас же испуганно порхнул назад на бузину. А тот опять стал его звать.

И добился наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, все время трепыхая крылышками, и напился. Оба улетели.

8

В марте месяце 1911-го года я ехал на пароходе из Египта в Грецию. И необычная картина была на пароходе: на корме, заваленной товарами, сидела масса самых разнообразных перелетных птичек. Они кружились в воздухе, порхали над волнами и опять садились на корму, клевали сквозь камышовые решетки упаковочных ящиков пунцовые египетские помидоры. На ночь птички расположились спать на мачтах, реях и бушприте нашего парохода. Матросы очень любят этих птичек и не позволяют пассажирам их обижать. Я расспрашивал матросов про птичек. Весною их можно видеть только на судах, идущих на север, осенью — на судах, идущих на юг. Вы догадываетесь? Какой тут мог быть инстинкт? Птицы как-то почуяли, каким-то путем поняли: зачем им тратить силы на трудный перелет через море, когда можно с великолепнейшим комфортом переплыть море на пароходе? Когда-нибудь, может быть, выработается и инстинкт.

9

Часто я стою на улице и с интересом наблюдаю бегущую мимо собаку. Она все время обнюхивает на ходу камни, тумбы, стены. Вдруг остановится у заинтересовавшей ее тумбы, обнюхивает ее долго и тщательно, потом бежит дальше. И все время нос в камни мостовой, и все время нюхает. Конечно, это так: для собаки обоняние — то же самое, что для нас зрение. Я гуляю — и смотрю. Она гуляет — и нюхает.

А зрение у собак плохое и неприметливое. У меня на даче в Коктебеле щенок наш Бобка однажды притащил в сад вонючее крыло дохлой галки, с большим наслаждением грыз его и перетаскивал с места на место. Я сказал племяннице Але, чтоб она отвлекла вни-

манне Бобки, и тут же в пяти шагах от него, почти на его глазах, закопал крыло в землю. Бобка воротился — крыла нет. Он ничего не заметил. Не заметил, как я взял на лопату крыло, как закапывал в землю, не обратил внимания на свежую кучу земли. Крыло для него исчезло. Он бегал и напрасно нюхал. Однако через два часа крыло опять было в зубах Бобки: он таки вынюхал его сквозь землю и отрыл.

Во время óно был у нас в Зыбине пойнтер Гетман. Обоняние его было изумительное: дадут понюхать коробку спичек, выведут из комнаты, коробку спрячут в ящик комода под белье и ящик задвинут. Впустят — он тщательно все обнюхает и остановится перед тем ящиком комода, где запрятаны спички. И вот раз идем мы на лыжах по саду. Впереди — грозно-испуганный лай Гетмана. Стоит в пяти шагах от небольшого пенька и лает: обросший черным мохом лохматый осиновый пенек в обтаявшей от февральского солнца снеговой воронке.

— Гетман! Чего ты? Вот дурак!

Я ударил палкой по пеньку. Гетман подбежал, взволнованно обнюхал пенек, равнодушно отвернулся и побежал дальше.

10

С этим самым Бобкой в Коктебеле был еще такой случай. У него вздулся большой нарыв на лапе. Племянница моя Аля попросила своего отца, доктора, вскрыть нарыв. Она держала на коленях Бобку, положив руку ему на голову. Отец с бесстрастным лицом резал, а Аля сидела с страдающим лицом. Когда Бобке уж очень было больно, он начинал скулить, пытался выдернуть лапу и вопросительно взглядывал на Алю. Аля гладила его по голове и успокаивающе говорила:

— Ну, Бобочка, потерпи! Сейчас не будет больно!

И Бобка покорно терпел и уж не пытался вырвать лапу. И вытерпел всю операцию.

11

Шел вечером по Денежному переулку. Пронесся автомобиль. Из-под колес бешеный визг, и по мостовой быстро закрутился белый комок. Небольшой фокс

надсадио внзжал и кружился, кружился спотыкающимся, иеуклюжнм волчком. Отовсюду иасторожеиным лаем откликиулись собаки.

Фокс, страино изогнувшись и громко визжа, побежал по улице. С грозным рычаиием иа иего налетела чериая собака н хотела укуснть в спииу. Фоксы бешено храбры. Он обернулся, угрожающе ляскиул на черную собаку. Она отстала. А он дальше побежал молча... Да, брат, если плохо тебе, — молчи!

Эта подлая собачья привычка: когда визжит собака, когда ее грызут другие собакн, стараться и самой ее укусить, поспешить иа помощь сильным против слабой.

Но иногда приходится иаблюдать и удивительнейшее собачье благородство по отиошению к слабым. У иашей моськи Бэлы, о которой я дальше расскажу, был в молодости брат, Нарзан, задорный и самоуверенный, из породы крыловских мосек. На дворе же в тульском нашем доме был цепной пес — лохматый, белый, чудовнщной величины. Звали его Дворняк. На иочь его спускали с цепи, он на свободе бегал по двору н по саду н густым своим лаем должеи был отпугивать воров.

Вот раз как-то вечером двориик спустил Дворияка с цепи раньше обычиого. Ои вбежал в сад. Виляя хвостом, подбежал к иам. Вдруг на него с грозным лаем блосился дурак Нарзан, прямо бросился на иего, чуть не чтобы драться. Дворняк рявкиул и мгиовеино подмял под себя Нарзаиа. Мы замерли: конец Нарзану! Замер от ужаса и сам Нарзан, прижатый спиною к земле могучими лапами Дворняка. А Дворняк, оскалив иад Нарзаном ужасную пасть, подержал его с мннуту под своими лапамн н, не тронув зубом, отпустил. Зиай, мол, вперед, иа кого бросаться, а я об тебя пачкаться ие хочу.

12

Была у иас в семье моська, сестра этого Нарзаиа. Маленькая, жнриая, с одышкою, с глазами иавыкате, как у лягушкн. Но по-человечески добрая и удивительио умная. Звалн ее Бэла. Иногда прямо казалось, что у нее человеческая душа. Одиажды заговорила

мы о том, что Бэла очень стара, что следовало бы ее отравить. Сестра Лиза, подросток-гимназистка, серьезнейшим образом испуганно заметила нам:

— Господа, говорите по-немецки, а то Бэла все поймет!

Сестренку Аню кто-то обидел, она не пошла обедать, лежала у себя на постели и плакала. Бэла вертелась вокруг обедающих, повизгивала, махала хвостом и глядела просящими глазами. Всех это очень удивило: Бэла никогда не просила за столом, она знала, что ей еда полагается после обеда.

Решили, что очень проголодалась, дали куриную косточку. Бэла побежала к плачущей Ане и бережно положила ей косточку на подушку.

13

В таком же роде. В Ялту на осень приехала девушка, больная туберкулезом. Дули сильные ветры. Она подпростудилась. Появилось кровохарканье. Полторы недели лежала, не вставая, совсем одинокая.

Вошла к ней проведать ее хозяйка. Когда она уходила, в дверь проскользнула хозяйская собака; больная часто ее кормила. Перепрыгнула через табуретку, кинулась к больной, положила ей морду на грудь. Девушка прижала ее голову, ласкала и горько плакала. Собака внимательно поглядела на нее и убежала. Через минуту появилась с плюшкой в зубах и положила девушке на грудь — стащила у хозяев.

Собака была самка, но детей у нее не было. Она отыскивала беспризорных щенят и котят и носила им еду.

14

РАБИНДРАНАТ ТАГОР, «ЖЕРТВЕННЫЕ ПЕСНИ»

«Я часто думаю: где пролегает скрытая граница понимания между человеком и животным, лишенным дара внятной речи?

Через какой первоначальный рай, на утре древних дней, пролегала тропинка, по которой их сердца ходили навещать друг друга?

Их следы на тропинке еще не стерлись, хотя давно уже забыты родственные связи.

Иногда, в какой-то музыке без слов, проснется темное воспоминанье, и животное глядит тогда человеку в лицо с нежной верой, и человек глядит в глаза животному с растроганною любовью.

Как будто сошлись два друга в масках и смутно узнают друг друга под личиной».

ЛЕГЕНДА

Эту легенду мне когда-то рассказал путешественник-англичанин.

Однажды пароход заночевал из-за туманов близ острова Самоа. Толпа веселых, подвыпивших моряков съехала на берег. Вошли в лес, стали разводить костер. Нарезали сучьев, срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать орехи. Вдруг они услышали в темноте кругом тихие стоны и оханья. Жуть их взяла. Всю ночь моряки не спали и жались к костру. И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой-то шорох, вздохи и стоны.

А когда рассвело, они увидели вот что. Из ствола и из пня срубленной пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. Оборванные лианы корчились на земле, как перерезанные змеи. Из обрубленных сучьев капали алые капли. Это был священный лес. В Самоа есть священные леса, деревья в них живые, у них есть душа, в волокнах бежит кровь. В таком лесу туземцы не позволяют себе сорвать ни листочка.

Веселые моряки не погибли. Они воротились на пароход. Но всю остальную жизнь они никогда уже больше не улыбались.

Мне представляется: наша жизнь — это такой же священный лес. Мы входим в него так себе, чтобы развлечься, позабавиться. А кругом все живет, все чувствует глубоко и сильно. Мы ударим топором, ждем — побежит бесцветный, холодный сок, а начннает хлестать красная, горячая кровь... Как все это сложно, глубоко и таинственно! Да, в жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны.

О ВЕРЕСАЕВЕ

В начале века неизменно ставились рядом два имени — М. Горького и В. Вересаева, двух «властителей дум русского читателя», особенно молодого; художников одной и той же «школы и закваски», как писала, например, газета «Россия» 4 апреля 1900 года. Громкая слава В. Вересаева, которой, по его собственным словам, «никогда не имели многие писатели, гораздо более... одаренные» («Записи для себя»), — не случайная прихоть литературной моды. Русскому обществу, шедшему в страстной идейной борьбе к своей первой революции, остро необходим был именно такой писатель, как В. Вересаев, чутко ощущавший биение пульса общественной жизни.

В. Вересаев проработал в литературе шестьдесят долгих лет. Ему не было и девятнадцати, когда 23 ноября 1885 года журнал «Модный свет» напечатал его стихотворение «Раздумье», и с тех пор, вплоть до последнего дня своей жизни — 3 июня 1945 года, — он никогда не оставлял пера. Талант В. Вересаева был на редкость многогранен. Кажется, нет ни одной области литературного творчества, в которой бы он не работал. Он писал романы, повести, рассказы, очерки, стихи, пьесы, литературно-философские трактаты, выступал как литературовед, литературный критик, публицист, переводчик. Но несмотря на долгую жизнь в литературе бурной эпохи социальных сломов, несмотря на многоплановость литературной деятельности, В. Вересаев — писатель удивительно цельный. Двадцати двух лет, 24 октября 1889 года, он записал в дневнике: «... пусть человек во всех кругом чувствует братьев, — чувствует сердцем, невольно. Ведь это — решение всех вопросов, смысл жизни, счастье... И хоть бы одну такую искру бросить!» Весь жизненный и литературный путь В. Вересаева — это поиски ответа на вопрос, как сделать реальностью общество людей-братьев. Оно неизменно оставалось тем идеалом, борьбе за который писатель отдавал весь свой труд, свой талант, всего себя.

Мечта об обществе людей-братьев родилась еще в детстве, и первый ответ на вопрос, как ее достичь, дала семья.

Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев — это псевдоним писателя) родился 4(16) января 1867 года в семье тульского врача, в семье трудовой и демократической. Политические же взгляды его отца Викентия Игнатьевича были весьма умеренными. Либеральные реформы и истая религиозность — вот те средства, с помощью которых, по его мнению, можно было добиться всеобщего благоденствия. На первых порах сын свято чтил идеалы и программу отца. Жизнь будет легче, светлей и чище, — думалось ему, — когда люди станут лучше. А в моральном облагораживании людей важнейшими факторами являются труд и религия.

В. Вересаев уже в гимназии почувствовал иллюзорность своих идеалов и в дневнике мучительно размышлял над вопросом: для чего жить? Он занимается историей, философией, физиологией, изучает христианство и буддизм и находит все больше и больше противоречий и несообразностей в религии. Это был тяжелый внутренний спор с непререкаемым авторитетом отца.

Полный тревог и сомнений отправляется В. Вересаев в 1884 году учиться в Петербургский университет, поступает на историко-филологический факультет. Здесь он рассчитывает найти ответы, без которых жизнь бессмысленна. Поначалу В. Вересаев со всей самозабвенностью молодости отдается народническим теориям, с ними связывает надежды на создание общества людей-братьев.

Но под впечатлением угасания народнического движения В. Вересаеву начинает казаться, что надежд на социальные перемены нет. С головой уходит студент В. Вересаев в занятия и пишет, пишет стихи, прочно замкнутые в круге личных тем и переживаний. Лишь здесь, в любви, думается ему теперь, возможна чистота и возвышенность человеческих отношений. Да еще в искусстве: оно, как и любовь, способно облагородить человека.

В 1888 году, уже кандидатом исторических наук, он поступает в Дерптский университет, на медицинский факультет. «...Моею мечтою было стать писателем; а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии; кроме того, специальность врача давала возможность близко сходиться с людьми самых разнообразных слоев и укладов», — так позднее объяснял В. Вересаев свое обращение к медицине (автобиография). В тихом Дерпте, вдали от революционных центров страны, провел он шесть лет, занимаясь наукой и литературным творчеством, по-прежнему охваченный мрачными настроениями.

В рассказах студенческого периода («Загадка», «Порыв», «Товарищи») тему борьбы за человеческое счастье, за прекрасного человека, борьбы со всем, что мешает утвердиться этому в жизни, В. Вересаев решает в плане морально-этическом. Заявленная в ранних рассказах тема судеб русской интеллигенции, ее заблуждений и надежд получает затем новое решение — писатель заговорил об общественном «бездорожье». Разоблачению иллюзорности народнических прожектов и посвящена его первая повесть «Без дороги» (1894), с которой он, как отмечалось в автобиографии, вошел в «большую» литературу.

В 1897 году Вересаев пишет рассказ «Поветрие» — своего рода продолжение повести «Без дороги». Это была одна из первых в русской художественной литературе попыток изобразить марксистское движение. В пролетариате ему «почуялась огромная, прочная новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории» (мемуарный очерк «Н. К. Михайловский»). В. Вересаев приходит к выводу, что разрешить социальные проблемы России может только пролетарская революция, и в этом смысле он оставил далеко позади художников критического реализма начала XX века — И. Бунина, Л. Андреева, А. Куприна.

Из весьма достоверных мемуаров В. Вересаева и его автобиографии известно, что писатель помогал агитационной работе ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»: в больничной библиотеке, которой он заведовал, был устроен склад нелегальных изданий, в его квартире «происходили собрания руководящей головки» организации, «печатались прокламации, в составлении их» он «сам принимал участие». Близко стоявший к революционным организациям, В. Вересаев помог М. Горькому в конце 90-х годов наладить связь с Петербургским комитетом социал-демократической партии. Деятельность В. Вересаева обращает на себя внимание властей. В апреле 1901 года его увольняют из больницы, на квартире производят обыск, а в июне постановление министра внутренних дел запрещает ему в течение двух лет жить в столичных городах. Он уезжает в родную Тулу, где находится под надзором полиции. Но и там активно участвует в деятельности местной социал-демократической организации. Сближается с Тульским комитетом РСДРП, возглавляемым рабочим С. И. Степановым (после Октября — председателем Тульского губисполкома), врачом-хирургом П. В. Луначарским, братом А. В. Луначарского, и другими твердыми искровцами, впоследствии, когда произошел раскол партии, ставшими большевиками. Ряд заседаний комитета проходил в доме В. Вересаева. Писатель помогал комитету деньгами, устраивал литературно-художественные вечера, денежные

сборы от которых тоже шли на революционную работу. Департамент полиции установил тщательное наблюдение за В. Вересаевым, но, несмотря на это, он активно участвует в подготовке первой рабочей демонстрации в Туле, состоявшейся 14 сентября 1903 года. По заданию комитета РСДРП он пишет прокламацию «Овцы и люди», ее разбрасывали во время демонстрации.

Да и в творчестве — в «Записках врача» (1895—1900), в повестях «На повороте» (1901), «Два конца» (1899—1903) — его симпатии явно на стороне революционно настроенных рабочих. На рубеже двух веков и произошло сближение В. Вересаева и М. Горького, отношения с которым, по признанию В. Вересаева, были ему «страшно дороги». Еще в 90-е годы М. Горький отметил тяготение В. Вересаева к острейшим социальным проблемам дня, уловил созвучность настроений автора «Без дороги» и «Конца Андрея Ивановича» некоторым собственным настроениям. М. Горький включает произведения В. Вересаева в издания, в которых сам принимает участие, привлекает к сотрудничеству в издательстве «Знание», объединившем наиболее прогрессивных русских писателей. Вероятно, отношения этих лет прежде всего и имел в виду М. Горький, когда четверть века спустя писал В. Вересаеву: «...всегда ощущал Вас человеком более близким мне, чем другие писатели нашего поколения. Это—правда. Это — хорошая правда; думаю, что я могу гордиться ею».

Понимая, что только социалистическая революция может избавить Россию от пут царизма, В. Вересаев вместе с тем сомневался в подготовленности народа к строительству нового мира. Писателю думалось, что марксисты-ленинцы идеализируют человека. В. Вересаев радовался, замечая, сколько в людях самопожертвования, героизма, человеколюбия; он убежден: эти лучшие качества будут развиваться. Но пока в человеке еще сильны животные начала, а с другой стороны — цивилизация и рожденная ею рассудочность подавили в нем многие здоровые инстинкты, данные природой. Сегодня человек слишком несовершенен, чтобы в ближайшее время построить общество людей-братьев. Социалистической революции должен предшествовать довольно длительный период «усовершенствования» людей. Так казалось В. Вересаеву.

События 1905 года поначалу властно захватили его. Писатель было совсем уже отказался от своих недавних сомнений. В заключительных главах записок «На японской войне» (1906—1907) он рассказал, как революция преображала жизнь. А по возвращении на родину из Маньчжурии с полей русско-японской войны В. Вересаев задумывает повесть о 1905 годе. Но поражение революции усилило его опасения. Причину неудачи он уви-

дел в том, что восставший народ не умел распорядиться переходившей в его руки властью: едва почувствовали люди свободу, как в них проснулся «потомок дикого, хищного зверья».

И В. Вересаев оставляет начатую повесть о 1905 годе, он пишет повесть — «К жизни» (1908), а вслед за ней — философский труд «Живая жизнь» (1909—1914). Недавние сомнения приобретают форму стройной программы. Споря с пессимистическим взглядом Ф. Достоевского на людей, с культом сверхчеловека у Ф. Ницше, В. Вересаев в творчестве Л. Толстого видит подтверждение своей теории, образно названной «живой жизнью». Главной задачей на ближайшее время им выдвигается воспитание человека, моральное его совершенствование. В близости к крестьянскому труду, в постоянном общении с вечно юной природой люди изживут свои «волчьи» инстинкты и одновременно освободятся от сковывающей душу меркантильной рассудочности. Лишь после этого будет возможно революционное изменение действительности. Теория «живой жизни», по мнению В. Вересаева, никоим образом не отменяла революции, она ее только откладывала.

И когда в феврале 1917 года в России вновь начались революционные потрясения, В. Вересаев не остался в стороне: он принимает на себя обязанности председателя художественно-просветительной комиссии при Совете рабочих депутатов в Москве, задумывает издание дешевой «Культурно-просветительной библиотеки». В 1919 году, с переездом в Крым, становится членом коллегии Феодосийского наробраза, заведует отделом литературы и искусства. Позже, при белых, 5 мая 1920 года, на его даче проходила подпольная областная партийная конференция большевиков. По доносу провокатора она была обнаружена белогвардейцами. В газетах даже появились сообщения, что В. Вересаев расстрелян.

Вернувшись в 1921 году в Москву, он много сил отдает работе в литературной подсекции Государственного ученого совета Наркомпроса, созданию советской литературной периодики (был редактором художественного отдела журнала «Красная новь», членом редколлегии альманаха «Наши дни»). Его избирают председателем Всероссийского союза писателей. В. Вересаев выступает с лекциями перед молодежью, в публицистических статьях изобличает старую мораль и отстаивает новую, советскую.

Отношение его к революции было вместе с тем по-прежнему сложным. Роман «В тупике» (1920—1923) подтверждает это.

В тупик, по мнению В. Вересаева, зашла та часть старой русской интеллигенции, которая в служении народу видела смысл своей жизни, но Октябрь 1917 года не поняла и не приняла. Эта

интеллигенция была В. Вересаеву дорога, и потому он тяжело воспринял ее социальный крах. В. Вересаев приветствует Октябрь, давший народу свободу, он понимает, что большевиков «сиянием... окружит история» за их самоотверженное служение социалистическим идеалам. Но и опасается, что разбушевавшееся море народных страстей, порою страстей жестоких, может утопить социалистические идеалы.

Революция победила, создавалось общество, которого, как сказал В. Вересаев на вечере, посвященном пятидесятилетию его литературной деятельности, «никогда в истории не было». Стремясь глубже понять новую жизнь, уже немолодой писатель поселился невдалеке от завода «Красный богатырь» (в селе Богородском, за Сокольниками), чтобы иметь возможность ближе познакомиться с молодыми рабочими, ежедневно бывал в комсомольской ячейке завода, ходил по цехам, в общежитие. Результатом явилась целая серия произведений о советской молодежи, где симпатии автора несомненно на стороне новой интеллигенции, — рассказы «Исанка» (1927), «Мимоходом» (1929), «Болезнь Марины» (1930), роман «Сестры» (1928—1931). В произведениях о молодежи В. Вересаев сумел уловить многие острейшие проблемы дня, включился в шедший тогда спор о новой морали — любви, семье.

В 20-е и 30-е годы В. Вересаев отдает много сил литературоведческой и публицистической работе, стремится говорить с самым широким читателем.

Огромный читательский интерес и жаркие споры среди пушкинистов вызвал «Пушкин в жизни» (1926). В этом своеобразном монтаже свидетельств современников великого поэта В. Вересаев хотел дать представление о «живом Пушкине, во всех сменах его настроений, во всех противоречиях сложного его характера, — во всех мелочах его быта». В 1933 г. писатель заканчивает еще один «свод подлинных свидетельств современников» — «Гоголь в жизни».

С увлечением занимается В. Вересаев и переводами, среди которых особенно значительны сделанные им в 1930—1940-е годы переводы «Илиады» и «Одиссеи» Гомера.

Последней книгой В. Вересаева, своего рода книгой итогов, стало весьма своеобразное в жанровом отношении произведение, состоящее из трех циклов: «Невыдуманные рассказы о прошлом», «Литературные воспоминания» и «Записи для себя». Замысел книги возник в середине 20-х годов. В. Вересаев отдал ей двадцать лет из шестидесятя, посвященных литературе, и вложил в нее весь свой писательский опыт. Это, по сути, книга всей его жизни. Многие страницы почти дословно воспроизводят заметки из

дневников и записных книжек еще 80—90-х годов прошлого века, а последние строки относятся к 1945 году, к году смерти писателя.

Жанр книги определен в подзаголовке так: «Мысли, заметки, сценки, выписки, воспоминания, из дневника и т. п.». Их сотни, сотни документальных новелл и миниатюр — от довольно крупных мемуарных очерков до совсем коротеньких рассказов, просто отдельных наблюдений и замечаний автора порой всего в несколько строк, — спаянных в единое произведение.

В молодости В. Вересаев, увлекаясь народничеством, надеялся достичь «общества людей-братьев» путем морального совершенствования человечества. Позже он пришел к выводу, что без революционного слома действительности не обойтись, но ему должен предшествовать долгий период воспитания народа. В своей последней книге писатель, признавая историческую прогрессивность Октября, продолжает считать, что создание общества людей-братьев еще потребует огромных усилий: мало изменить государственный строй, надо изменить человека, его отношение к ближнему. На первый взгляд, это та же теория «живой жизни», где просто переставлены компоненты, — теперь уже сначала революция, а потом совершенствование человека. Но по существу писатель вставал на подлинно марксистскую позицию, согласно которой революционный переворот — не финал борьбы, а только начало строительства нового общества.

Несмотря на старость и резкое ухудшение здоровья, последние годы в творчестве В. Вересаева очень продуктивны. Его плодотворная литературная деятельность в 1939 году отмечена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1943-м — присуждением Государственной премии СССР.

* * *

В. Вересаев не раз говорил, что литература для него «дороже жизни», за нее он бы «самое счастье отдал». В ней — совесть и честь человечества, поэтому посвятивший себя литературе не имеет права ни сомнительным поступком в быту, ни единой фальшивой строкой запятнать ее и тем самым скомпрометировать, поколебать к ней доверие читателей. И действительно, испытания жизни, а они бывали суровыми, не смогли заставить В. Вересаева хоть раз сфальшивить. С полным правом он мог на склоне лет заявить в одном из писем: «Да, на это я имею претензию, — считаться честным писателем».

Ю Фохт-Бабушкин

СОДЕРЖАНИЕ

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Советская литература

ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ ВЕРЕСАЕВ

Повести и рассказы

Редактор *Е. Дворецкая*

Художественный редактор *А. Моисеев*

Технические редакторы *Л. Витушкина, Л. Синицына*

Корректоры *Б. Тумян, Т. Филиппова*

ИБ № 4635

Сдано в набор 22.04.86. Подписано в печать 17.11.86. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 20,49. Тираж 1.000.000 экз. (5-й завод 600.001—800.000 экз.). Изд. № I-2409. Заказ 513. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Владимирская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

1 р. 70 к.



Советская литература

